НЁМАН

7/2010
ИЮЛЬ

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Издается с 1945 года
Минск

СОДЕРЖАНИЕ

<u>**С точки зрения рецензента**</u>

<u>**Книжное обозрение**</u>

<u>**Из почты журнала**</u>

Редакционно-издательское учреждение
«Литература и Искусство»

Первый заместитель директора — главный редактор
Алесь БАДАК

К сведению авторов

Авторы несут ответственность за приводимые в материалах факты.
Рукописи не рецензируются и не возвращаются.
Редакция только сообщает автору свое решение.
Материалы, отправленные по электронной почте, редакция не рассматривает.

Техническое редактирование и компьютерная верстка *С. И. Таргонской*
Стильредактор *Н. А. Пархимович*
Набор *Т. С. Чуйковой*

Подписано к печати 13.07.2010 г. Формат 70 × 108 $^{1}/_{16}$. Бумага газетная.
Печать офсетная. Усл. печ. л. 19,60. Уч.-изд. л. 20,70. Тираж 3443. Заказ 1677.
Регистрационный № 11 от 22.08.09 г.

Адрес редакции: 220034, г. Минск, ул. Захарова, 19.
Телефоны: главного редактора — 284-85-25; заместителя главного редактора, отделов прозы, поэзии, публицистики, критики, зарубежной литературы — 284-80-91.
e-mail: neman-lim@mail.ru

Республиканское унитарное предприятие «Издательство «Белорусский Дом печати».
220013, Минск, пр. Независимости, 79. ЛП № 02330/0494179 от 03.04.2009 г.

Учредители — Министерство информации Республики Беларусь;
общественное объединение «Союз писателей Беларуси»;
редакционно-издательское учреждение «Литература и Искусство»

АНДРЕЙ ФЕДАРЕНКО

Ревизия

Роман

3

Портной еще спрашивал что-то. Но Труханович не обращал на него внимания, глаза его искали…

И нашли. Она стояла в углу около печки, в окружении серых гимнастерок. Красноармейцы, видно, заигрывали с ней. Она тоже увидела Трухановича и даже потянулась к нему, словно прося защиты. Красноармейцы расступились и дали ему дорогу. Кто-то присвистнул — мол, дуракам везет.

— Свекор там, во дворе. — Она стояла перед ним, одного почти с ним роста, и смотрела ему прямо в глаза. Голос у нее был приятный, только какой-то неровный, словно сейчас бежала она и не могла отдышаться.

Внезапная радость охватила его. Наконец-то Бог сжалился над ним, послав ему эту родную душу с неизвестно какого света.

— Идем? — предложила она и пошла по коридору, оглядываясь.

— Постой… Я только спросить хочу, — Труханович посмотрел на Портного, который топтался рядом. Тот понял сразу:

— Так я там, во дворе…

Наконец они остались одни. У Трухановича была всего какая-нибудь минутка времени. Он боялся, чтобы девушка не испугалась, все же он «ненормальный», «контуженный», и не ушла, потому говорил быстро:

— Скажи, тебя не Нелли… я хотел спросить, как тебя зовут?

— Ты и правда не помнишь? — Напрасно он боялся, в ее голосе не испуг был, лишь детский интерес. — Совсем ничего?

— Так, немного, — соврал он.

— И как мы с тобой гуляли — тоже? Я же — Наста! Ну? Вспомнил?

— Наста, — повторил он. — Тоже на эн… Так мы гуляли с тобой? Подожди! — он вспомнил недавний консилиум-экзамен. — Ты — та самая жена моего якобы брата? Который в комбеде?

— Ну. — Вот тут она нахмурилась, будто услышав что-то неприятное. — Нужно идти. Идем! Там ждут, свекор ждет…

Свекор во дворе около телеги разговаривал с доктором. Доктору было холодно, он и с ноги на ногу переминался, и плечами пожимал, и воротничок халата на шее стягивал, а, отвечая дядьке, не на него смотрел, а на поклажу на телеге. Дядька все выспрашивал — «дак полегчало сыну хоть немного?»; не понимал он: как же так, ученые доктора, военный госпиталь, и лекарства, и инструменты, и уход — а не смогли человека вылечить!

— Разве он один тут такой? Людей много же лежит, вон сколько…

— То-то и оно, что один, — ответил Портной, терпением заслуживая взятку. — Нет, так контуженных, конечно, много. Но с вашим сыном интересный случай… Ему кажется, что он жил не раньше, а позже…

В который уже раз слушая это, дядька тем не менее ничего не понимал. Только вздыхал тяжело и шептал — всегда одно и то же, с покорной интонацией: «Покарал Бог за что-то…»

И сейчас сказал:

— За что караешь?.. Все было как у людей, кажется…

— Но проходит! Намного лучше уже.

— А нас не вспомнил? — спросил дядька с надеждой.

— Нет.

Тогда дядька оглянулся, как бы стыдясь чего-то или опасаясь, что их могут подслушать. Спросил вполголоса:

— А он не… Не сделает с собой чего? С людьми же будет жить как-никак… Не страшно с ним?

— Нет. Он вполне адекватен… Спокойный, — поправился Портной, — тихий. Придумывает себе что-то, фантазирует, но это совсем не страшно. Я бы сказал, даже интересно… Иногда очень интересно!

Вышла из барака Наста, за ней Труханович. Спустились с крыльца, подошли к телеге.

— Вы обиделись? — спросил Портной у Трухановича. — Я не мог не пригласить их, поверьте…

— Потому что у вас дети? Обычно говорят так: не мог иначе, потому что у меня семья, дети… Провалил вам спектакль? — спросил Труханович. Он еще чувствовал горечь, досаду от того, что когда-то слабый, еле живой после операций, полусумасшедший от своей метаморфозы, поверил этому человеку, открылся ему. — А вы, небось, ждали, что я начну рассказывать вашим гэбэшникам о Второй мировой да о том, что вы Горецкого сейчас расстреляете, а за компанию и еще сотни три писателей?.. Или, может, про минское метро? Или о том, как вы вопрете своего Ленина, как мумию, как чучело, как языческого идола — в мавзолей? Или про Сталина с Хрущевым?

— Тише, тише, зачем фамилии…

— Чтобы ваши ассистенты довели меня до ближайшего подвала и там мне кишки на локти начали мотать?

— Тише, что вы…

Портной аж посинел, бедняга, и от холода, и от страха. Руки потирал, паром дышал, трясся весь, но в барак идти и не собирался. Что касается дядьки, тот выслушал монолог контуженного сына спокойно, внимательно, с пониманием; больной на голову человек и должен говорить ерунду, как же иначе.

— Ну, поехали потихоньку… Идите на улицу, — приказал он Трухановичу с невесткой. Ворота были узкие, как раз телеге проехать, и он боялся зацепиться за столб колесом, поэтому и не хотел, чтобы садились тут.

Он уже и за вожжи взялся. А Портной все ждал.

Расстроенный контузией сына, только сейчас вспомнил «отец», что обычно принято благодарить людей в таких случаях, тем более такого хорошего доктора, который еще как пригодиться может… Узелок с телеги снял. Портной инстинктивно потянулся рукой, чтобы забрать. Но дядька не сразу отдал, а со словами:

— Не обижайтесь, если что, может быть, не так… Что люди дают, то и мы… Грибы сухие, вьюны, сала немного, яйца…

— Все хорошо, спасибо, спасибо, — говорил Портной, краснея и вместе с тем чуть не вырывая узелок.

На улице «отец» помог Трухановичу взобраться на воз, сесть на поперечную дощечку. Сам устроился рядом. Наста разместилась сзади на охапке сена.

— С Богом! Вот и хорошо, — вполголоса сказал «отец», когда поехали; не столько к невестке с сыном обращаясь, сколько, наверное, утешал сам себя. — Ничего, хорошо съездили… И тебя забрали, и с Портным рассчитались… Все как у людей…

Распогодилось. Сентябрьский воздух, с которым мешался дым из печных труб, пьянил. Синее чистое небо — хоть и без солнца еще, длинная улица, цоканье копыт лошадки, шорох сена сзади, когда шевелилась, удобнее устраиваясь, Наста… Все было как сон, или лучше сказать, как кино, какой-то виртуальный стереофильм, в котором Труханович являлся и зрителем, и участником одновременно. Молча, жадно он всматривался в избы, дворы, в людей, которые кто пешком, кто, как они — на лошади, то обгоняли их, то тащились навстречу. Какое чужое все! Без автобусов, машин, без витрин магазинов, без многоэтажек, без асфальта городок был не просто чужим — Труханович не узнавал здесь ничего абсолютно, и если бы оказался сейчас один, то, наверное, пришлось бы расспрашивать дорогу. Он не сразу узнал даже высокое желтое здание церкви, а лишь тогда, когда «отец» на ходу перекрестился на нее. Да еще на самом выезде из местечка кое-что начало всплывать в памяти. Речка и мостик через нее. Вот эту речушку с немного неожиданным, болгарским названием — Плиска, и вспомнил Труханович, да еще — дубраву, уже за местечком, по дороге на Мозырь.

Тут «отец» остановился, с кряхтением слез с телеги и за узду повел коня с дороги, под дубы. Разместились на пригорке. Было сухо, пахло прелыми листьями. Труханович заметил, как обострился в нем прежде всего нюх, насколько начал он различать запахи — просто голова плыла.

— Ну, давайте, чтобы все по-людски, — распорядился «отец». Нельзя было не обратить внимания, что немного больше, чем нужно, козыряет человек этой «людскостью», даже злоупотребляет ею, словно бы во всем непременно ему хочется быть похожим на других — в любой, казалось, мелочи он прежде всего сверялся с тем, как бы на его месте уважаемые им люди поступили.

Наста тем временем развязала узелок, похожий на тот, который отдали Портному. На чистую белую полотняную тряпицу начала выкладывать сало, хлеб, лук, яйца — отдельно сырые и вареные, соль, свекольного цвета хрен в баночке… Так живо напомнило все это Трухановичу Пасху или Радуницу! Осень и весна вообще бывают похожи на каких-то этапах и запахами своими, и погодой, и природой, а тут еще и этот свеклой закрашенный хрен, неизменный на Пасху или Радуницу, и эта яичная скорлупа, и бульканье самогона по чарочкам… «Отец» наполнил их так: себе и «сыну», как мужчинам, больше, а невестке меньше трети.

— Ну, чтобы люди ничего плохого не думали! — торжественно сказал он. Однако и он, и Наста все же медлили, вроде ждали, не захочет ли сказать Труханович.

Нужно было бы сделать это, сказать хотя бы что-то типа «спасибо, добрые люди, что подобрали меня; постараюсь не сидеть у вас на шее» и тому подобное. Но Труханович, со вздохом опустив глаза на искалеченную руку, сказал иначе:

— Не знаю, куда вы сейчас собрались меня везти, как не знаю, какой из меня будет вам помощник. С этим надо или смириться, или…

— Да кто же тебя гонит?! — удивился, даже обиделся «отец». — Не нищие, слава Богу, не объешь… Ты же не сам искалечился, за нас кровь проливал…

« Да не проливал я ни за кого никакой крови!» — хотелось крикнуть Трухановичу. Но он только зажмурился и покорно, и вместе с тем страдая, выпил все до дна.

4

— Ну что? Прочитал?

Трухан с Ведричем сидели за столом друг против друга. Посередине лежала рукопись. Трухану видно было только первую страницу, всю исчерканную, в замечаниях, пометках, надписях над строчками, с множеством разлапистых римских пятерок-галочек на полях. И страшно было на нее смотреть, и вместе с тем Трухан не мог оторвать от нее глаз.

А Ведрич, испытывая чужое терпение, спокойно курил, медленно затягивался, не спеша выпускал дым.

— Зачем ты это пишешь? — промолвил он наконец.

— Да уж, наверное, не ради идеи, не ради поисков положительного героя, — заторопился, словно только такого вопроса и ждал, Трухан. — Если честно, мне просто нужно избавиться от этой напасти — от второй своей жизни, сбросить с себя этот дурман, разгрузиться хоть таким образом — просто записав все на бумаге!

— И куда ты собрался это девать? Нести в редакции? Или все же в стол?

— Какая разница?

— Большая. Когда пишется для себя, для друзей, или, скажем, для потомков, которые соберутся долгим зимним вечером у камина, повыключают телевизоры, компьютеры, зажгут свечи… Седой, с укутанными пледом ногами, уважаемый отец семейства — Трухан — сидит в кресле-качалке, раскачивается, как манекен, самый младший внук раскрывает замусоленную облупленную общую тетрадь и, прокашлявшись, звонко заводит: «В свою последнюю ночь в этом госпитале и в этой палате»…

— А ты умеешь расписывать. Сам не пробовал прозу?

— Я ее терпеть не могу, вашу прозу. Это — земля, а поэзия — небо! Озарение, блеск молнии, миг сладкого транса… А проза! Что-то невероятно дикое для нормального человека — изо дня в день, из года в год одно и то же…

— К теме, пожалуйста, — остудил его Трухан, и вместе с тем ему приятно стало, что и его Ведрич относит к «прозаическому цеху».

— К теме, — повторил, чтобы не терять мысль, Ведрич. — Помнишь, тогда, на балконе, я говорил, что жду произведения, за которое автор готов сесть в тюрьму, даже пойти на смерть? Согласен — перебор. Но для современной прозы, вообще для литературы, критерии должны быть изменены, планка должна быть поднята на максимум: писать или хотя бы стараться писать так, чтобы не приняла ни одна официальная редакция. Потому что это не произведение, если ему автоматически зеленый свет даже не на перекрестке, а на ровной улице. Настоящее произведение должно ростком поднять над собой глыбу бетона, пробиться, возмужать… У тебя такое произведение? В нем достаточно жизненной силы?

— Ну и вопрос… Вряд ли, конечно…

— Вот видишь! Вот все ваши претензии, все ваши вершины. Зачем орден? — я согласен на медаль. Значит, сознательно пишется проходное произведение? С расчетом на редакции?

— Да какие редакции?! С меня одного тебя вот так хватает. Хотя… Знаешь, ты мне сейчас открыл глаза на одну вещь интересную… Самое трудное в литературе — это, оказывается, не застольное убивание времени, не поиски необходимого слова, не обкатка стиля, не «битье» над гармонией формы, не другие, в принципе обязательные и по-своему сладкие муки, а момент расставания с рукописью, когда нужно отдавать ее в чужие руки и пред чужие очи; дорогое, любимое дитя, которое вынянчил, вырастил, родная кровинка, себя частичка — и вдруг почему-то нужно вести его «в люди»! Тащить в какие-

то редакции, где никто и понятия не имеет, даже и знать не захочет, как это дитя росло, чем болело, сколько пришлось вместе с ним пережить, — а будут только раздевать его, да ощупывать, да разглядывать, как на медицинской комиссии…

— В смысле, галочки на полях ставить? — спросил Ведрич.

— …А оно, оглушенное, испуганное, будет только оглядываться да хныкать, прося помощи… <…>

— Два плюса поставить могу. Первый — что ищешь новые формы, второй — что выбрал ракурс, который исключает эту гадкую стилизацию, знаешь, все эти штучки, когда «Рогволод нахмурился, а Рогнеда поправила на лебединой шее бусы…» То, что ты отправил в плавание по эпохам именно нашего современника и его глазами собираешься…

— Минусы, минусы, — перебил, покраснев, Трухан, которого редко в жизни хвалили.

— И минусов два. Правда, длинных, как слитые дефисы. Во-первых, что за манера не ставить авторство под эпиграфом?

— Потому что каждый образованный человек знает их из школьной программы, должен знать, во всяком случае; а тот, кто не знает, — зачем такой читатель?

— Второе — как ты справишься с фактологией? Как будешь описывать быт, характеры… Молчи! Знаю, что скажешь, что тебе снится вся эта чепуха, а ты только механически ее записываешь. Так вот, можешь не стараться, у меня такие номера не проходят. Одно тебе напоследок посоветую — не сбейся на других, пишущих на такие же темы, потому что, сам того не желая, начнешь паразитировать на них, в лучшем случае пародировать… Под кого ты вообще пишешь?

— Как это?

— Я к какому писателю тебя ни примеряю, все ты выскальзываешь, не укладываешься…

— А-а, так у тебя такие критерии? Самые примитивные — сравнения? Чтобы обязательно было под кого-то? А ты не допускаешь, что я — новый? — горячился Трухан.

— Чужое… Так с тебя эти цитаты и прут, так и сыплются… Ты же начитанный, правда?

— Полежал бы с мое по больницам, еще не так бы начитался…

— …Трухан, встаньте! Третий раз к вам обращаюсь! Чем вы там занимаетесь?!

Трухан встал из-за парты, моргая широко раскрытыми и тусклыми, как у лунатика, глазами. Никакого Ведрича не было в помине. А была аудитория — большой, наполовину заполненный студентами и студентками двух групп класс, с будкой кафедры у двери, с коричневой школьной доской на стене. С первого ряда, повернувшись, смотрела сюда, на «камчатку», Нелли — смотрела на Трухана точно такими же глазами, как и его героиня Наста на своего якобы контуженного якобы деверя.

А перед Труханом — по иронии или закономерности судьбы — стояла преподавательница литературы, того самого предмета, которым он почти всю лекцию сам с собою и забавлялся и который на экзаменах и зачетах еле вытягивал на дохлую «троечку»; впрочем, отличником его нельзя было назвать и по всем прочим предметам.

Ольга Сергеевна знала об этом. Она стояла теперь перед Труханом и постукивала по ладони указкой, специальной такой шариковой ручкой, которая вытягивается на манер антенны.

— Разрешите поинтересоваться: что у вас в тетради? Что вы так старательно записывали? Вы же головы от нее не отрывали целую лекцию!

Трухан закрыл тетрадь. Потом на глазах у преподавательницы положил в сумку. И все это молча. А и правда, — подумал он, — чем я тут занимаюсь, когда мне, может, жить два понедельника осталось…

Ни слова не говоря, он встал. Взял сумку, выбрался на проход и как ни в чем не бывало, словно так и нужно, пошел себе к двери.

— Трухан, вы что? — послышалось сзади растерянное. — Вернитесь! Я…

Стукнула дверь, и все смолкло.

А какой снег был на улице! Какое солнце! Какой морозный воздух! И как не хотелось идти по этому чистому скрипучему белому снежку к серому, мрачному, сквозняками продутому интернату-инкубатору, в камеру-клетку, к вечному одиночеству…

Короче, Ведрич — не фантом, не в тетради выдуманный, а настоящий, объявился лишь дня через три, вечером. Достал из кармана тулупа хурмину, из другого — еще одну, молча положил на стол; такие большие, темно-оранжевые, с прожилками спелости заморские плоды среди зимы. Трухан, почему-то подумав, что сейчас начнется между ними диалог вроде того, смоделированного им на лекции, спросил:

— Ну как? Много замечаний?

— О чем ты? — удивился Ведрич. — А, о своей писанине? Знаешь, я не читал. Даже папку раскрыть не успел. Сейчас расскажу. Возвращаюсь тогда ночью от тебя, тут шах! — в проходном дворе трое перекрывают дорогу. Один за сумку, помнишь, у меня была такая офицерская («ахвицэрская», — по-белорусски произносил Ведрич). Ах ты, думаю. Размахнулся, ка-а-ак… этой сумкой по голове! Он с копыт, сумка оторвалась, те убегать, я за ними!.. Не догнал. Возвращаюсь — ни того, ни сумки. А там деньги, документы, стихи… Папка твоя. Особенно литфондовский билет жалко. Красивый такой.

— А стихи? — смеясь, спросил Трухан.

— Тоже, я же их не запоминаю.

Жалко было, конечно, и Трухану папку. Но в отличие от Ведрича, он помнил каждое свое слово, даже в каком месте текста оно стояло. Да и зачем ему текст? Никому больше он его показывать не собирался. Только подумал, что вот еще и такая — практическая — польза может быть от родной литературы: это же его папка и стихи Ведрича в прямом смысле помогли отбиться от каких-то придурков!

5

...Из всех законов Природы, возможно, самый наилучший — выживание слабого...

Еще дня через три — суббота как раз была — Трухан лежал на застеленной койке, опираясь на локоть, перед развернутой на семнадцатой странице книгой «Идиот», которая служила ему не столько поставщицей пищи духовной, сколько медицинским пособием — он отслеживал поведение больных пациентов и со своим сравнивал.

Да что-то не шло чтение. На философию тянуло. Лезла разная ерунда в голову. Какая-то мистика, какие-то символы виделись ему и в названии книги, и в номере страницы с синим библиотечным штемпелем внизу («семнадцать лет, весна, любовь…»), на которой его так безнадежно тормознуло, а более всего — в самой ситуации. Девушка Игоря, соседа по комнате, — может, та

самая, которой он ноги укутывал покрывалом, когда приводил сюда Ведрича, может, другая, — сновала, хлопая дверью, то в комнату, то на кухню, готовила ужин, пока сам Игорь в кино, или в кафе, или просто по городу с еще одной девчонкой гуляет. Вернется Игорь, веселый, объявит, что голодный, ужинать сядут, Трухана позовут за компанию… Ну, не удивительно?!.

«И дело не в том, что у Игоря их две или несколько, этих девчонок, а у меня ни одной, — думал Трухан, удобнее укладываясь в койке, — и не в том, что у Игоря счастье (без кавычек) знать, что его всегда ждут и ужин ему готовят…»

Как раз зависти к Игорю у него не было. Тут скорее наоборот, «имело место» какое-то мазохистское удовольствие — от нормальности вещей, от правильного их раздела, как в анекдоте: черным черный хлеб, белым — белый… Если бы, иначе говоря, Игорю вздумалось вдруг поделиться с ним своим гаремом, и сами наложницы не противились бы — то он, Трухан, был бы против и такого подарка судьбы не принял.

«Каждый пусть знает свое место и занимает только его — согласно проданному Судьбой-кассиршей билету. Ибо иначе что же получится? Хаос, бардак, неразбериха! А так все правильно. Природа сама себя оберегает. Натуральный отбор, выживание сильнейших, если не улучшение породы, то хотя бы сохранение ее», — философствовал, лежа на прогнутой студенческой койке-«корыте» Трухан. До того за свою относительно небольшую жизнь был он вымотан сиротством, одиночеством, болезнями, неудачами, настолько уже свыкся с этим своим постоянным — аж до неприличия — несчастьем, что начал принимать его как должное, как субстанцию, начал даже носиться с ним, ценить его — так, как другие носятся и ценят в себе удачливость, талант, здоровье…

Да и что значит счастливый — несчастливый? Не такое ли это натуральное деление, как и на людей высоких и низких, на мужчин и женщин, на день и ночь… Не будешь же так ставить вопрос: кто лучше — мужчина или женщина? Они равноценны, каждый в своей «весовой категории»… Так не означает ли это, что и он, так называемый «несчастный» Трухан, совсем не хуже так называемых «счастливых» Игоря с Терешковым — просто они из другого «классификационного разряда», разные у них плюсы и минусы…

Еще удобнее улегся Трухан в своем «корыте» — ноги на спинку, сбитую в комок твердую подушку — под бок, и начал прокручивать недавние мысли по второму кругу, чтобы в памяти оформить их в короткие, грамматически правильные предложения.

Непросто оказалось это после стиля автора «Идиота». Кстати — вот хотя бы и этот Идиот, это вечное стремление показать и доказать, что только юродивому, чудаку, больному может быть дело до таких абстракций, как добро, гуманизм, человеколюбие… Еще бы! Трудно представить веселого сангвиника, который занимался бы тем, чем теперь Трухан занимается. Который валялся бы днями в постели, читая книги, или убивал время, бездумно созерцая природу, или забивал себе голову разбором поведения «ближних своих», или — еще хуже: склонившись над листами бумаги, изо дня в день выдумывал ненастоящую жизнь, когда вон за окном — настоящая, которой жить нужно, всюду успеть, как можно больше от нее ухватить…

А с другой стороны (от твердой подушки у Трухана болел бок) — эти гонки по жизни, вечная закрученность, невозможность остановиться, опомниться — куда я бегу, чего? — не обедняет ли оно? Разве тот же Игорь или Терешков могут так остро, как он, Трухан, замечать, и главное, с такой полнотой ценить разные маленькие волшебные детали — такие, как запах яблока белого налива или бледно-фиолетовых цветочков сирени, как хруст ледком

затянутой мартовской лужицы под ногами, как синий налет тумана на шляпке позднего осеннего гриба?.. Разве могут они заплакать над книгой, над эпизодом фильма? Разве так, как он, Трухан, радуются они каждому новому дню, и вечеру, и ночи — особенно ночи! — когда подготовлена чашка чая и пачка сигарет, и манит к себе, и так просит прикосновения ручки свежая стопка бумаги, которая «белым пятном легла на стол»?..

Разве это у Игоря в драгоценных запасниках памяти воспоминание о девушке, которая сидела однажды в поликлинике около процедурного кабинета, напротив Трухана, и глаз с него не спускала, а он не замечал ее, и тогда она поднялась, сама подошла к нему и сказала — с укором в голосе: «А я, между прочим, о вас думаю!»; разве не перевесит этот эпизод, если девчонок Игоря всех вместе взятых положить на весы его значимости?..

Конечно! — зато Игорь не знает и теневых сторон. Безотцовщины, по чужим людям скитания, в детстве конфет и копеек на кино отсутствия… Не знает ни больниц, ни капельниц, ни рентгенов, ни наркозов, ни операций…

Ни того, что — когда ты уже немного подрос — девушка не идет танцевать с тобой, потому что у тебя нет джинсов и ты в армии не служил. И одной сотой не знает этого Игорь, потому что он же для другого в мир прислан — для улучшения породы. Потому и оберегает судьба таких, как он. Да и куда Игорю испытания! Сломается от пустяка, мелочи, на которую привыкший, тренированный, закаленный Трухан внимания не обратил бы, сопьется, с ума сойдет, руки на себя, чего доброго, наложит…

Это нам грузи побольше — вези подальше, это нас… а мы мужаем! — с горькой гордостью думал о себе Трухан, пока не опомнился: а при чем здесь Игорь?! Началось же с того, что зависти к нему он никакой не испытывает… И вот колесо, сделав круг, с другой стороны подкатило.

Да. Нужно не дурить себе голову, а признаться честно: ни в этой ситуации, ни в этой жизни сам черт ничего не разберет. Настолько оно ирреально, что нехотя, помимо воли потянет спрятаться от него — хоть в больнице или в госпитале, хоть под одеяло с головой, хоть между страниц этого «Идиота»… А лучше всего — «в снах», в творчестве, где все тебе подвластно, все понятно, где одним легким росчерком пера можно получить все что пожелаешь, все, чего лишен здесь, в так называемой жизни «реальной»…

Додумать ему не дали чьи-то голоса, а потом тяжелые шаги и стук в дверь.

Трухан повернул голову и увидел в двери милиционера. Милиционер был точно такой, какими они и бывают, — классически-киношный, в тулупе, подпоясанном ремнем, с папкой в руке. Даже фамилия, когда милиционер, переложив папку с левой руки в правую, козырнул и назвался, кончалась у него на -ко — Пилипенко, что ли, Трухан не запомнил, запомнил только, что это участковый.

Он поднялся с койки. Участковый протопал, оставляя мокрые следы, к столу и присел на табуретку, лицом к двери, папку раскрыл и положил на колено. Девушка у двери смотрела на него разинув рот, вытирая слезы; в одной руке у нее был нож, в другой — неочищенная луковица.

— Распишитесь в получении повестки, — устало сказал участковый. — В понедельник явиться в прокуратуру. — И добавил, упреждая вопрос Трухана: — Почему — не знаю.

Участковый вручил ему повестку и ушел. В другое время Трухан только полюбовался бы им, отложил бы в память, что вот таким и должен быть милиционер — вежливым, подтянутым, не хамом… Если бы не серая бумажка в руке. Если бы не эти «гражданину», да «вы обязаны», да «в случае неявки…»

6

Почему прокуратура? Почему повестка в субботу, а явиться во вторник? И лишь потом, и только на третьем месте — «за что»?

Вот же натура человеческая! Казалось бы — что ему, больному, перед такой страшной операцией, ему, который столько времени тем и занимается, что готовит себя к преждевременной смерти, — что ему до этого серенького листочка бумаги?! Да порви и выкинь, сделай то, что на недавней лекции сделал, когда, никому ничего не объясняя, просто встал да и вышел! Будь свободным, плюнь на все, думай, как и до этого думал, словно и не произошло ничего, о важном, о главном!

Да вот не получается...

Или это еще одна загадка психики — таким образом спасаться? Мелочами перебивать главное? Как тот приговоренный к гильотине шутник, который отказался от положенных перед приведением приговора сигареты и бокала вина — на том основании, что алкоголь и никотин вредят здоровью.

Вертишь в руках эту серенькую дрянь, перечитываешь, покоя она не дает тебе, тревожит тебя, думаешь о ней, ловишь себя на том, что боишься ее, и раздражаешься, и злишься, что можешь придавать ей такое значение, и понимаешь, в конце концов, что завладела уже она тобой, твоими мыслями и чувствами, и никак не сладить с ней…

А то грехи и грешки свои перебирать начинаешь. И среди них — на полном серьезе, как вполне реальный, допустимый — и тот, что вызывают его в прокуратуру, потому что демонстративно с лекции ушел.

Ночь почти бессонная… В выходной по городу шатание, словно последний раз его видишь… Изведение себя разными догадками, да гипотезами, да домыслами…

И лишь в понедельник к вечеру Трухан успокоился. К тому времени он уже понял кое-что. Например, почему понадобилась такая пауза между субботой и вторником, между вручением повестки и явкой: а чтобы походил, подумал, попереживал… Как и то, почему не нужно заранее объявлять, зачем его вызывают: а сам догадайся. Сам придумай что-нибудь. Этакий психологический момент, заложенный в будущее наказание, — как стоимость постельного белья и стакана чая автоматически включается в стоимость железнодорожного билета.

В ту ночь он хорошо выспался. И когда встал, голова была светлая. Само утро за окном успокаивало. Вот такое утро, когда морозик, солнце и одновременно идет сухой редкий снег, ничего плохого не должно случаться с людьми. И он заранее уже знал, что и с ним ничего не случится. Свое «наказание» он уже отбыл за эти двое суток. Да и вообще — начало казаться, что не иначе закралась во всю эту историю ошибка. Глупая, досадная, она стоила ему, конечно, немного нервов, но ничего страшного. Ни на кого он не в обиде, а даже благодарен судьбе в лице прокуратуры за этот искусственный всплеск эмоций, который, скажем честно, заставил его вспомнить и такое, о чем каждому вспоминать не совсем приятно.

Дорогу он хорошо изучил еще за выходные дни, когда бродил по городу. Улица Интернациональная. Кинотеатр… Деревянные, высокие, тяжелые двери. Чтобы открыть их, нужно приложить силу. Трухан приложил ее и очутился в вестибюле учреждения — с его казенной гулкостью, с его воздухом, насыщенным тревогой и почему-то запахом сургуча (как на деревенской почте), со стеклянной будкой дежурного и турникетом-вертушкой рядом.

Трухан протянул дежурному повестку. Тот попросил не показать, а «предъявить» еще и документ. Затем долго сверял квадратик фотокарточки двухгодичной давности в студенческом билете с живым Труханом, который снял с головы шапку и, вспомнив концовку фильма «Афоня», жалостливо раздвинул губы в улыбку. А самого в сердце кольнуло — неужели так сильно за эти неполные два года он изменился?

— Проходите, — сказал дежурный. Официальность его голоса отметала все сомнения — никакой ошибки нет, он, Трухан, а не кто-то другой, здесь нужен.

Он поднялся на второй этаж. Длинный коридор был пуст. Вдоль стены у кабинетов стояли стулья. Так потянуло опуститься на один из них, словно не два лестничных пролета одолел, а неизвестно какую дорогу. К тому же по привычке, как к врачу на прием, он явился ровно за пятнадцать минут до назначенного времени и теперь имел запас.

Но тот же больнично-поликлиничный опыт подсказал ему, что иногда не стоит оттягивать и, «пока нет очереди», пользоваться моментом. Чем быстрее отважишься, тем легче потом. Он постучал в дверь и без приглашения всунулся в кабинет.

В кабинете стола было три, но только за одним из них сидел молодой человек с усиками, в обычном гражданском костюме, и тюкал одним пальцем по клавишам пишущей машинки. Из-за этого, наверное, и не слышно было стука в дверь. Не отрываясь от своего занятия, усатый подбородком показал Трухану на табурет по ту сторону стола.

— Проходи, присаживайся.

Трухан присел. Не забывать ничего, сортировать, раскладывать по полочкам памяти! Как вот это «присаживайся» вместо обычного человеческого «садись» — чтобы не сглазить, потому что сесть, по их мнению, можно только в тюрьму; якобы боязнь или нежелание обидеть словом, а на деле — этакая издевательская дань «фене», утонченно-извращенная ментовская деликатность, ария из той самой оперы, когда (рассказывали Трухану) в участке или в вытрезвителе отберут у пьяного деньги, снимут часы, обручальное кольцо и нательный крест, — словом, обчистят до нитки, — но обязательно оставят пару сигарет с зажигалкой и мелочь на талончик или жетон в метро…

Усатый тюкал себе и тюкал, монотонно, через ровные паузы, аж по мозгам било. Трухан терпеливо ждал. И от нечего делать украдкой рассматривал помещение и хозяина — рассматривал и диву давался: какая же, оказывается, опасная вещь литература! Не успел написать он о своем Трухановиче — пожалуйста, сам получай и табуретку, и казенный кабинет, и следователя, и возможный скорый протокол. Вдруг он увидел на краю стола… свою папку.

— Твоя? — спросил усатый, продолжая тюкать.

— Моя… А откуда… — «она у вас», едва не вырвалось у Трухана, да вовремя опомнился. Кто, как не он, по студенческой привычке, как на конспектах, собственной рукой записал на обороте папки все свои данные: и фамилию, и адрес, и даже номер комнаты.

Усатый обладал талантом делать два дела сразу плюс еще видеть человека спиной.

— И что ты там написал? Чего вызвали?

— Не знаю… В смысле, что написал, знаю, а чего вызвали…

— Против власти что-нибудь? Или порнография? — неожиданно спросил усатый.

Ну, конечно. Что еще для них может считаться крамолой? Трухан осмелел.

— Можно и так сказать…

— Серьезно? — усатый даже о машинке, о тюканье своем важном забыл. И впервые поднял на Трухана глаза. В них был интерес.

— Скорее в переносном смысле. Если художественное произведение неудачное, то…

— А-а, в переносном, — разочарованно сказал усатый.

Тут открылась дверь и в кабинет быстрым шагом вошел человек. На ходу он расстегивал пуговицы черного пальто. Что-то очень знакомое Трухану было в его облике… Да это же тот самый! Выбритый, с печальной, виноватой улыбкой, который молча просидел всю недавнюю сходку в Доме литератора, тот, у кого все допытывался Ведрич, чего он сюда таскается, и не прозаик ли он, не поэт ли. И теперь выбритость была самой характерной деталью его лица. Настолько отличалась выбритая часть от невыбритой, что, казалось, под носом, на подбородке и на щеках приклеена синеватая маска.

Усатый при его появлении встал. Но выбритый, повесив пальто в шкаф, подошел к Трухану.

— Это не я опоздал — вы раньше пришли, — сказал он, за руку здороваясь. — Извините, холодная после улицы. Вас я знаю, а меня зовут Иван Павлович. Да вы сидите!

Что касается усатого, то ему Иван Павлович даже руки не подал. Они обменялись взглядами, после чего усатый похлопал по карманам — в ответ звякнули ключи и зашуршали спички — и вышел в коридор.

Единственное, что почему-то приходило Трухану в голову, это то, что происходит, вернее сказать, готовится, — «контрастный допрос»; штука старая как мир, как сама система…

— Куртку снять не хотите? — спрашивал тем временем Иван Павлович. — Нет? Правильно, не Крым. Мой принцип — лишь бы человеку удобно было. А то навыдумывают разных условностей. Вот я, например, когда горячий чай пью, громко прихлебываю, мне и вкуснее так, и губы не жжет… Но ты что! Некультурно, не принято, пальцем показывают, — мягко, убаюкивающе говорил Иван Павлович. — Кстати, может, чаю? Кофе? Тут есть электрочайник, не думайте! И все остальное найдется… Нет? Тогда и я не буду — за компанию.

Иван Павлович присел напротив — нога за ногу, руки сложены на животе, на лице — та самая виноватая и немного печальная улыбка. Если усатый за все время только раз взглянул на Трухана, то этот, наоборот, — глаз не отводил.

— Вам сказали о причине вызова сюда? Нет? Ну вот, такие у нас порядки! А человеку переживай…

— Я догадался, — сказал Трухан, кивая на папку. — Поймали тех грабителей?

—Э-э… почему сразу грабители? — воскликнул Иван Павлович. — Все целым осталось в сумке вашего друга… Но сменим тему. Если честно, не здесь, — обвел он вокруг себя рукой, — не в таких условиях должно было бы состояться наше знакомство. Но раз уж такой повод с сумкой… Все равно нужно было вызывать вас, чтобы папку возвратить, так заодно, думаю, и познакомлюсь с человеком… Если вы не против, конечно!

— Наоборот, — подыграл Трухан, — я очень благодарен за внимание, за повестку…

— Разговор будет минимально коротким. Еще раз извините, что не по своей воле вы здесь. Не удивляйтесь, — он еще больше смягчился, доведя интонацию почти до компанейской, — но и не по моей тоже.

Дальше начало происходить вообще что-то невероятное.

— Не будем вести никаких протоколов — к черту официоз, не люблю, не признаю! Это им там, — поднял вверх указательный палец Иван Павлович, — канцеляристам этим, — и Трухан в первый момент не понял даже — небесная канцелярия имеется в виду или своя, земная, расположенная в каком-то квартале отсюда. Если второе, то не просто смело с его стороны, а как-то… необычно, даже подозрительно: разве можно им критиковать начальство (пускай себе и «в интересах следствия»), да еще при свидетеле?

— Как дети малые, ей-богу! Вечная настороженность, все им мерещатся заговоры, подкопы, диссидентство… Причем, не столько искоренять собираются, сколько ради галочки — показать, что и у нас, как и у остальных, свои недовольные, своя опальная интеллигенция, — не унимался Иван Павлович, говорил с каким-то веселым отчаянием в голосе — мол, знаю, хоть и влететь может за это, но и молчать не могу: раз пошла такая пьянка — режь последний огурец.

— …Вот хотя бы вас взять. Собираются молодые, способные, задиристые, пишут себе, выступают, агитируют помаленьку… На здоровье! Но что ты! Где ты видел! — теперь уже к легкой горечи перешел Иван Павлович, словно бы полемизируя, не соглашаясь с кем-то — с теми, кто ему, Ивану Павловичу, это занятие придумал, кто поручил ему такую непопулярную миссию; а так сам он, Иван Павлович, вроде бы и ни при чем, просто обязан «через не хочу», для пустого отчета это делать.

— …Контроль им нужен, селекция, наблюдение в динамике… Не успеет проклюнуться способность в человеке, еще неизвестно, что из него получится, — а уже бегут опекать, как те семь нянек: только бы правильной дорогой пошел, только бы — не приведи бог! — не выбрал пути скользкого, колдобистого, диссидентско-изгнаннического!..

Трухан отчаялся понять хоть что-нибудь. Так запутал, задурил голову этот Павлович. И чего, с какой такой радости на творчество перекинулся? И все это с неизменной иронией, словно чьи-то чужие слова вынужден повторять, а сам он — все понимает, свой в доску, на стороне именно диссидентов и только их путь признает как единственно верный.

Какие-то смутные догадки вспыхивали, конечно. Что недаром все это, доверчивость эта излишняя, рассуждения эти сладкие — о потенциальных способностях, об опекунстве… Трухан перевел взгляд на серую папку. И даже машинально пальцем потрогал шнурки на ней. Как бы в ответ на его движение посерьезнел и Иван Павлович.

— Мы прочитали, — просто (с булгаковской интонацией) сказал он. — Вы не против? Хотя что это я: сначала вхожу, а потом разрешения спрашиваю…

Щекам Трухана вдруг стало горячо, а спине — холодно. В висках застучало: читали… в множественном числе… вот результат… оценили!..

— И что скажете? — неожиданно для себя быстро выпалил он.

— Скажем, что показателен сам факт — мы с вами разговариваем. Раз на вас обратили внимание…

Тут Иван Павлович перешел к самому интересному, именно — раскрыл папку. Знакомые страницы замелькали перед глазами…

— Я здесь делал замечания… Карандашом, легко стереть… Если вы не против… Вот, и еще, и вот…

И Иван Павлович, торопясь, ища нужные места, начал перекидывать-перелистывать страницы то туда, то сюда. Однако Трухан успевал кое-что заметить. «Маразм большевистский» подчеркнуто было волнистой линией… Ленин, Сталин…

— Сравнение Ленина с идолом, — не учил, а тихо, по-дружески советовал Иван Павлович, — вряд ли желательно: как-никак, все же вождь. Рискованно даже для нашего времени, тем более для нашей белорусской скромной литературы, которой в принципе чуждо политиканство… Вы заметили (потом Трухан припомнит, что ни разу за весь разговор Иван Павлович не назвал его ни по имени, ни по фамилии) — удивительная штука: что для великой развитой литературы допустимо, естественно, в какой-то степени даже вторично, то для литератур малых народов — открытие, находка, крамола, анти- и контра-! Правда, я могу ошибаться, потому что не настолько сведущ в изящной словесности… Не хочу быть ханжой… Сам писать не могу — не дал Бог таланта, зато тешусь надеждой, что в литературе разбираюсь не хуже, если не лучше... — говорил Иван Павлович, и звучало это как «сам плавать не умею, зато на сухом берегу научу любого».

—…Так вот — хотелось бы почитать все... Если вы не против опять-таки… Интересно: как ваш герой, наш современник будет вести себя там… далеко… Это же целую историю наворочать можно! — глаза Ивана Павловича вдруг оживились и заблестели. В них появился азарт человека, которому, пожалуй, впервые в жизни приоткрылся до этого наглухо задрапированный занавес, за которым — такая заманчивая возможность творить самому, пусть даже и со-творить.

Впрочем, он быстро остыл.

— Или, может, тут все проще? И вы таким ходом — переносом во времени, социальной, так сказать, фантастикой пробуете элементарно заинтересовать читателя?

— Скорее его заинтересуешь порнографией, — ответил с улыбкой Трухан. Но Иван Павлович юмора не понял — он же не мог знать про эпизод с усатым.

7

— Бог с ней, с папкой, — сказал Иван Павлович, папку закрыл, веревочки аккуратно, как шнурки на ботинках, завязал и положил на папку ладонь, тем показывая, что с первой частью покончено. — Давайте так условимся: если вам неприятно будет, нетактичными покажутся вопросы — безо всяких китайских церемоний обрывайте, и… кончим на этом!

Трухан, который было размяк от литературного экскурса, вновь насторожился.

— Мы знаем, что живется вам нелегко, мягко говоря… Проблемы и с учебой, и со здоровьем, и в материальном плане… На стипендию сельсовета не разгуляешься, — Иван Павлович умолк в ожидании реакции.

Но возгласа типа «ах, вы и это знаете» не последовало. Никак не отреагировал Трухан. Не удивление, а скорее равнодушие было на его лице. Подумаешь, заслуга: подняли документы в деканате, с направлением от колхоза и справкой, что сельсовет обязуется ежемесячно высылать крохотную стипендию. Здоровье? — и того проще: целый год Трухан находился «в академическом» по болезни, в том же личном деле все необходимые бумаги, а если еще подробнее захотелось узнать — пожалуйста, в поликлинике медкарточка, там все — от рентгеновских снимков до анализа мочи, какие тут «врачебные тайны».

— Родные, дед с бабой, конечно, тоже не помогают? — тихо спросил Иван Павлович.

Опять промолчал Трухан. Если знаете, зачем спрашивать? Родные, дед с бабой… Помощь!.. Может, и помогали бы, если бы он просил. Мало и без

него у них нахлебников — и больших, и малых! Одному в школу, другой женится, тот спивается, тот дачу строит… Единственное, и самое большое, что они, родственники, для него могли, они уже сделали (за что благодарен им будет до конца дней своих) — это угол, да кусок хлеба давали, да терпели, пока он с горем пополам школу окончит, а там скинулись по копейке да отправили в Минск, не столько с надеждой, что выучится он и «человеком станет», сколько советы докторов исполняя, — что желательно ему быть поближе к столичным больницам, где в случае чего, может быть, хоть умереть не дадут.

— А сколько в денежном эквиваленте ваша стипендия?

— Вы же знаете, — ответил Трухан.

— Знаем. Мизер, конечно. Зато регулярно, стабильно. Как бы ни учился, а совсем без ничего не останешься. В наше время понятия не имели ни о каких целевых стипендиях. Запустил, не сдал — одна дорога: вагоны разгружать. Молодые были, здоровые… Но это так, к слову. Конечно, мало — раз на день покушать да пачка дешевых сигарет. Я почему и удивился, что вы курите. Не вредит разве здоровью? Как вы вообще себя чувствуете?

— Спасибо, хорошо. В смысле, хорошо, что не хуже.

— Тогда самое, может, деликатное: что у вас за болезнь? Если не секрет… (Вот же! — казалось бы, так прямолинейно идет, а своего добивается; эти перестраховочные извинения да возможность не отвечать, как молоток по гвоздю, бьют и бьют в одну точку — и не хотел бы, а ответишь, да еще и невольно честным станешь, себе наперекор, чтобы показать, что ничего стыдного или крамольного за душой и перед людьми нет.)

— В поликлинике есть, — попробовал подкузьмить Трухан, но вышло неудачно, и дальше он начал отвечать серьезно. — Я и сам не знаю…

Это была правда. Доктора никак не могли поставить диагноз. Почему и подводили его к неизбежности операции, чтобы вскрыть ему череп и как следует покопаться в содержимом его. Они не могли даже определить, наследственная это болезнь или приобретенная. Хотя до семи лет — до первого класса, когда жива была еще его мама, он был самым обычным, таким, как все, мальчиком. После смерти матери все началось… Причем, задолго до Чернобыля, на который теперь можно было бы и свалить все. Но тогда никто не знал, что он существует, этот Чернобыль, даром что рядом с ним жили.

Так что не было кого или чего винить[1].

— А какие симптомы?

— Обычные, — неохотно отвечал Трухан. — Слабость, аритмия, головокружение. Только без головных болей. В любой момент можно потерять сознание.

— И что? — спросил Иван Павлович. — Неужели ничего нельзя сделать? А операция? Сейчас же все лечится! Тем более в ваши годы!.. Не может быть, чтобы не было надежды — надежда умирает последней… Нужно верить в лучшее, надеяться, да, верить и надеяться, — растерянно повторял Иван Павлович эти пустые и пошлые, если не сказать подлые, слова, которые в девяноста девяти процентах случаев здоровые люди говорят больным. Хотя и доля жалости была в его голосе.

— К операции и готовлюсь, — коротко отвечал Трухан.

---

[1] Если бы Трухан мог с такой же легкостью, как в прошлое, перенестись в будущее, в год, скажем, 2003-й, многое стало бы ему понятно. Например, то, что задолго до основной катастрофы на ЧАЭС произошло 29 (двадцать девять вопросительных знаков) мини-аварий. А так как их деревня находилась от Чернобыля практически через Припять…

— …Ну вот — обещал вам голову не морочить, а сам… Хотя, если честно, я и не ожидал, что так серьезно… Какие вы бунтари! — сказал Иван Павлович вдруг. — Так, в массе, в целом — можно подумать, а возьми каждого по отдельности да разбери индивидуально — сколько земных, настоящих проблем откопается!.. Даже не знаю, с чего начать… — Иван Павлович смотрел на Трухана, а когда тот поднял глаза, Павлович свои почему-то отвел. — Скажите, вам нужна помощь?

— Помощь?

Простой этот вопрос заставил Трухана задуматься. Не так и часто в его жизни было, чтобы не он просил, а чужие люди ему сами предлагали. От растерянности до него не сразу дошло, что ничего за так не бывает. «С докторами помощь!» — мелькнула мысль. Сдуру он так и спросил — наивно обнадеженный (за что потом, вспоминая, язык себе откусить был готов):

— С операцией… вы имеете в виду?

Иван Павлович широко раскрытыми глазами смотрел на него. Потом неожиданно резким голосом проговорил, почти выкрикнул:

— Все! Позже! Не здесь, не сейчас… Когда-нибудь… Спасибо, надеюсь на продолжение — и повести, и нашего знакомства. — Он подошел к двери, позвал усатого, который тотчас вошел. Трухан взял свою папку и поднялся.

— Повестку давай, — сказал усатый. — И распишись вот здесь. Что папку нашли, возвратили и претензий к нам не имеется.

Оказавшись на улице, Трухан первым делом разорвал на мелкие клочки и по ветру пустил повестку — чем такой оправдательный документ, так лучше прогул. Затем медленно пошел по заснеженному тротуару, вдыхая запах молодого снега, выхлопных газов и дым своей дешевой сигареты. Такой же конгломерат — каша из самых разных, полярных чувств — был у него теперь и в голове. Что? Почему? Прочитали… продолжение… нужна ли помощь? Никакой возможности не было разобраться. Да и бог с ними! Утрамбуется со временем, прояснится, объяснится. Главное — прочитали, похвалили, профилактику — чтобы на неправильный путь не сбился — провели… Дебют, первое признание! И нет же у них более важных дел, чем в моей биографии, в моих проблемах копаться. Целый спектакль разыгрывать… Неужто из-за этих нескольких десятков несчастных страничек? Или все проще: нужна им галочка, на учет кого-нибудь из ненадежных диссидентов молодых поставить — вот и выпала случайно на него эта лотерея. Хотя, по большому счету, любая случайность — результат закономерности; не пойди он тогда в Дом литератора, не познакомься с Ведричем…

Какая ерунда!

Да на его месте другой дебютант-«начинающий» не знал бы куда деваться от радости! Просто купался бы в этих первых, пусть и несмелых, лучах такой оригинальной популярности! А что, если… не спектакль? А правда? И помогут ему даже напечататься… И на другие языки переведут… И не есть ли этот эпизод всего только началом чего-то большого, настоящего, что круто изменит его судьбу, его будущее…

Понесли, поперли, закружили фантазии человека! До того, что даже перекусить забыл зайти в столовую. Опомнился только в комнате. Ничего страшного. Позже сходит. Все равно день пропал. А пока можно и чайком с черным хлебом перебиться. Вместо устриц с шампанским, которыми, наверное, и отмечаются удачные дебюты.

Тихо — все на занятиях. И на кухне тихо, пока заваривал чай, и в комнате. Красота! Непривычность! Он присел за стол и, дуя на чай, скосив глаза, жадно начал перечитывать одну за другой страницы, словно впервые видел

их. Собственный текст вдруг вырос, поднялся как на дрожжах; строчки сделались не линейными, а объемными, уже можно было рассмотреть их не только сверху, но и со стороны, и даже снизу…

Он читал то медленно, то лихорадочно быстро, стараясь уловить ритм Ивана Павловича и тех, других, ему неизвестных. Подолгу задерживался на подчеркнутых словах… Как он сказал? «Надеюсь на продолжение»? А продолжение вот оно. Вот они, тетрадки школьные… Бежит лошадка, везет в неизвестность Трухановича… Телега, как челн на воде, покачивается… Молодица рядом… Дядька, который называет его своим сыном… Куда они приедут? Что их впереди ждет?..

Часть третья

1

«…Лошадь спокойно бежала по сухой дороге. Плавно, как лодка на воде, колыхалась телега. Солнце то светило, то закрывалось белыми облаками. Иногда набегал осенний ветерок», — записывал в памяти Труханович, пока не надоело.

Он развалился поперек телеги, ноги закинул на боковую решетку, отчего они оказались выше головы, — и так легко стало в этой позе и спине, и голове, и шее. Истома от самогона, от теплоты ласкового дня, от грибных запахов — потому что дорога все время вела через лес, тихий ход телеги, однообразный топот копыт, сонным голосом «отцовское» понукание лошади…

Потом Труханович сам не мог понять, как умудрился продремать, пропустить, ничего почти не вынести из того долгого пути? Тем более, это была дорога домой, на его малую родину! Еще в госпитале, зная, что приедут и заберут его, — как же он ждал этого дня! Ему казалось, интереснее такой поездки ничего не может быть, никакие кругосветные путешествия с ней не сравнить. И что он глаз не сомкнет, кожей, сердцем впитает в себя и это небо, и лес, и стрекот кузнечиков, и помахивание хвостом лошади, и дядьку с кнутом, и…

И вот оно, столкновение с реальностью. В которой так буднично все, так голо. Нет — можно, конечно, заставить себя смотреть вокруг. И что? Ну, десять, пятнадцать минут вытерпишь… Вверху все то же небо, то самое солнце, которое то сверкнет ярко, то спрячется, по сторонам — тот же лес… Деревья — декорациями на театральном круге, словно не новые все время места они проезжают, а все те же березы да сосны, выждав, пока проедет телега, пригнувшись, перебегают вперед и вскоре снова встречают их.

Только за Мозырем, когда дорога с сухой начала становиться черной, как мазут, и стала спускаться все ниже, и пошел вместо ельника лес смешанный, лиственный, когда лошадка встрепенулась и, чуя близость дома, прибавила ходу, Труханович перестал дремать.

Ну, привет, родное болото!.. А запахи! Как обострились! — густые запахи ольшаника, орешника, лозняка, крушины, ежевичника… Появились и зазвенели комары. Труханович обрадовался этому звону, до того расчувствовался, что подставил комару ладонь, дал ему хорошо напиться, и когда тот, подрагивая в экстазе животиком, постепенно превратился в красную ягоду, придавил пальцем, и комар лопнул, брызнув кровью, — и так живо напомнила эта кровь на пальце госпиталь, и минские поликлиники, и все эти анализы, которые так примитивно, отвратительно делаются, которых он малодушно боялся и терпеть не мог и в той жизни, и в этой!

Чтобы отвлечься от этих мыслей, он собрался было спросить у клюющего носом «отца», далеко ли еще.

— Да… (дал петуха голос.) Скоро приедем?

— Что говоришь? — очнувшись, недоуменно переспросил «батька». Посмотрел на Трухановича и отвел глаза. Наверное, надеялся все же, что это беспамятство у сына только в госпитале будет, в четырех стенах, в чужом месте, а тут, увидев свое, родное, — вспомнит, оживет. — Близко, — ответил со вздохом.

— Можно остановиться?

«Отец» сделал губами «тр-р-р», лошадь остановилась, Труханович неуклюже слез с телеги и, когда та снова тронулась, заковылял рядом, здоровой рукой держась за боковую решетку.

В задке на сене, скрутившись калачиком и накрывшись с головой платком, спала Наста. Скрип телеги, солнце, светящее сквозь ветви и листья ольх, дорога, пахнущая болотом, лягушками и вьюнами… Таким все это было близким, родным — «по человечески», как его новый «отец» говорит…

Трухановичу показалось, что и действительно он начинает кое-что узнавать; хотя бы вон ту склоненную кривую придорожную ольху со стесанным колесами стволом. Но нет — не зрительного, не конкретного плана была «узнаваемость», а какая-то общеабстрактная, в далеком детском сне сто лет назад увиденная, или скорее, в сотнях книг вычитанная. Показалось ему, что вот вроде бы возвращаются они, семья, из города, куда ездили на ярмарку, продали что хотели, купили все нужное — словом, удачная вышла поездка; пообедали, возвращаются назад, старик-отец правит лошадью, он, сын, шагает рядом, чтобы легче было лошади, его жена сладко спит, потому что встала рано, уморилась… И так все хорошо у них, так согласно, ладно. Впереди вечер — неспешный, с кормлением скотины, с сидением потом на скамейке, когда слышится где клепание косы, где звон молока о доенку… Под эти звуки, под дымки самокруток — мужская беседа о том о сем; главное, с нерушимой уверенностью, что скоро наступит ночь, а завтра обязательно будет утро, и никакого дела им нет не то что до того, что где-то в большом мире происходит, а даже в соседней деревне… У них свой естественный замкнутый круг: семья, работа, которая одновременно и отпуск, природа, которую нельзя изменить, которая вечна, как вечна эта земля под ногами…

С нетерпением Труханович ждал, когда же, наконец, покажется деревня. Чего-чего, а деревню, улицу он не может не узнать. Втайне он даже надеялся увидеть свою хату, на том же месте, такую же…

Но никакой улицы он не увидел. До нее просто не доехали. Лошадь свернула к первому на въезде хутору. За ольшаником открылся небольшой выгон. За ним, обнесенная забором, ютилась усадьба — изба, даже две, кажется, избы, сарай… У Трухановича сжалось сердце. Все было незнакомое, чужое. Но вот, сделав несколько шагов, он заметил по ту сторону выгона характерные заросли лозы, которые только у воды бывают. Так и есть — еще через пару шагов и сама синяя полоска родной стихии среди кустарника показалась… Речка! Отлегло немного от сердца. Если есть вода — все не так уж и плохо!..

Не успела телега въехать на выгон, как их услышали уже. Две собаки где-то во дворе заливались: одна густо и злобно, другая тонко и радостно… Куры кудахтали. Корова подала голос, поросенок подключился… Со временем кормления скотины их приезд совпал или это вместо духового оркестра? Со двора выбежала и застыла у ворот женщина, прижимая к груди руки; следом — парень (и правда, похожий немного на Трухановича, только без

бороды и ростом пониже, но такое часто бывает, что младшие перерастают старших). Парень сразу бросился открывать тяжелые ворота.

Труханович понял, что женщина и есть его новая «мать», а парень, конечно, тот самый «брат» — волревкомовец Миканор. Женщина оторвалась от столба и несмело двинулась навстречу… Труханович, наоборот, оттягивая встречу, замедлил шаг.

Он бросил мимолетный взгляд на лицо ее — обыкновенной белоруской горемычной крестьянки, лицо, которое даже ему, тоже деревенскому белорусу, не могло бы запомниться ни с первого, ни с пятого раза; так же сложно выделить кого-нибудь из фольклорного коллектива, выступающего по телевизору: все в одинаковых вышитых нарядах, одного возраста, все на одно лицо — как японки…

Опустив глаза, уставившись на тропинку под ногами, он приближался к женщине, разглядывая пыль, листья подорожника, носы старых своих, успевших уже запылиться — хотя в госпитале чуть не до дырок начищал перемешанной с салом сажей — сапог…

Так, упрямо вниз глядя, подходил он к женщине.

Парень не сомневался, что когда она взглянет на него вблизи, то сразу обо всем догадается, все поймет, и неумышленное шарлатанство его легко обнаружится. Ибо кого-кого, а мать ведь не обманешь, кто-кто, а она уж не сможет ошибиться. И тогда отпрянет: кто это? кого вы мне привезли? это не мой сын! — промолвит холодно и отвернется…

Но чужие руки уже обвили его шею, и женщина повисла на нем, выдохнув: «Сыночек!» Радость ее была неподдельная, и оттого, что и она не распознала его, ему досадно стало и стыдно.

— Добрый день, — выдавил он из себя через силу.

«Отец» уже заехал во двор, окриками и свистом кнута успокоил собак и, даже не распрягая лошадь, поспешил на выгон — смотреть, что будет. А женщину хоть ты отдирай от Трухановича. Все повторяла надрывно «сыночек» да «сыночек»… Ее щека терлась о его бороду, и мокрой от слез была щека. Все это было неприятно, как и то, что запах от женщины исходил чужой. И все равно он не отваживался оторвать ее от себя. Но через некоторое время все же мягко разжал ее руки и высвободился.

А в сторонке терпеливо ждал Миканор. Труханович приготовился и с ним обниматься. Но Миканор лишь притронулся к его плечам — и отступил, словно глазам своим не веря, словно удостовериться желая, не мираж ли перед ним? И опять притронулся — и снова отступил… Восхищение, просто счастье сияло на его лице.

— Ну вот! Солдат, герой, большевик! Все при всем! Голова на месте, руки, ноги, — Миканор аж причмокивал, так нравился ему брат. — А то уже такого тут понарассказывали! Смеюсь. Ну, давай целоваться, — наконец Миканор обнял его. — Как бы тут через твою бороду продраться…

— Полегче, рука же у него болит! — вступилась «мать».

Миканор сразу же ослабил объятия. Другим голосом, уже без улыбки, заботливо спросил:

— В самом деле, что с рукой, братик?

— Болит, — ответил Труханович. Он был поражен. Надо же, как свободно владеет человек собой, мимикой своей, голосом!.. Не было сомнения, что, если понадобилось бы, то этот Миканор зарыдал бы горько, безутешно и искренне, или наоборот — зашелся бы в заразительном хохоте. А может, никакое это не актерство? Просто человек такой: как умеет, так и проявляет свои чувства? И может, это он, Труханович, сам виноват, что стал таким

подозрительным, недоверчивым? Ему постоянно кажется, что все настроены против него, всех он остерегается, в каждом чужом поступке или даже слове видит негативное, в любой момент готов к отпору…

— Хватит обниматься, идите уже в хату!

— Не в хату — во двор сначала! Умыться с дороги, освежиться, похмелиться… Смеюсь!

Миканор обогнал Трухановича, забежал вперед, калитку перед ним услужливо распахнул — как швейцар-привратник, в струнку вытянулся, вперед пропуская.

2

С этого момента новоиспеченный «брат» стал и руками Трухановича, и языком его, и глазами, — стараясь угадать (самое интересное, что часто и угадывая) мысли брата и желания.

Даже кошку, которая вышла к калитке посмотреть, что тут происходит, наклонился и за Трухановича погладил.

Труханович тем временем осматривался, чтобы хоть немного сориентироваться. Две хаты, старая и новая, стояли вплотную одна к другой — две семьи жили в одном дворе… Двор был большой, широкий и, как для двоих мужчин, довольно-таки запущенный. Все казалось не на своем месте, было сложено и свалено лишь бы где и лишь бы как: бороны, плуг, грабли, колесо от телеги, куча навоза…

И вдруг будто взорвалось воспоминание — далекая-далекая будущая зима, Дом литератора, приступ, случившийся перед зеркалами в фойе… Ну конечно, это тот самый двор, который привиделся ему тогда, в той настоящей жизни! Вот здесь, под этой стеной на сложенных бревнах Нелли сидела, и он, Трухан, с каким-то ребенком на руках…

— Что, вспомнил что-то? — от внимательного Миканора не укрылась перемена на его лице. — Смеюсь.

— Немного…

— А я что говорил? Понемногу, не все сразу, поживешь, осмотришься… Дом родной, братик, все напомнит. Сейчас, я мигом, — Миканор бросился в дом, на ходу успев вытереть подошвы башмаков о траву у порога.

Труханович присел на бревна. Вот почти и сбылся его сон-мираж.

«Отец» распрягал лошадь. Из сарая доносилось цырканье — умница Наста, вместо того чтобы разглядывать и смущать Трухановича, занималась делом — корову доила. «Мать» постояла немного в сторонке, видимо, надеясь услышать что-нибудь от «младшего». Потом сказала — то ли ему, то ли сама себе: «Пойду помогу», и тоже скрылась за закрытой дверью сарая. Наконец-то хоть на какое-то мгновение Труханович остался один.

Но Миканор уже пулей летел к колодцу — энтузиазм, жажда деятельности, желание услужить близкому своему так и перли из него; звенел цепью, стучал окованным обручами ведром-ушатиком, доставал воду… Через плечо у него перекинут был чистый полотняный рушник.

— Ну-ка, иди снимай гимнастерочку! — и гимнастерку снимать стал помогать, чем делал только больнее и мешал. — Сейчас освежимся!

Суетливость его до того дошла, что, даже поливая, одновременно и намыливать пытался Трухановича. А вода, и правда, была ледяная, пахла колодцем, мылом и немного зеленым мхом, который рос на скользких бревнах в колодце.

Сонливость как рукой сняло. Вымытый, и посвежевший, и голодный, с единственной мыслью: деваться некуда, нужно осматриваться, запоми-

нать и привыкать, Труханович — опять-таки впереди деликатного Миканора — зашел в избу. Тут было светло, просторно и, в отличие от двора, чисто и убрано. Вымытый, местами еще мокрый пол благоухал свежим аиром. От теплой печки плыли запахи жаркого. В дальнем углу перед украшенными рушниками образами стоял «отец», губы его шевелились, а пальцы сложены были в щепоть.

— Присаживайся! — Миканор ладонью провел по скамье. — Сейчас мать с женой, Настой моей, подождем. Придут, все организуют… Смеюсь! — умышленно громко говорил Миканор, подмигивая Трухановичу и кивая на «отца». Потом снял, повесил на гвоздь шапку, присел на табуретку и вместе с ней придвинулся к брату. Улыбался доброжелательно, открыто. Трухановичу не оставалось ничего другого, как улыбнуться в ответ. Так и сидели — молча, друг другу улыбаясь, будто любуясь друг другом.

На самом деле Труханович использовал этот тайм-аут, чтобы повнимательнее рассмотреть новоиспеченного братца. Спокойный взгляд. Выбритое, чистое, с правильными чертами лицо. Прическа «под горшок» — в прямом смысле: видимо, не мудрствуя, надели человеку горшок на голову и все, что из-под него торчало, овечьими ножницами отхватили, оставив копну волос сверху и уши-локаторы по бокам. Старенький, черный, залатанный на локтях хлопчатобумажный пиджачок, такие же — гарнитур! — штаны. На ногах дубовые железнодорожные ботинки-«гады»… В конце концов, для того времени и для того достатка человек, так одетый, мог считаться, наверное, зажиточным.

Все это было внешнее. А вот что в этой обчекрыженной голове? Что за душой? Трухановичу хотелось найти какую-нибудь несимпатичную черту в Миканоре. Он улыбался и все рассматривал его, взглядом, как рентгеном, стараясь проникнуть к нему в самую душу. Тщетно. Не к чему было придраться. Адекватное поведение, как положено все говорит, кроме разве что злоупотребления этим «смеюсь»… Ничего плохого в Миканоре не было. И все же Труханович готов был поклясться, не одномерный это тип. Есть у него и задние мысли, и вторая душа, и двойная жизнь. Но попробуй вот так, сразу, разберись! Может позже, со временем…

Пока он предавался таким размышлениям, Миканор говорил:

— Значит, контузия? Ну, ничего. И не такое бывает… Найдется чем заняться. Грамотные люди вот как нужны. Бумаги с собой? Хорошо! А что не помнишь, так оно, может, и лучше — о той жизни лучше не помнить… Шучу.

Шутки шутками, однако голос Миканора из задушевного стал почти официальным, начальственные нотки в нем зазвучали. Заметно было, что не просто так человек расспрашивает, а по делу, с намерением помочь.

— Знаешь, я бы хотел отдохнуть немного, — сказал Труханович. — Где можно? — спросил, поздно спохватившись, что не стоило бы ему пользоваться словечками из далекого своего будущего, такими, как «знаешь», да «кстати», да «в конце концов».

Не укрылось это и от Миканора.

— Ты будто по-польски говоришь… Смеюсь.

— Так на войне же человек побывал, — послышалось из угла; отец молился и в то же время все слышал. — Среди людей, научился.

— Это да. Досталось бедному… Ну, пойдем, покажу кое-что!

Труханович поднялся и, прихрамывая, пошел следом за Миканором. Они вышли в темные сени, соединяющие два дома. В сенях Миканор повернул направо, провел Трухановича через какие-то лабиринтоподобные закутки, потом на ощупь нашел задвижку, толкнул дверь и, отступив, пропустил его

в каморку. Помещение три на три метра. В стене недавно вырезали окошко, новая рама белеет досками и пахнет смолой. Деревянный пол. Полки вдоль стен. Кровать, сенник на ней, одеяло. Самодельный миниатюрный столик… Боже мой! Собственный стол, собственная кровать, дверь, которую можно закрыть за собой… Обо всем этом Труханович и мечтать не смел. Ожидал в лучшем случае лежака где-нибудь за печью, лишь бы хоть чуть-чуть одиночества, лишь бы от чужих глаз подальше… А здесь!

Миканор, похлопывая по раме, говорил озабоченно:

— Мхом еще законопатить надо, завтра доведу до толка…

— Спасибо… брат! — вырвалось у Трухановича.

— Лежи, лежи, отдыхай. Я позову, когда обед, — и вышел этот непонятный, странный человек.

Труханович придвинулся к окну. Оно было сделано низко, с таким расчетом, чтобы можно было смотреть в него даже лежа на кровати. Неожиданная, до слез милая картина вдруг открылась за окном. Скошенный луг, как большое футбольное поле, открывался взору. Там-сям стожки желтой отавы. Луг ровно посередине пересекала синяя речушка с поросшими лозой берегами — до нее было каких-нибудь сто шагов.

С трех сторон лужок зажат был лесом, с четвертой — поселением, расположенным на пригорке, поэтому казалось, что луг спускается вниз, к речке.

«Так это же просто… курорт! Это же Дом творчества!» — положив руку на сердце и этим его успокаивая, думал Труханович.

3

Каждый день Трухан на карманном календарике прокалывал иголкой — как делают в армии, или помечал крестиком — как в тюрьме, очередную дату.

Все меньше оставалось не проколотых и не перечеркнутых чисел. Все ближе было до взятого в кружок, красными чернилами обведенного «часа пик» — даты последнего обследования, которое должно было определить — ложиться ему на операцию, что для него давно стало синонимом смерти, или все же будет отсрочка, и получит он разрешение от судьбы еще некоторое время просуществовать на этом свете — до нового обследования.

И в первом, и во втором вариантах хорошего было мало.

«Если правда, — думал он, тупо глядя в календарик, — что каждому отмерян свой век, в котором сконцентрированы главные этапы, важнейшие события жизни, — то тогда и распределяться эти события должны как-то разумно, с толком, в зависимости от продолжительности века… У одного растягиваться на десятилетия, отпускаться небольшими порциями, бережно; у другого, как у меня, например, которому не дано такой роскоши, как десятилетия в запасе, — на меня эти события камнепадом должны лететь, спрессоваться должны до месяца, недели, часа, до этого вот момента!..»

Что за события, какого плана они должны быть, Трухан слабо представлял. Это могло быть новое важное знакомство, которое перевернет его судьбу, или внезапная женитьба на красивой невесте, или несказанное богатство, которое достанется ему в наследство от какого-нибудь доброго заокеанского родственника… А могла быть другая крайность: снова вызов в прокуратуру, и на этот раз арест, одиночная камера, и «суровый приговор подписываю первым»… Ну, что-то подобное. Но они должны быть, эти события, одно за другим на него должны сыпаться, набирая обороты, ускоряя темп, не давая времени опомниться, разобраться, передохнуть, подстелить соломки…

Да вот только ничего с ним не происходило. Все одинаковые были дни — с походами на занятия, с полуголодным существованием, с общажными сквозняками, и все ночи одинаковые — с выпуклыми цветными фантастическими снами, которые только успевай записывать!

Он думал, что, возможно, в этом не-начинании, в отсутствии событий тоже есть свой символ: не значит ли это, что он выживет? И станет таким как все, и получит право на свои законные, растянутые на шестьдесят, семьдесят, даже восемьдесят лет дозированные маленькие счастья, такие, как жена, дети, переезд из общежития в малосемейку, получки, «заначки»…

Он не смог бы ответить, откуда у него это взялось, но это — такое «счастье» — почему-то представлялось ему страшнее любых операций. Лучше быть больным, одиноким, кем угодно, любым выродком в семье, чем быть «как все», мещанской безликой массой, чем растворение в толпе, слияние с ней — небытие… Однажды на лекции, рисуя в тетради купола церквей, он вдруг поднял голову и уставился на преподавателя, — так, что тот прервался на полуслове и вынужден был быстренько осмотреть себя, от ботинок до галстука — может, что-то не так с одеждой?.. Но никакого преподавателя, хоть и таращился на него, Трухан, конечно, в эту минуту не видел. Просто мелькнула мысль — а что, если началось, вот этот каскад событий, а он, непривыкший, не готов, просто прозевал его, не заметил?

Разве не событие, не переломный момент в жизни — поход на Фрунзе, 5, знакомство с тем же Ведричем, после которого и он, Трухан, иначе стал смотреть на мир, многое замечать из того, на что раньше внимания не обращал? А к Нелли в гости поход? Да, и это тоже! А ощущение ее теплой, упругой ножки своей ногой, когда сидели они рядом, прижавшись, — разве не событие?

А его сны, которые при помощи бумаги и чернил дают такую удивительную, многим и многим недоступную возможность перенестись в другое время и прожить параллельно еще одну, дополнительную жизнь?

А в прокуратуру вызов, и этот неожиданный, повышенный к нему и к его записям интерес!?

Мало? А чего же он еще хотел? Значит, такой маленький, бедноватый запас положен на его счет в банке событий, иначе — такая его доля. Значит, нужно ценить и пользоваться тем, что есть. «Не в болезни и не в комплексах, не в бедности твои проблемы, — сказал ему как-то Ведрич, — а в том, что всего тебе мало. Все тебе хочется сразу, и одной купюрой». — «Ты же Терешкову то же самое говорил!» — «И Терешкову мало. Но ему мало, так он берет. Мало жены — берет любовницу, мало одного ребенка — заведет второго, мало ста граммов — выпьет двести… А ты и не берешь, и мучаешься».

Да — в глубине души Трухан вынужден был согласиться, что ему, действительно, нужен либо весь капитал, либо ничего; в результате оставалось только ничего. Не умеет он ценить «зарницы счастья», подарки судьбы, ничтожную жизненную мелочь, из которой, возможно, если к ней добавлять, и сложилось бы что-то большое, цельное…

Но с этого момента он станет другим. Он постарается меньше плакать о том, чего нет, и больше ценить то, что есть.

Поэтому когда на перемене, сразу после лекции, Нелли сама подошла к нему, он почти и не удивился.

— Ведрич говорил, тебя вызывали куда-то и хвалили… Я надеюсь, ты мне подаришь какое-нибудь свое произведение на день рождения? — так она сказала.

— А… когда?

— В эту субботу. Я тебя приглашаю.

Трухана давно уже никто не приглашал ни на какие дни рождения, ни в какие гости, ни даже на общажные мальчишники, пьянки-гулянки — во-первых, все равно не пьет, во-вторых, тяжело с ним в компаниях, обладает своеобразным даром наводить на людей тоску, делиться настроением плохим — так, как другие, тот же Терешков, умеют зажигать весельем и делиться настроением хорошим. Неужели начинается этот ускоренный ритм жизни? Неужели это первые камешки того камнепада, который вскоре должен на него обрушиться?

— А кто еще будет? — спросил он.

— **Свои** все: ты, Ведрич, Терешков… Сестра двоюродная.

Вот так. В группе тридцать человек, на потоке сто двадцать, — быстро подсчитал он, — а своим только его назвали… Что-то это да значило. А может, не ходить? — не забыл и такой вариант прокрутить. Люди будут гулять, веселиться, а он… Холодная комната, жесткая кровать, «Идиот» Достоевского, пустой чай… И понеслось, и понеслось!

Но вовремя остановился, не дал этому разрастись. Сколько можно! Да просто в нормальной квартире побыть, с тем же Ведричем, по которому соскучился уже, лишний раз увидеться. Все это было хорошо, конечно, — что его пригласили, и тому подобное. Вот только Трухан даже не ожидал, сколько «бытовых» хлопот это приглашение за собой потянет. Элементарно: костюм в химчистку сдать. Галстук новый купить. Парикмахерская — себя в порядок привести. Хорошо, еще деньги были, как будто знал, когда экономил. Потом, почему это она в конце сказала — подарков никаких не нужно? Что она имела в виду?

И опять вовремя остановился Трухан. Спокойней, не надо углубляться. Подарок! И кто только придумал его, этот кошмар — следить за лицом человека, которому даришь что-то!

Вечером в субботу пришел к нему Ведрич, чтобы захватить еще и Терешкова и идти всем вместе. Посмотрел на Трухана и остолбенел.

Подстриженный, выбритый, наодеколоненный, в выглаженном чистеньком костюме с новым галстуком, неумелым узлом завязанным, Трухан походил на деревенского интеллигента-молодожена или, по крайней мере, на шафера — не хватало только цветка в петлице да вышитого рушника через грудь… От неловкости он краснел пятнами и не знал, куда руки девать.

— Ну вот, — сказал Ведрич, — хоть на человека стал похож. А то я уже думал, ты полный квазиморда. («Квазимодо», — механически поправил Трухан.) Можем же, если захотим! — И не был бы он Ведричем, если б не заметил, наморщив нос: — А чего это здесь так покойником пахнет? — обычным этим вопросом спуская Трухана с небес на грешную землю. Потом еще не раз будет вспоминать он эту «веревку в доме повешенного»…

Чтобы прервать разговор, Трухан в свою очередь спросил, вызывали ли и Ведрича в прокуратуру и вернули ли ему стихи.

— Кстати, почему в прокуратуру?

— Их разве поймешь? — ответил Ведрич. И пока Трухан одевался, поведал следующее: — Я им про ВКЛ, про Сапегу, а они мне: «Как мы будем трактора выпускать, если у нас руды нет?» Я им про БНР, про Ластовского, про Слуцкое восстание — они мне: «Кто у нас будет покупать трактора, если мы выйдем из Союза?» В конце концов у меня терпение лопнуло: «Какого… вы, — говорю, — прицепились ко мне с вашими тракторами?! Откуда я знаю?! Пусть у вас об этом головы болят!»

4

Терешков ждал их на лестничной площадке своего этажа.

— Слушай, — бросился он к Ведричу, — ко мне, это, ну, жена с ребенком приехали… Придумай что-нибудь!

— Дай я хоть посмотрю на нее, — сказал Ведрич. В словах его Трухану послышался не столько интерес, сколько знакомый уже азарт — момент не упустить; это же такой простор для импровизации, такая возможность лишний раз «постебаться» над человеком. И очень запросто ляпнет сейчас: «Слышишь, отпусти своего мужа на день рождения к любовнице!» — это в его стиле…

Трухан уже видел ту жену. Зашуганная, серенькая крестьяночка (таких почему-то чаще всего и берут за себя прохиндеи типа Терешкова), с добрыми, преданными глазами, с маленькими, но сильными руками. Вообще непонятно было, зачем понадобилось Терешкову что-то придумывать. Да иди себе куда хочешь и к кому хочешь — такая жена и слова не скажет, такая даже ревностью боится обидеть. Похвастаться он перед ними захотел, или что, показать, что и у меня вот как у всех — побаиваюсь, отпрашиваюсь…

К удивлению Трухана, Ведрич, поцеловав девушке руку, культурно попросил:

— Не отпустите его с нами? Ненадолго. На важную литературную встречу. Обещаем вернуть целым и невредимым.

Покраснев, не привыкшая к такому обхождению, она, бедная, только повторяла растерянно:

— Да вы проходите!.. Будьте как дома... — И уже совсем некстати: — Может, поедите, чтоб голодные там не были? У нас все свое, деревенское…

Тут из-за шкафа выглянул мальчуган лет двух — маленькая копия маленького Терешкова.

— Ой, а это еще кто?! А что это за белорусик? А как его зовут?

Счастливая мать назвала имя. Пока Терешков собирался, а Ведрич с малышом сюсюкался, Трухан все наблюдал за ней, и казалось ему, что не только гордость за своего ребенка светится в ее глазах, а еще и надежда, или даже только тень надежды, что и ее возьмет Терешков с собой. Сына нашли бы с кем оставить, разве мало тут знакомых у мужа?.. А самой пройтись в компании с таким деликатным, приятным человеком, как Ведрич, по вечерней столице… Да она и днем эту столицу толком ни разу не видела, не то что вечером… Потом посидеть в светлом и, наверное, очень красивом зале, посмотреть и послушать настоящих, живых писателей… Как бы вспоминалось все это потом в глухой своей деревне! Сколько было бы про этот вечер рассказов: отцу с матерью, свекрови, подругам! Как бы она после этого еще больше своего мужа полюбила!..

Наверное, и Ведрич что-то подобное чувствовал. Потому что, как только вышли они на улицу, произнес без иронии:

— Ну ты и отлёт, Терешков…

— Не учи меня жить, лучше помоги материально, — ответил Терешков популярной в те годы поговоркой. — Кстати! Я же без подарка. Не мог же я при жене…

Ведрич пошарил в карманах.

— На. И помни мою доброту. Хоть цветок какой купи. А то стыдно за тебя будет… На и тебе, — Трухану.

— Да что ты все время со своими деньгами!.. А отдавать чем?

— Отдавака нашелся. Из гонорара когда-нибудь отдашь.

— Не надо.

Нелли знала, кого приглашать. Не минских богатых подружек-однокурсниц — чем их удивишь? Еще в прошлый раз, когда были у нее в гостях, не могла она не заметить, как мало нужно ее общажным «беспризорникам», насколько они непритязательные. Поэтому когда наши герои, немного опоздав, ввалились в квартиру, все было готово к их приему. В большой комнате накрыт стол. Пол — голый, без всяких ковров, и это было особенно кстати — не нужно разуваться, чтобы потом топать в «студенческих» носках или чужих тапках по чужому дому. Ковры, «дорожки», паласы были снесены в комнату, где жила сучка бультерьер со своим сыном. В эту «собачью» комнату, как в тайную каморку Синей Бороды, гости не то что не осмеливались заглядывать, а еще и ускоряли шаг возле нее, чтобы быстрее проскочить.

Нелли повела друзей знакомиться с родителями и гостями. Тем более, все находились пока в одном месте, на кухне.

Из «чужих» были только тетка Нелли с дочуркой лет трех и еще один какой-то дальний родственник по имени Илья Ильич. Он играл с отцом Нелли, Альбертом Казимировичем, в шахматы. На столике вместо часов стоял возле каждого фужер с вином, рядом были пепельница и сигареты. Тетка — типичная героиня Короткевича, с такой благородной внешностью, в черном с блестками платье, сидела, закинув ногу за ногу, на диване и встречала новых людей любопытной улыбкой. Беленькая, как пуделек завитая, девчушка стояла рядом, прислонившись к маминой ноге, и смотрела на чужих дядей блестящими от нетерпения глазками.

Ведрич как только увидел ее, так, никого больше не замечая, присел на корточки, протянул руки-оглобли:

— Ой, а это кто? А что это за котик? Ну, иди к дяде.

Малышка сразу же отлепилась от маминой ноги и охотно побежала к нему.

— Как тебя зовут?

— Есения, — ответила за нее мать с некоторой настороженностью. Но, увидев, как нежно, умело поднял Ведрич ее дочь на руки, как доверчиво прижимается к нему сама малышка, успокоилась.

Ведрич с девочкой на руках пошли бродить по квартире, а на кухне появилась, на ходу развязывая фартук, еще одна женщина.

— Знакомьтесь — моя мама, — сказала Нелли. Если бы не сказала она этого, можно было подумать, что это ее старшая сестра зашла, до того похожи они были: и лицом, и короткими мальчишескими прическами, и манерами — это когда мать, знакомясь: «Таиса Ивановна», — протянула ладонь лодочкой, так, как Нелли любит делать.

Поднялись из-за столика, своей очереди ожидая, Альберт Казимирович и Илья Ильич.

— Илья… можно без отчества.

— Альберт Казимирович.

— Альберт… Алесь, я хотел сказать, — запутался с собственным именем Терешков. Как Ведрича к детям, так его к шахматам будто магнитом потянуло. То потирая нос, то подергивая себя за ухо, он всматривался в позицию на доске.

— Тоже Алесь, — сказал Трухан.

Услышав это, Илья Ильич вдруг так разволновался, что аж запыхтел.

— А почему… по-белорусски?! Или вы шутите?

— А то ты не знал, что Нелли и друзья ее белорусы? — сказал Альберт Казимирович. — Правильно делаете, парни. Я хоть сам и поляк наполовину, но уважаю, поддерживаю!

— Поляк наполовину… Поляк наполовину, — бормотал Терешков, который уже машинально уселся на место Ильи, и фигуры поправил, и ход сделал. — А это что? — показал он на пробку от вина на доске.

Вместо коня, — Альберт Казимирович тоже присел и уставился на доску, закрыл руками уши. — Коня Соня погрызла… А если мы так?

— Так?! Надо подумать… Гм… Собака погрызла коня…

Илья Ильич даже не заметил, что место его заняли так бесцеремонно и партию за него собираются доигрывать.

— Нет, вы объясните! — прицепился он к Трухану. Тот пожал плечами и спросил у хозяйки:

— Можно закурить?

— Конечно, курите. Так, женщины, — распорядилась она, — не все же готово еще, — и женщины ушли из кухни, а Нелли, выходя, оглянулась и подмигнула Трухану — держись, мол. Илья тем временем хватал его за рукав и не давал прикурить.

— Я понимаю — Нелли иногда может словечко ввернуть… Но она же стихи пишет! А вы? У вас, я смотрю, серьезно это! Так объясните мне!

— Не знаю я, — Трухан в самом деле растерялся, не зная, как вести себя в подобных идиотских ситуациях, когда начинаются все эти дебаты типа: почему белорус в Белоруссии говорит по-белорусски? Вот попытайся ответить на такое. Да еще этот Илья явно был из тех навязчивых прилипал, которым если уж чего взбредет в голову, не слезет с тебя. И помочь было некому.

— На так — шах, — говорил Терешков, — а если так — ферзь под боем…

— Объясните!..

Тут вернулись Ведрич с малышкой. Ведрич поднес девочку к Трухану:

— Посмотри, Ясечка, какой дядя! А вредный-вредный! А хитрый — не смотри, что такой мямля. А сейчас выпьет — увидишь, что будет!

Ребенок исподлобья поглядывал на Трухана, тот прятал руку с сигаретой за спину, а другой разгонял дым.

— Ничего не понял, — совсем обалдевший Илья Ильич снял очки, вытащил из-под ремня полу белой рубашки и протер линзы. Потом оглянулся растерянно. — Вы что… все?!

— Беги отсюда, деточка, надымили здесь… Беги к маме, — Ведрич провел малышку до двери и вернулся. Ему не нужно было объяснять, о чем спор, он на таких дебатах собаку съел (как та Соня шахматного коня). — Дядя, кто ты по профессии?

— Я? Юрист. А что?

— А то, что мы же не лезем в твою юриспруденцию. И ты к нам не лезь.

Да не на того наехал — на Ильича хамство не действовало.

— Нет, вы просто объясните!.. Зачем вам это?!

— Хорошо, для самых тупых. Объясняю на примере. Сколько ты языков знаешь?

— Я? В смысле языков? Мне пока одного русского хватает…

— А я — два! Трухан — три, — врал, не моргнув, Ведрич. — Терешков вот — четыре. Есть еще вопросы?

Да зачем его знать?! Разговаривай правильно по-русски — и вся мова! Было бы различие большое, а то в одной-единственной букве разница! Поехали — а по-вашему — пАехали!

— Парень, успокойся! — сам Ведрич начинал заводиться. — Пусть у нас язык близкий к русскому, но он как минимум есть. А что швейцарцам, австрийцам делать? Бельгийцам? У которых родного языка совсем нет?

— Э-э, нет! Это другая опера…

В ушах у Трухана начало шуметь, смешиваться, накладываться одно на другое…

— Дядя, извини за выражение, но…

— А на так?

— Так конь летит…

— Мова — это тебе не язык!..

— …Они вам бросят эту кость! Хорошо, согласен: пусть мова — первая ступенька на лестнице перестройки…

— Сюда…

— А мы — сюда…

— Не знаю, какой из тебя юрист, но несешь ты чушь…

— Ну, зачем вы так сразу…

Илья то надевал, то снимал очки, размахивал ими у Ведрича перед носом — весь в экстазе спора; на нижней губе у него выступила белая пена, вместе со словами изо рта летели брызги… Ведрич демонстративно прикрывался ладонью и даже прижмуривал глаза, будто смотрел на лампу без абажура. Илья ничего не замечал.

— Вы добьетесь этого… Но это тот же фашизм! Получается, Беларусь превыше всего?

— …А так?

—…Так — пешка проходит…

— Дядя, мы такое семьдесят лет слушали, и хватит; теперь вы будете слушать нас…

— И еще слоником!

—…Это же сознательное обеднение! Неужели два великих языка, русский и английский…

— Да в том-то и дело, что родной язык только помогает усваивать чужие…

— Не знаю, не думаю… Мне, например, не помог…

— Тебе поможет только клиника…

—…Я же не оскорбляю вас, не **кривжу,** то есть…

Трухан, осторожно открыв дверь, вышел в туалет.

Возле «собачьей» комнаты остановился, прислушался. Ответом ему было сначала бурчание, а потом и какое-то шипение, будто коты или гадюки там жили, а не сучка со щенком.

Когда он вернулся на кухню, Терешков с Альбертом Казимировичем начали новую партию. Терешков попивал из бокала юриста вино. А юрист, как клещ, присосался к Ведричу.

Теперь уже и Трухану было что сказать… Вот только, к сожалению, никто у него ничего не спрашивал. А сказал бы он так: ну зачем такая твердолобая принципиальность? Зачем нам этот юрист? Перед кем мы мечем бисер, на что тратим энергию, почему сами себя не бережем? Зачем добровольно взвалили на себя эту неблагодарную миссию — всех подряд, повсюду, без разбору агитировать за белорусскость? К белорусскому языку нужно еще право допуска иметь, нужно заслужить честь быть к нему приобщенным.

Вот что сказал бы Трухан, если бы кого-то интересовали его мысли.

—…Ладно! Назовите мне хотя бы десяток бестселлеров на белорусском языке типа «Трех мушкетеров»… Ну хорошо, Короткевич, и то с натяжкой, ну «Полесские робинзоны»… А кроме?!

— Стоп — я перехожу…

— А тогда — вилка!

— …Чего ты пристал ко мне?! Задрали вы уже! То в прокуратуре с тракторами, то какой-то **самасшедший** с «Полесскими робинзонами»…

— За стол, пожалуйста! — не пригласила, а приказала, очень вовремя заходя на кухню, Нелли. Она успела переодеться. На ней было скромное темно-вишневое с белыми кружевами платье, которое делало ее похожей на молоденькую разбитную монашку, сбежавшую в монастырь по дурости, от неразделенной детской любви, а сейчас раскаивающуюся.

5

Только наполнили рюмки и бокалы, только Альберт Казимирович поднялся, чтобы сказать тост, — не успел рта раскрыть, как прогремел выстрел, врезалась в потолок пробка, тройным рикошетом отбилась от стен, запрыгала по полу… Ведрич нашел самое время открывать вторую бутылку шампанского! Тетка Нелли даже ребенка к себе прижала, а потом, когда испуг прошел, рассмеялась с облегчением. И все вместе с ней. Ну, было в этом Ведриче что-то такое, что обижаться на него невозможно было.

— Правильно, Толя, — сказал Альберт Казимирович. — И без слов видно, как все мы здесь мою единственную доченьку любим. И за нее пьем! — Он поцеловался с Нелли и сел, слегка смущенный.

— Ты тоже будешь пить? — спросил Ведрич у Трухана.

— Буду…

— Смотри. Если что, я тебя откачивать не собираюсь. Да вы же не особо наедайтесь, — громко предупредил своих, — горячее еще будет!

Выпили, закусили, попритерлись друг к другу, как оно всегда за столом бывает… Полным ходом пошло отмечание. Стук вилок, ножей, звон рюмок, телевизор, который приходилось перекрикивать… Хорошо, вскоре Нелли выключила его. На столе всего хватало. Ведрич налегал на отбивную с картошкой и зеленым горошком. Именинница жевала бутерброд с маслом и красной икрой. Терешков отдавал предпочтение соленым грибам и маринованным помидорчикам… Как только на нем останавливался взгляд, Трухан вспоминал его жену с сыном: что они сейчас делают в общежитии? Илья Ильич ковырялся вилкой в гуляше, вообще ел и пил мало и неохотно — видимо, в мыслях все еще находился там, на кухне, на незаконченной языковедческой дискуссии…

Ведрич, как бы компенсируя сорванный тост, артистично и не ломаясь прочитал дежурное свое для таких случаев стихотворение, то самое, где:

Поэт сказал: пьем за Отчизну!
И каждый выпил — за себя…

Всем так понравилось! Притихший юрист произнес:

— В поэзии — да, возможно… Какие-то скрытые резервы есть…

— А вы, — обратился подобревший от выпивки и закуски Альберт Казимирович к Трухану, — тоже пишете?

— Пишет, еще как, — ответил за него Ведрич. — Сны записывает. Почитай что-нибудь, повесели нас! Ладно, ладно, не трогаю… Он у нас стеснительный. Еще в обморок бухнется. Ну, хоть пару слов скажи — ты же в гостях!

Замолчали все. Ужасно покраснев, Трухан поднялся.

— Нелли, — сказал он. — Когда я захожу в аудиторию… Нет, лучше не так. Почему-то всегда знаешь, что ты есть, присутствуешь в аудитории, даже когда не видишь тебя, — как солнце, которое мы видим, даже не глядя на него. Такой же красивой, светлой и нужной людям, как солнце, желаю тебе всегда оставаться. Все.

И его слова, как и стихотворение Ведрича, понравились этим хорошим, с подобревшими от алкоголя душами людям.

Трухану даже похлопали.

— Эти молодые прозаики научились говорить, как старые деды! — прокомментировал Ведрич. — Трухан у нас враг всяких условностей, говорит только то, что думает, и как правило — чужими цитатами…

А Нелли сказала:

— Спасибо, Алесь, — впервые назвав его по имени.

Наступило самое время размяться, покурить, а может, попеть или потанцевать…

— Да курите за столом! — предложила мать Нелли. — Потолки высокие, не пожелтеют. Мой не любит, но я и сама здесь время от времени с сигареткой…

Трухан вдруг заметил, что Нелли подает ему знак — чтобы вышел с ней. Он еще и оглянулся: может, кто-то другой стоит за спиной и тому адресовано это приглашение? Потом выбрался из-за стола и пошел с Нелли на кухню. По дороге боковым зрением успел заметить, как Таиса Ивановна проводила их обоих недовольным взглядом, даже сделала движение, как бы собираясь встать и сама пойти за ними. Но вмешался Терешков:

— Такую тещу, так и жена не нужна, — пошутил он. И она заулыбалась и вынуждена была остаться, и ответить на этот фривольный, пошловатый комплимент.

На кухне Нелли неумело вытянула из пачки сигарету. Трухан поднес спичку. Ростом Нелли была ему по плечо, поэтому он наклонился, а девушка, наоборот, вытянулась, прикуривая, потянулась к нему — близко, почти на расстояние поцелуя… Трухан успел вдохнуть запах ее волос. Потом она выпустила изо рта сигаретный дым, перебивший другие запахи.

Свое дешевое курево Трухан доставать не осмелился, а она свое дорогое не предлагала.

— Странно. Мы уже почти два года в одной группе, — тихо и потому, ему показалось, как-то ласково сказала она, — а вот так, один на один — впервые.

— Ты же больше с Терешковым, — не подумав, сказал он. Просто курить очень хотелось.

— Действительно, — произнесла она. Вся ласковость исчезла без следа.

Ну, и что делать? О чем говорить? Как того новичка-велосипедиста тянет все время в канаву, так неопытного в любовных делах Трухана упорно стягивало на одну тему, именно на ту, которая явно была неприятна Нелли: о Терешкове. Ему все хотелось сказать, что сейчас его, Терешкова, ждут в общежитии жена с ребенком. Подловато, конечно, было бы.

Нелли молчала. И Трухан немного помолчал. А потом — все же не выдержал:

— А в общежитии Терешкова жена ждет… С маленьким сыном, — сказал он, во второй раз наступая на знакомые грабли.

— Ни он, ни его жена меня абсолютно не интересуют! — еще более сухо произнесла она.

— Тогда кто тебя интересует?

— Может, даже и ты.

Она смотрела не на него, а в темное окно. В руке ее совсем не грациозно, зажатая между указательным и большим пальцами, дымилась сигарета. Трухан тоже за компанию посмотрел в окно. И увидел, как в зеркале: девушка сидит, он стоит, по-медвежьи над ней склонившись, опираясь кулаками на стол… Но в целом — ничего, симпатичная картинка. Такое чувство, будто не на кухне они сейчас, а в купе поезда, смотрят вместе в темное зеркало окна, и ехать им еще долго-долго, обо всем хватит времени переговорить…

— Перестань, — неуверенно сказал он, почему-то не к живой Нелли обращаясь, а к ее отражению в окне. — Я же все понимаю, знаю свое место.

— Откуда ты его знаешь? Кто тебе на него указал? Или тебе продали на него билет? — у нее, похоже, тоже возникла ассоциация с железной дорогой, поездом, купе.

— Ты же знаешь, о чем я.

— Ничего не знаю. Разве ты мне рассказывал когда-нибудь? Или хотя бы пытался? Ты же какими-то своими, нам, обычным, недоступными проблемами занят…

— Да и ты как будто не особо интересовалась. Расскажу как-нибудь… Можно мне сигарету? — не выдержал он.

— Пожалуйста, — она подвинула к нему пачку. — Только зачем ждать?

— В смысле?

— Чтобы поговорить нам нормально. Пригласи меня в кино, в кафе, в парк погулять…

Какая сладко-липкая паутина слов, как легко в ней запутаться!.. У него снова зашумело в голове.

— Крепкая сигарета, — сказал он, — а я думал, так — дамская…

— Сигарета как сигарета. Так пригласишь? Или все вы одинаковые — только на словах молодцы?

С вызовом, будто дразня его, говорила. Но он был благодарен ей и согласен даже на такое: пусть розыгрыш, пусть просто посмеется она над ним. Лишь бы еще немножко продлить этот момент — они вдвоем, тихие голоса, их отражения в оконном стекле…

— У меня есть другой вариант. Поехали ко мне в деревню? На следующие выходные. Поезд целую ночь идет. Наговоримся… День там побудем, а вечером обратно. От тебя ничего не требуется, только ты сама. Ну, как? — Наконец удалось ему перехватить инициативу. В его словах был вызов.

— А что, — сказала она после паузы. — Я согласна.

(«Выходи за меня замуж». — «Я согласна», — так же слетит когда-нибудь с этих губ. Грудки платье натягивают. Глазки, щечки, эх ты, Терешков!..)

— Интересно даже. Дорогу я люблю. Как и деревню... А кто там у тебя? Я думала, ты круглый сирота.

— Дед с бабкой. И еще... это немного другая деревня, — сказал он. — Не такая, как ты, наверное, представляешь. Не дачный поселок. Наша — темная, чернобыльская, спившаяся, полуразрушенная, кроме природы, ничем больше не интересная... В избе — сажа, грязь, пол немытый. Уборная, прости, на улице.

— Испугал. На картошке я не была, что ли? И дождь, и холод... Особенно нам, девчонкам: ни помыться, ни, пардон, подмыться... Почти два месяца так. И ничего страшного. А у тебя всего один день. Кстати, что мы там делать будем?

— Да есть одно дело…

Трухану нужна была эта поездка еще и вот для чего: наконец убедиться, что он действительно был когда-то Трухановичем и жил в том времени. Нужно было проверить знак, который оставил он когда-то, будучи Трухановичем: а именно — в снарядной гильзе он спрятал часть своих записей. Теперь он хотел отыскать гильзу, и тогда все стало бы ясно.

Он собрался вторую сигарету от первой прикуривать. Но Нелли отобрала ее и сломала в пепельнице.

— Пойдем, — сказала заговорщицки, показывая этим, что уже возникло что-то между ними, что появились уже у них секреты, связывающие их, кото-

рые другим знать совсем не обязательно. — А то вдвоем столько времени… Подумают, чем мы тут занимаемся?

Дальше все было как в тумане.

Трухан ел что-то, пил что-то. И звенело в голове, и шумело в ушах — но это были совсем не симптомы болезни… У него о чем-то спрашивали: Ведрич с одной стороны, Терешков — с другой, Илья Ильич — через стол… Он что-то отвечал. А на Нелли и смотреть боялся. Ему казалось, что она сейчас начнет всех по очереди вызывать на кухню. Ведрича, Терешкова, даже пожилого юриста — и всем им в симпатиях признаваться. Но она ни разу больше не вышла.

Позже — в больнице, а потом в тюрьме часто вспоминался ему этот вечер. Многое вспоминалось: вкус еды, запахи, шахматы, лица гостей, похожая на монашку Нелли, «собачья» комната… Вспоминался шум в ушах и розовый туман перед глазами… Словом, много чего.

Но название книги, которую подарил тогда Нелли, он не мог вспомнить, хоть убей. Ни название, ни автора, ни обложку. Провал в памяти. Карнеги? Дюма? Морис Дрюон?

Он опомнился, стоя в прихожей. Знакомый уже щеночек, подросший слегка, как-то выбрался из своей комнаты и теперь теребил Трухана за шнурок ботинка. Альберт Казимирович помогал Трухану надеть куртку. Терешков и Ведрич уже оделись и ждали его. Изрядно пьяный Илья Ильич цеплялся к Ведричу, тот отпихивал его, и юриста носило от стены к стене по всей прихожей. Наконец распрощались, поблагодарили, вышли на улицу.

— Загляну еще в одну блат-хату, здесь недалеко, — сказал Ведрич (вот кому, а не Трухану, всегда всего было мало!).

Терешков спешил на метро, чтобы ехать в общежитие к жене и сыну.

А одинокий Трухан решил пешочком пройтись по вечернему проспекту.

Окончание следует.

Перевод с белорусского автора и Алексея Череты.



ВЛАДИМИР КАРИЗНА

Я молюсь на высокие зори

Одиссея

Там, где вчера еще метели
Крест-накрест Родину мели,
Сегодня жаворонков трели
Встречают новый день земли.

Я от их музыки светлею!
И, взяв травинку, как весло,
Я начинаю одиссею
Всем неурядицам назло.

Каждому свое

Я из мест,
Где не каждое слово приветят,
Или плошечку с медом;
Даже крик,
Если он без отчаянья…
Но самый скупой
И ленивый потомок
Не лучшего рода
Всегда здесь распахивал двери
Перед
Гармошкой
Умелой.

Святая

Нелегко нам,
                    войной воспитанным,
Мирный давался шаг.
Болели коленки сбитые,
Но расцветала душа.

Досталось нам ада так много,
Нам выпало столько тревог,
Что мы и не верили в Бога,
Который совсем не помог.

А память иначе считает,
Опять возвращая тот час:
Мама… мама — святая,
Она защитила нас!

Последняя встреча с Максимом Танком

> Працягваю блукаць
> Па сваіх снах,
> Па замініраваных сцежках
> Успамінаў.
>
> *Максім Танк*

Я шел в больничную палату,
А заявился в келью,
Казавшуюся тесной для таланта,
Что мир умел объять душою чуткой,
Людей своих по свету
Собирая.

Сперва меня он
Будто не заметил,
Но больно ранил вид его усталый.
По снам своим, —
Подумал я, —
Плутает,
По минным тропам
Памяти военной.

Блокнот,
Как поле
У отцовской хаты
Зерном прилежно засевает.

Да увидал меня —
Заволновался:
— Ну вот, последний свой проход
Кончаю. —
Тут начал в воздухе
Рукой чертить круги он. —
— Все лучшие друзья уже в могиле,
Так, знать, пора
И мне уж закругляться.

— Зачем же вы
Стихами
Рвете душу?
Вы отдохните,
Полно тратить силы.
— Я не могу…
Когда стихи слагаю,
Не ощущаю немощи постылой…

Слезу не вытер я —
Слетела в голос,
Я заслонил глаза свои
Руками —
Почудилось,
Что показались Колас
И Богданович бледный
С васильками…

Истина

Река не мелеет веками —
Петляет,
в извивах
журча.
Воды в ней всегда
С берегами,
Ведь речка бежит по ключам

И не пересохнет вовеки.
Но чтобы расправиться с ней,
Довольно реку в ее беге
Спрямить,
Оторвать от ключей…

Веками

Белорусский
Мой тихий
Народ,
Ты без слов
Тянешь лямку
Веками.
Только двинется лемех
Вперед,
Как судьбою
Наскочишь на камень.
Дед и прадед
За пот,
Не за страх,
Соловьиный свой день добывали, —
Революций
Шальные ветра
Налетали,
Его разрывали…
А надежда
Веками одна —
Что иные
Придут времена.

Альтернативисты

Тревожусь я:
песня,
Что прежде была нам
как воздух и недра, —
Становится «ретро».

Так, может, однажды,
Зевнув спозаранку,
Отбросят как «ретро»
И Богдановича с Танком?

А дальше, посмотришь,
В никчемную старость
Запишут и Беловежье,
И Нарочь…

Шумят, не стихают
Под роки и твисты
На поле Отчизны
Альтернативисты.

В больнице

Хоть сам беги в туман,
А то — тебе конец:
У деда нос-буян
Храпит, как жеребец.

А днем блатнюга-хват
Прицепится как раз,
Позоря невпопад
И Родину, и нас…

Мне б убежать туда,
Где росы, а не ртуть,
Да только в те года
Давно заказан путь.

Слеза

Когда,
Сердце болью связав,
Мама навеки со мной
Распрощалась, —
Налилась и упала
Такая тяжкая слеза —
Чуть земля не сорвалась.

* * *

Не завидуй вороне,
Что каркает,
А змее, —
что всю жизнь
извивается,
Слизняку, —
что от света скрывается,
Да и золото —
Толку, что яркое...
Коль оно
Не по совести нажито —
Все рассыплется
Пылью бумажною…

Сон

Привиделась мама
С дороги
Далекого
Страшного Стикса:
Очи —
две ночи
тревоги,
И сердце
Как бы и не стихло.

Слеза
За слезою
Находит…
— Сыночек,
душа все гадает:
Что ж это за век
На подходе,
Что этак
земельку
кидает?

О моде

Некогда нас возвышали
Песня душевная, подвиг
Геройский, и девичья
Строгая чистота.
Потому-то и враг никакой нас
Войной не скрутил,
Не унизил.
А нынче так модно
Вдруг сделалось вытирать

Ноги о мамину песню,
О землицу,
Чистейшую в мире,
О славу отцовскую, —
И это называется
Демократией.

Осенний дождь

Дождь, как будто пьяный,
Шлепает по окнам,
По пустым карманам —
Аж душа намокла.

Ты такая одна

Песня

Мать родная Земля,
Дорогая, навеки святая,
Твой осенний листок,
Как весны ручеек,
Тихой ласкою в сердце светает.

Ты живою водой
Из ладоней даешь причаститься,
Греешь лаской своей
Неразумных детей,
От кого тебе ночкой не спится.

Дорогая земля, я молюсь на высокие зори,
Что светили тебе и светить будут, знаю, вовек.
Напою я любовью твоей и леса, и озера
И рассветом разглажу морщины загубленных рек.

Ты такая одна,
Ты на счастье подарена людям,
Ни тебя позабыть,
Ни тебя разлюбить —
Ведь такой уже больше не будет.

Без обиды делись
Всей печалью и радостью всею
И не дай нам пожать
Бури злой урожай:
Пусть пожнет его тот, кто посеял.

Перевод с белорусского Андрея Тявловского.

РАИСА БОРОВИКОВА

Два рассказа

Кофе для домового

У нее был день рождения. Пасмурный, холодный день. Поздравили на работе, в маленькой сберегательной кассе, где она третий год работает кассиршей, — вот они, пять красных гвоздик, стоят на столике, а она, тридцатипятилетняя, лежит на диване с близко приставленным телефоном, — может, кто позвонит?! А вдруг? Вдруг… звонок! «Это я, не узнаешь?.. А я помню. Сегодня твой день, хочу тебя видеть…» Кто это? — радостно выдохнет она и станет вспоминать… Хотя, что вспоминать-то?! С последним, можно сказать, случайным знакомым она распрощалась два месяца назад. Гм-м, распрощалась! Просто выгнала и все. Лицо у него было нагловатое, не иначе, присматривался к квартире. Видно, было удобно заглянуть с бутылочкой, чтобы не на улице, не в скверике… А у нее что, закусочная?!

Укрылась пледом. «У меня не закусочная. Вот, лежу себе тихонько, никто не морочит голову, а можно и подняться. Одно, почему-то очень себя жалко, и особенно в праздничные дни». Она прикусила нижнюю губу. Дурочка, да разве тебе делать нечего! Где пылесос? Нужно подняться, быстро пройтись им по ковру, чтобы ни пылинки, потом вытереть пыль с мебели, то-другое помыть… Наконец, взяться за ужин и — спать…

Натянула на плечи плед, глаза закрывались. «Посуда! На кухне стоят грязные чашки с недопитым кофе, непомытая кофеварка… Но все завтра, завтра…»

Она стояла посреди комнаты. Ага-а, пылесос… вон там, в углу. Только вместо того, чтобы подойти к пылесосу, приблизилась к окну. Знакомая привокзальная площадь. Три глазка светофора — зеленый, желтый, красный… Мать, когда разменивали их старую четырехкомнатную квартиру, почему-то была против этого места. Даже пыталась отговорить ее — дескать, шумно, покоя не будет. А когда-то замуж выйдешь, ребенка родишь, не уснет малыш. Хотелось рассмеяться… Мать и сейчас утром, когда позвонила, чтобы поздравить ее, после обычных в таких случаях слов поучительно сказала: «Если есть кто-то, так подружек не приглашай, подружки тут не советчицы… Пока крепко все не завяжется, подружек близко не подпускай. Отобьют! Разлучат!»

Странные рассуждения. Что завяжется? Матери все время кажется, что если бы не подружки, она не засиделась бы в девках в своей отдельной квартире. Чтобы этого не случилось, ради нее, собственно говоря, и делался размен.

— Уже не тот возраст, чтобы жить при родителях, — сказала тогда старшая сестра, — она знакомого пригласит, а вы в щелочку подглядывать будете! Современные мужчины в ту квартиру, где старые родители, не пойдут. Женщине в тридцать пять нужно жить одной, отдельно.

И мать согласилась с сестрой. Гм-м, согласилась… Зеленый… желтый… красный… мигают глазки светофора. Вот что… Она отвернулась от окна.

Ужин? В холодильнике пельмени магазиннные, кусок сыра. Да что придумывать, когда на вокзале есть буфет! Можно выпить кефира, съесть какой-нибудь бутерброд, и не нужно потом мыть никакой посуды, только одеться, пройтись по свежему воздуху… Набросила пальто на домашний халатик — в буфете же не раздеваться! — скорее по привычке слегка подвела черным карандашом глаза, подкрасила ресницы. Все! Из подъезда вышла не спеша — дышать воздухом так дышать, — и вскоре слилась с людским потоком, нескончаемым и суетливым (люди же тут, на привокзальной площади, в основном приезжие), а ей можно и не суетиться, ей спешить некуда.

В вокзальном буфете она стояла в очереди за высоким мужчиной в кожаной кепке, натянутой почти на самые глаза, и обратила на это внимание только потому, что он молча пропустил ее вперед.

— Вы что? — не поняла.

— Хм-м… ничего! Я не спешу.

— Я тоже… — и обратилась к буфетчице: — Кефир, один стакан, и два бутерброда с сыром.

— Кофе с молоком не берите, — послышалось сзади. — Лучше минералку. Кофе холодный.

Говорил мужчина в кожаной кепке, она это почувствовала не оглядываясь.

— Что дальше? Два бутерброда с сыром? — нетерпеливо переспросила продавщица.

— Кофе с молоком и еще пирожное. Можно эклер.

Подала продавщице деньги, с тарелкой и стаканом кефира пошла к свободному столику. Кофе! Его не взяла!

— Ваша сдача и кофе, — мужчина в кепке поставил на столик стакан с кофе, положил рядом сдачу, пошел к стойке. Через минуту вернулся со стаканом минеральной воды.

— Вы не против? Напрасно отказались от минералки…

Потянуло табаком. Она при случае и сама могла взять сигарету, но тут был какой-то особенно неприятный резкий запах. Молча отхлебнула из стакана кефир.

— Значит, не против?!

Ей хотелось возмутиться: нельзя же быть таким навязчивым! Подняла взгляд. Мужчина широко улыбался. Зубы были прокуренные или просто имели желтоватый оттенок от природы.

— А вам идет!

— Что идет?

Она не прятала раздражения. Взять и перейти за другой столик? Столики все заняты. Опять подняла взгляд на мужчину. Что ему нужно от нее?

— Идет пятнышко от кефира вот здесь… Да не нервничайте вы! Просто не люблю вокзалов. Был неудачный день…

— Так решили прицепиться ко мне? Будто от этого у вас появится любовь к вокзалам?

Она отставила стакан с недопитым кефиром, быстро проглотила сухой бутерброд, запивая кофе с молоком, который действительно был холодный и невкусный. Эклер завернула в салфетку.

— Спешите? Пойдете на воздух или в зал ожидания?

— Куда-куда? — Ей хотелось крикнуть: какой зал ожидания, к чему тут зал, если напротив ее дом, квартира! Но сдержала себя, повернулась и пошла. «Ненормальный! Лишь бы прицепиться!»

Он догнал ее у перехода через привокзальную площадь, кепку еще глубже натянул на глаза.

— Одной не скучно?

Остановилась. Посмотрела на него свысока. Свет от фонаря будто выхватывал мужчину из темноты. Бог мой! Куртка расстегнута, шарф с оторванной бахромой и сапоги! Зеленые резиновые сапоги с широкими холявами. Пройдоха! Наверняка, пьет… в одиночестве… во-от и лицо небритое! Только сейчас обратила на это внимание. Ей почему-то подумалось, что к ней всегда цеплялись именно такие, до неприличия безразличные к своей внешности и, как оказывалось потом, почти все алкоголики. Налил — выпил, выпил — налил!.. Этого еще не хватало!

— Долго будем стоять?

Боже, он улыбается! Пробует сделать необычайно привлекательный вид. И тут ее как прорвало:

— Да что вам нужно от меня?! Идите прочь! Мне неприятно вас видеть! Я спешу. Спешу домой. Я хочу отдохнуть! У меня сегодня день рождения. Вы испортили мне вечер!..

Он наклонился к ней.

— А-а?! В таком случае, вечер только начинается. Хм-м, день рождения со стаканом кефира… — и тихо, у самого лица: — Как хочется кофе… настоящего горячего кофе… без сахара!

…Они подходили к ее дому. «А в конце концов, что же в том плохого, если я и приглашу его на кофе, — думала она. — Ну, оторванная бахрома на шарфе, ну, зеленые резиновые сапоги с широкими холявами, на джинсах заплата, — это она заметила в подземном переходе под площадью, — а так и ничего себе… Даже излишне деликатен. На злодея не похож, да и вообще, что он может сделать мне в моей квартире?! Соседи, телефон… В любой момент может позвонить мать или сестра. Не замуж же за него идти, да и при чем тут оторванная бахрома на шарфе, заплата на джинсах, может, он и очень даже хороший человек».

— Мы пришли.

Двор, куда они сворачивали, был темный, мрачный.

— Жизнь… Странно, многое забывается, — говорил он, — а вот этот дом я хорошо запомнил, еще в детстве, не думая, что буду приглашен сюда на кофе. Может, потому, что на нем часы? Я же сам минчанин. Квартира в Зеленом Луге. А живу в деревне… А вы тут, под часами. Тик-так, тик-так… Не тикает?

«Еще как тикает! — хотелось ответить ей. — Тридцать пять натикало. — Но молчала. Думала: — Квартира в Зеленом Луге. Минчанин. Живет в деревне. Может, больных родителей досматривает? Может, так… На даче! А работа? Где же он работает? Доктор? Учитель? Не похоже!»

Громко стукнула дверь.

— От черт, не придержал!

Он взял ее под локоть, горячо задышал в затылок.

— Чего же темно?! Подъезд без хозяина…

Его зеленые резиновые сапоги тяжело топали. На мгновение появилась нерешительность. Хорошо ли она делает, что приглашает его? В принципе, кофе он мог бы выпить и дома, если минчанин. Зачем напросился к ней? Вот и дверь. Глаза привыкли к темноте, быстро отомкнула замок и вошла в квартиру… Включила свет, сказала ему, чтобы снимал куртку. Вспомнила про свой домашний халатик:

— Простите, вы гость неожиданный…

Он только улыбнулся. Стянул кепку, молча снял куртку. Она отметила, что у него красивые глаза и волосы.

— Сапоги сниму, вы не против? — наконец отозвался он.

Согласно кивнула. Чтобы не мешать ему в тесной прихожей, пошла на кухню. Чашки! Скорее нужно вымыть чашки и кофеварку! Начала мыть. Слышала, как он прошел в комнату. Задержался на мгновение. Идет к ней…

— Сразу же кофе? — улыбнулся. — Объявление в газету еще не давали?

— Какое объявление? — не поняла она.

— Обычное. Молодая женщина привлекательной внешности хочет найти спутника жизни, имеет свою квартиру.

— У вас и шуточки!

Задумалась. Хм-м… Только вчера думала она о таком объявлении. Сдерживало одно: нет приличного образования, престижной работы, а это, как говорила подружка, для современных мужчин играет не последнюю роль. Если уж прагматизм, так во всем… Привлекательной внешности и маленькой квартирки недостаточно, просто кассирша в сберегательной кассе не звучит! Диплом, как фасад…

— А вы что, интересовались объявлениями в газете? — посмотрела на него.

— Да нет, — он прислонился к дверному косяку. — Как-то однажды попалось на глаза. Женщины странный народ, все как одна пишут: «Имею привлекательную внешность». А тут нужно заинтриговать. Что-то совсем необычное… Скажем, готовлю только одно блюдо — очень вкусную утку с яблоками — или: вяжу чудесные чепчики для новорожденных…

— Утки с яблоками у меня нет, только кофе… — она развела руками. — А что это вы про объявления? — растягивала слова. — Откуда вы взяли, что я одна… та самая одинокая женщина?

— Нужно быть слепым, чтобы этого не видеть. Бр-р-р… да у вас каждая вещь в доме кричит об одиночестве. Вот сюда, пожалуйста!

Ей показалось, что он подхватил ее на руки, а он просто взял за руку и потянул в комнату. Остановилась на пороге. Смотрела на стены, на знакомую мебель, потом — вопросительно — на него.

— Показать? — Он подошел к шкафу. — Боже, какое сиротство! Три половинки, этот холодный полированный блеск… А вы сделайте вот так!

Повернул ключ, приоткрыл дверку шкафа: «О-о, какое богатство!» Она вся сжалась. Что он делает?! Зачем?! Он потянул к себе краешек зеленого платья и захлопнул дверку, защемив этот краешек…

— Ну вот сейчас другое дело! Я вижу, что в доме живет женщина. Она случайно прищемила краешек платья, которое вешала в шкаф. Она куда-то спешила. Красивое платье. Очень даже! Женщина должна любить платья. Они шьются для нее. Они должны ее украшать, но их нужно уметь носить. А если еще такое лицо, как у вас! Вы посмотрите! Этот зеленый краешек, как парус! Он зовет и летит… летит к своему берегу. Подойдите, сядьте на диван.

Она подошла. Села. Он убрал с ее лба челку.

— О-о, ну конечно, я так и думал! Прекрасный лоб! Необычайно красивый лоб. А вы его — под челку! Не ну-у-ужно! Все, что прекрасно, должно быть на виду.

Она хотела отвернуть челку назад, отвела его руку.

— Понимаю. Вам непривычно. И зря! Челка вас портит. Половина проспекта ходит с челками, а вам нужно открывать лоб. У вас маленькие красивые ушки. Если вы не будете подводить глаза этим черным жирным карандашом, а только слегка положите тени — лучше зеленые с легким коричневым, — у вас будут очень выразительные глаза. Вам, кстати, нравится зеленый цвет?! Мне очень, это мой любимый…

— Бросьте! — Она подхватилась с дивана. — Вы просили напоить вас кофе. Надо его приготовить.

— Подождите. Оставим вас. Вернемся к квартире. Телевизор в углу — все понятно, чтобы можно было лежать на диване! Очень удобно. Лежишь и смотришь! Не нужно лежать, это засасывает. Нужно создать неудобство. То есть, переставить его вот сюда… — и он потянул тумбу с телевизором.

«Раскладной столик. Ему здесь не место!» — слышала она. И стол «ехал» к противоположной стене. «Цветы, гвоздики… как пять оловянных солдатиков! Зачем же им стоять вместе! Три оставим тут, а по одной вот сюда, в эту вазочку и кувшинчик!» Он еще что-то двигал, перетягивал, переставлял. Комната на глазах менялась, была ее и не ее комнатой. Наконец он остановился, потер рукою лоб.

— У меня все! Кофе готов?

Они пили кофе на кухне, так хотелось ему, там больше тепла. Она сказала, что не хочет, чтобы разговор вертелся только вокруг нее, ну, а что же он?! Ей это интересно.

— Я? Я… ничего! С детства рисую. Кое-что выставлял, но это так… не Эль Греко! Сейчас в деревне. Председатель знакомый работу предложил. За три куска стенды разные и зал во Дворце культуры в божеский вид привести, чтобы на каждой стене — полотно… Я, известное дело, согласился! Почти все исполнил. Красиво. А вот моих три куска предложил ему вложить в коптильню. Для хозяйства, конечно, да и для селян. Станут бить кабанчиков своих, пусть коптят колбасы. Хм-м, не хочет председатель, у него свое соображение. А как же харч для населения? Сколько можно в город за колбасой ездить! А-а?

Она подливала кофе. Коптильня… Колбасы… Он, оказывается, рисует с детства. Ей было жалко платья, зажатого дверкой, и раздражала мысль о телевизоре, стоящем не на своем месте. Он тронул ее за руку.

— Вы послушайте. Недавно иду на картошку вместе с местными женщинами. Мерзнут тетеньки, руки стынут, все новости переговорены, одна нервозность! И никакой инициативы! Назавтра я им плакат принес. Ночь рисовал. Дыни, бананы, апельсины, виноград, ананасы… «Вот это, — говорю, — ананас. Он растет в Африке. А у нас своя Африка и свой ананас. Это, — говорю, — картошечка наша. Так давайте и относиться к ней, как к ананасу!» Я вас, наверное, утомил… Кофе выпили?

— Да нет, есть еще. Налить?

— Спасибо, достаточно.

Она поставила чашки и кофеварку на маленький поднос.

— Это потом помоется, а сейчас, может, телевизор?

Он улыбнулся.

— Хм-м, телевизор? А зачем вы сказали: «Потом помоется»? Нет… Женщина должна сказать мужчине другое. И знаете что?

— Что? — она насторожилась.

— Кофе! Остается кофе в кофеварке. Может, пусть постоит до завтра? Это для… домового. Да-да, для домового! И все. И у меня нет чувства, что одиночество засосало вас до «потом помоется»… Ну, а насчет домового… Вы, насколько я понимаю, тут… недавно. Его взяли с собой?

— Кого это его?

— Домового! Значит, не взяли… А нужно ж было, когда переезжали, раскрыть сумочку и произнести: «Ну, мой домовой, прыгай сюда… Поедем в новое жилье». Не сказали, не взяли… Теперь где-то бродяжничает. Плохо ему без вас.

Он поднялся.

— Вы собираетесь идти? — неожиданно испуганно вырвалось у нее.

— Нет… идти не собираюсь. Поезд у меня в семь утра, но это уже и несущественно.

* * *

Пронзительно, как сирена, зазвенел будильник. Раскрыла глаза: семь утра! Включила ночник. Обвела взглядом комнату… Шкаф блестел всеми тремя половинками, как огромная льдина. В углу стоял телевизор. Пять гвоздик пламенели в вазе. Поднялась с дивана, прошла на кухню. На столе на маленьком подносе стояли чашки и немытая кофеварка — и в то же мгновение она закричала… Нет, это ей не показалось, не привиделось: за столом на табурете сидел кто-то или что-то, маленькое и ужасное. Помешивало тоненькой ручкой кофе в чашке и покачивало ножками, обутыми в зеленые сапожки с широкими холявками… Она еще слышала свой крик, а привидение как появилось, так и исчезло. И все же оно было!.. Было! Она видела…

Где-то через месяц ей захотелось поменять квартиру. Подружка пообещала познакомить ее с человеком, который моментально сделает любой обмен. И вот это знакомство произошло. Они стояли у входа в метро… Она — с гладко причесанными волосами, что только подчеркивало ее красивый лоб, и он — высокий, улыбчивый, разговорчивый, еще довольно молодой мужчина.

— Никаких проблем, — уверял он. — Хотите, в Зеленом Луге, хотите, на Юго-Западе… Я — спец по обмену, для вас за самый маленький гонорар!

И голос у него был такой притягательно-мягкий, и взгляд светился таким теплом, что невольно это вынужденное знакомство обещало быть очень и очень продолжительным… Это ее волновало необычайно. Сердце стучало, стучало, да так сильно, что, слушая этого еще почти незнакомого мужчину, она не обратила никакого внимания на довольно модное кожаное кепи, натянутое чуть ли не на самые глаза, и зеленые сапоги с короткими широкими холявками.

1990 г.

Уши

В последнее время ей часто снились кошмары. Сегодня тоже был кошмар. И она никак не могла подавить в себе чувства отчаяния и беспомощности, которые все ближе и ближе подступали к ней и будили не радость, как это говорят ее мать, бабушка, Аркадий, а страх. Самый настоящий страх, подкрепленный этим ночным ужасом. Ей хотелось как можно скорее обо всем забыть, суетиться, двигаться, а она уже более часа, как прикованная, лежит в кровати, и нет никаких сил подняться. Если бы здесь, рядом с ней был Олег, все было бы иначе. Но Олег, ее муж, уже вторую неделю в Лондоне, и только три телефонных звонка: «Ни минуты свободной! Заседания и заседания…» У человечества возникли проблемы космического характера, и какое отношение к ним может иметь биофизик? Она попробовала подняться, и сразу же из соседней комнаты отозвалась бабушка Вера:

— Ниночка, ну наконец! — она заглянула к ней. — Проснулась? А я тут вычитала рецепт салата для тебя. Может, помочь одеться?

Нина вяло помотала головой:

— Не-ет… У меня опять был кошмар. Посиди немножко со мной.

Бабушка присела рядом на кровать. Нина прижалась к ней, уткнулась лицом в теплое плечо. К горлу подкатывал удушливый горячий комок, словно выворачивалась душа.

— Бабушка, мне приснилось, что все… Я разродилась.

— Ну так и хорошо же, Ниночка! Кто-то подает тебе сигнальчик, что уже вот-вот…

— Я не хочу!.. Не хочу… Обними! Погладь меня! — Нину душили слезы. — Это был кошмар! Как и говорил доктор, у меня родился мальчик. Но… Но, бабушка… Он был ненормальный. Не такой, как все мы. Какой-то страшный мутант. Бабулечка… У него были свиные уши! — выдохнула она через короткую паузу.

Бабушка Вера даже оттолкнула ее от себя.

— Да что же это такое?! Ты хоть думаешь, что говоришь?! Про своего ребеночка, который еще и на свет-то белый не взглянул. Поднимайся! Вставай сейчас же! Я тебя в церковь отправлю! Смотри, что придумывает! Тебе не со мной, а с Богородицей нужно разговоры вести… Кровать не застилай! Я тут все сама уберу. Одевайся!

И бабушка вышла из комнаты, умышленно громко стукнув дверью. Как ни странно, ее слова подействовали. «А почему бы действительно мне не пойти в церковь, — подумала Нина. — Вот и голос Аркадия слышится в прихожей. Он может меня подвезти». И она начала быстро одеваться. Мысли невольно перебросились на Аркадия. Что ни говори, а он волнуется за нее даже больше, чем мать. Нет-нет да и заскочит домой — а вдруг? Вдруг уже нужно вызывать «скорую». Мама вертится, занимается своим Фондом, временами и позвонить забудет, а Аркадий…

Она не знала своего биологического отца, даже разговоров о нем никогда не возникало. Это была запретная тема в их доме. Сколько же ей тогда было: два, три года? Она, случалось, возвращалась к тому моменту… Рассыпанные разноцветные карандаши на столе. Толстая тетрадь, но ей совсем не хочется рисовать. Она ожидает маму. За окном уже давно стемнело. В соседнем доме напротив почти все окна — темные. Но вот, наконец, щелкает замок. Она бросается навстречу матери и замирает… Рядом с матерью стоит незнакомый молодой человек. И мать произносит как-то мимоходом: «Ниночка, это Аркадий… Он теперь будет жить в нашей квартире». Через некоторое время она спросила у матери: «А как же все-таки мне его называть?» — «Ну, не отцом же, — ответила та. — У тебя не его кровь… Так и называй… Аркадий!» И вот уже целых двадцать лет она так и называет его, и за своего Аркадия она смогла бы постоять перед кем угодно. Он один из самых близких ей людей, и обычно не матери, а ему она доверяет свои самые сокровенные желания и мысли…

— Ты оделась? — в комнату опять заглянула бабушка. — Аркадий приехал. Ты еще можешь успеть в церковь, под конец службы, чтобы особенно там не толкаться средь народа. Послушайся меня… И обязательно поставишь свечку…

— Ну разве ж я не знаю, что нужно ее поставить.

— Так иди… Еще успеешь чего-нибудь съесть.

Потом они ехали с Аркадием в машине. Ему уже далеко за сорок, а смотри, как держится! Подтянут, импозантен. Фирму открыл по сбыту своих технологий. Ей захотелось дотронуться до его руки, нежность успокаивала.

— Э-э, я за рулем! Через несколько лет вот так возить буду внука. Вы не передумали? Значит, Максим! В нашем роду все были Максимы… И прадед мой, и дед, и отец, а я… Аркадий!

— Так бабуля же Лера — Аркадьевна!

— Вот-вот, она и настояла. Может, тебя вечером в цирк сводить? Ты не мать, не бабушку, а меня слушай. Тебе в твоем положении нужно все время видеть веселые, милые, добрые лица. Смеюнчика внука нам родишь. — Аркадий подмигнул ей. — Вера Никитична сказала, что ты совсем раскисла! Из церкви забрать тебя не смогу… Тут же где-то близко подружка твоя живет. К ней зайди. Я не знаю, но догадываюсь, какими бывают разговоры у молоденьких женщин!

— У Кати большие проблемы.

— Что случилось? — И спохватился: — Ну, если проблемы, к ней не ходи. Никакого волнения. Это противопоказано. Только радужное настроение, и все будет о'кей! Я договорился с доктором, и не лишь бы каким. В самую фешенебельную родильню тебя отвезем.

Она слушала Аркадия и думала о Кате… Своей самой близкой подружке, которая выскочила замуж сразу же после школы. Там, в Катином доме, она и познакомилась со своим Олегом. Боже, какой это был дом! Как ее тянуло туда! Катю как будто носили на своих крыльях ангелы, а она сама утверждала, что это носит ее на руках любимый — Валерка. Он проносил ее ровно четыре года. У них уже были маленькие Лёник и Леночка. А вот все остальное исчезло.

— Я не могу больше тянуть этот воз. Элементарно не в состоянии! — однажды сказал Кате Валера и исчез. Ушел к какой-то богатенькой бизнесменше, которая была старше его чуть ли не вдвое. «Хоть бы Олег догадался привезти Кате что-нибудь из Лондона», — подумала она. Олег… Аркадию она не осмелилась рассказать о своем ночном кошмаре, а Олегу смогла бы? Боже, свиные уши!.. Нависали над самым лобиком… А носик морщился… Морщился… Когда Олег узнал, что у них будет мальчик, принес ей охапку белых хризантем, все, сколько было в цветочном магазине. И красным фломастером чуть ли не на всю стену написал: «Сегодня я впервые узнал о тебе, Максим. Целую, папа!» А ей снится этот кошмар. А может, действительно после церкви пойти к Кате? Валерка, гад! Как только посмел бросить Катю без денег, без работы. Откуда-то издалека, из прошлого выплыло Валеркино лицо. Да какое там лицо — мордочка! Остроносенький, над низким лбом белобрысая, длинная, всегда жирная прядь. Такие же белесые брови… Она даже чуть слышно застонала. Неизвестно откуда появились те самые свиные уши… Они так естественно вписались в этот Валеркин портрет.

— Что, Ниночка, не плохо ли тебе?

— Нет, все нормально, Аркадий. Остановись где-нибудь здесь. Не подъезжать же мне к храму на машине.

— Ну, как знаешь…

Аркадий припарковался. Все остальное происходило как в забытьи. Она долго стояла у иконы Божией Матери, вдыхая таинственный запах растопленного воска, горячего легкого воздуха. Люди покидали церковь, а она все никак не могла высказаться: «… и избави меня от кошмара, прикрой Своими ладонями его личико, не подпускай к нему ничего злого, и пусть как можно скорее вернется Олег…» Потом, когда уже шла многолюдным проспектом, пожалела, что не опустилась на колени, а вдруг ее слова без этого не дойдут к Богородице и ночью снова приснится какой-то страшный кошмар. Но пусть что угодно, только бы не эти мерзкие уши на головке, которую она носит в себе. А что же мама? Вдруг вспомнила, что сегодня она еще не виделась с матерью. Может, зайти к ней в Фонд? Ей не очень нравился этот всегдашний материнский энтузиазм. Мать не могла жить без движения, без какой-то деятельности.

Если ей Бог что-то и дал необычайное, так это энергию, которую она вначале вкладывала в профсоюзы, а сейчас вот в Фонд помощи детям-сиротам. Хотя, со слов матери, сирот этих не так и много. Их, как правило, опекают дедушки, бабушки, какие-то родственники, а тут просто несчастные дети — плоды любви алкоголиков, наркоманов… Аркадий даже недавно предлагал удочерить девочку, которую ее мать отправляла на лечение в Италию. Но не рискнули. Решили дождаться внука. Несчастные дети… Ей до этого времени не верится, что алкоголизм — болезнь! Просто какой-то распад… Но если есть туберкулезная палочка Коха, почему бы не быть и микробу деградации? Попадает такой микроб в организм, и человек медленно спивается. Непроизвольно оглянулась… Вот и дом под номером пятьдесят три. Как же это она прошла мимо него! Может, вернуться? А зачем? Уже где-то около года, как Людмила Ивановна, ее любимая институтская преподавательница не живет в нем. С мужем обменяли свою трехкомнатную квартиру на однокомнатную в каком-то микрорайоне, а может, просто таким образом спрятались от соседей, друзей да знакомых.

У Людмилы Ивановны был необычайно тихий голос, но вся их студенческая аудитория замирала, как только она начинала читать свою лекцию. Она это делала талантливо. Нравилось ей приглашать к себе домой своих любимых студентов, и как только начинали пить чай, нередко тут же появлялся ее единственный сын Шурик. Набрасывался на торт, а Людмила Ивановна своим тихим голосом останавливала его: «Шурочка, а руки? Ты опять забыл помыть руки…» Шурик бежал в ванную комнату, и Людмила Ивановна смущенно оправдывалась: «Ну вот закончит школу, может, повзрослеет… А пока совсем ребенок. Но скажу, и руки всегда помоет. Еще никогда не сел за стол, не помыв их!»

Два года назад этот самый Шурик своими чистыми руками вместе с еще одним таким же «Шуриком» в соседнем доме задушил какую-то старушку и ее десятилетнего внука, чтобы унести из квартиры тысячу долларов. Она так и не смогла дозвониться тогда Людмиле Ивановне. И никто из однокурсников не смог, потому сейчас и не знает, чем закончилось следствие, что стало с Шуриком. Хм-м… Свиные уши. Она опять готова была вернуться к своему ночному кошмару. Нет-нет, только не это! Остановилась у какой-то яркой, пестрой витрины, а потом натянула на голову капюшон легкого плаща и решила все-таки отправиться к матери…

В Фонде ее тепло встретила молоденькая секретарша и тут же предложила, чуть ли не проглатывая слова:

— Вы садитесь… Вам тяжело стоять. А Марии Константиновны нет. Да разве вы не знаете?! Ей звонил ваш муж из Лондона. Насколько я поняла, он приезжает. Ну, садитесь же…

Молоденькая секретарша, по всему было видно, грустила и не против была поболтать с дочкой начальницы, но Нина заторопилась. Олег! Как можно задерживаться здесь, если Олег возвращается! Быстро простилась с секретаршей и, покинув Фонд, тут же поймала такси… В этот день к своему ночному кошмару она больше не возвращалась. Все мысли устремились к Олегу. У них был очень счастливый брак, во что, кстати, особенно никто и не верил. Они поженились через три месяца после знакомства, и совсем молоденький курносенький парнишка, у которого и сейчас вид подростка, оказался не только хорошим мужем, но еще и талантливым ученым. Его научные труды широко печатались, и это была его не первая зарубежная командировка. Но все те разы отъезды Олега были связаны именно с его исследованиями, а тут… «Что-то связанное с космосом, — собираясь в Лон-

дон, сказал Олег. — Ничего определенного я не знаю. Ну, а если пригласили, нужно ехать!» Из-за своего деликатного положения она не смогла его проводить, так, может, рискнуть сейчас и вместе с Аркадием поехать в аэропорт? С этим намерением она и вошла в квартиру. К ней сразу же бросилась радостная мать.

— Ниночка, мне позвонил Олег…

— Ма-а, я уже все знаю. Заходила в твой Фонд. Где Аркадий?

— На фирме… Олег прилетает в три ночи. Аркадий не будет заезжать домой. Задержится в офисе, а потом оттуда и поедет за Олегом.

— Значит, всю ночь в ожидании здесь… дома?!

— Почему всю ночь в ожидании? — возразила бабушка Вера. — Ты пойдешь спать, Ниночка. А мы тут с матерью будем управляться, то да се готовить, чтобы было что поставить на стол…

— Вот-вот… Сразу же и накроем, как только появятся Олег с Аркадием, — энергично поддержала ее Мария Константиновна. — Сколько бы там на часах ни было, праздничный завтрак начнем с рассветом! Не так часто зять возвращается из Лондона!

— Вот тогда и тебя разбудим, — бабушка помогла Нине стянуть с ног сапожки. — Устала, бедная?

— Угу-у…

И когда вошла в свою комнату, провела взглядом из угла в угол, поняла, что и ей нужно будет немного поработать. Потом были телефонные звонки… Позвонила Катя. Она искала хорошего адвоката, чтобы стребовать алименты с Валерки, который, как оказалось, нигде не работал, жил за счет своей бизнесменши. Позвонил и Аркадий. Он собирался в аэропорт, сказал, что, слава Богу, рейс, которым летит Олег, не задерживается. Мать чуть ли не час проговорила по телефону с соседкой, квартиру которой на прошлой неделе обокрали. И теперь соседка рассуждала, дескать, то, что зять был в Лондоне, очень хорошо, но и не с пустыми же руками он оттуда вернется! Как бы кто не навел! У нее теперь есть знакомые ребята, которые за несколько сотен долларов могут поставить железную дверь. Нина слышала, как эту самую железную дверь мать шумно обсуждала с бабушкой. Но у нее был свой взгляд на это.

— Укрепимся, так уже обязательно обкрадут! Сразу же кто-то решит: коль железную дверь поставили, значит, есть что взять за дверью!

Нина зевала в постели. Ее будто все это и не касалось. Ну, время такое… Ну, болтаются люди в какой-то своей проруби, и если сосредотачиваться на этом, так зачем тогда и жить?! Она просила Олежку, чтобы привез ей Шекспира в оригинале, на английском, а мать про какую-то железную дверь! Последнее, что еще вспомнила, засыпая, была надпись на стене, которую сделал Олег красным фломастером: «Сегодня я впервые узнал о тебе, Максим. Целую, папа!»

А потом откуда-то издалека она услышала веселые голоса. Они приближались, и вот уже она выразительно слышит голос Аркадия:

— Нину не буди, не нужно! Ночи у нее неспокойные были.

— Да-да, — сразу же выплыл голос бабушки Веры. — Что-то нашло на нее. Я даже в церковь ее вчера отправила.

— Так она была в церкви? — отозвалась Мария Константиновна. — Видишь, Олежка, что здесь без тебя делается!

Олежка… Олег! Нину будто подбросило в кровати. Быстро поднялась и, как была в ночной сорочке, направилась в соседнюю комнату на голоса… И вот уже она обхватила руками Олежку за шею, подставляя щеки для поцелуев.

— Ну хватит вам, хватит… — заулыбался Аркадий. — Давайте, наконец, приступим к еде. Я со вчерашнего обеда ничего не ел!

Его поддержали и дружно произнесли первый тост: «За возвращение!» Олег с нежностью поглаживал худенькое плечо Нины, заглядывал в глаза, осторожно дотрагивался до ее живота: мол, с ним все нормально?

— Ну просто как маленькие дети, — отозвалась Мария Константиновна. — Не волнуйся! Все у Нинки как нужно! От силы неделя — и разродится. Будешь вызывать «скорую», стоять под дверью родильни.

Олег опустил голову, отпил из фужера немного шампанского.

— Мария Константиновна, я уже говорил Аркадию Максимовичу. Через три дня мне нужно ехать… Нину оставлю на вас.

— Куда? Куда ты опять поедешь?! — Нина встревоженно смотрела на него.

— В Москву… А потом… После спецподготовки, наверное, будет Байконур… Уже утвержден список международного экипажа.

Молчание было продолжительным. Слова Олега оглушили всех. Наконец послышался голос Марии Константиновны:

— Так тебя, что, в космос отправят?!

— Что ты цепляешься, Маша! — отозвался Аркадий. — Пусть лучше расскажет, что было в Лондоне? Не просто же так ездил…

— Ну, конечно, — подтвердил Олег. — Пресса пока молчит, хотя о Коричневых Карликах было сообщение. Так вот… В прошлом году английские ученые обнаружили в нашей Солнечной системе непонятные космические тела. Их происхождение пока загадка. Назвали эти тела: Коричневые Карлики. И еще есть одно название: Свиные Уши. Эти тела имеют форму свиных ушей.

Нина вся сжалась. Крепко-крепко ухватила Олега за руку. Свиные уши… Ее ночной кошмар! О чем это таком он говорит?

А Мария Константиновна засмеялась:

— Ну, ты и разумник! Договорился! Получается просто какое-то свинство… Там… вверху над нами!

— Не над нами, Мария Константиновна, а тут… Среди нас свинство!

Нина закрыла глаза, и сразу же представился тот ночной кошмар: маленькая-маленькая головка и… Заслонилась рукой, тихо попросила:

— Олег, подай стакан с соком.

— Тебе плохо? — вскочил Аркадий. — Может, того… начинается?

— Нет, все нормально, — Нина как-то виновато улыбнулась Олегу. — Ты, Олежка, рассказывай, нам всем интересно.

— Особенно тебе… Угу-у? — недовольно пробурчала бабушка Вера. — Выбрось из головы! Тебя эти Свиные Уши никак не касаются!

— Понятное дело, — почему-то взвилась Мария Константиновна. — Олежка, ты давай, продолжай… Какое это свинство тут, среди нас?

— Я имел в виду в масштабном смысле… В земном! — Олег как будто оправдывался, что сказал что-то не то. — Ну, открыли Коричневых Карликов… И скоро забыли бы о них. Но совсем недавно в Испании, в маленьком городке археологи во время раскопок нашли древние тексты. Там была и звездная карта нашей Солнечной системы, а на ней контуры тех самых Коричневых Карликов. Другими словами: Свиных Ушей. Тексты удалось расшифровать. Наша цивилизация на Земле не первая, не так ли? Так вот, как только в космосе появляются эти Свиные Уши, мир с катастрофической скоростью начинает приближаться к своему концу. Войны, разбой, неизлечимые болезни, никакой морали… Нужно выяснить природу этих Ушей. Да что я о кос-мосе! — вдруг взорвался он. — Взгляните за окно… Одно, что не видим! Но сколько там их, с этими самыми свиными ушами! И визжат,

и тащат под себя, и отталкивают друг друга, воруют, убивают… Родители отказываются от детей, дети ненавидят родителей…

И Нина не выдержала. Вскочила, бросилась бежать, зацепилась за стул… Олег чуть успел подхватить ее, и она вся забилась, забилась в его руках:

— Замолчи! Ни слова… Ты все напридумывал! Нет никаких Коричневых Карликов! Никаких Свиных Ушей! Не пущу! Ты никуда больше не поедешь!..

И все же через три дня поздним вечером Олег с Аркадием стояли на железнодорожной платформе. Поезд еще не подошел, и Аркадий нервничал:

— Мы с тобой запутались во времени… Куда спешили? А там Нина уже, может… Ты сразу же утром из Москвы позвони… Если честно, мне она сегодня не нравилась, может, уже где-то мчится на «скорой помощи»!

И Аркадий не ошибался… «Скорая» с Ниной и Марией Константиновной уже подъезжала к роддому. Нина была как окаменевшая, будто и не чувствовала боли, а Мария Константиновна, наоборот, ойкала и шептала, шептала:

— Ты, Ниночка, не бойся! Все женщины через это проходят…

И Нина тоже прошла. Боли уже не было, только страх. Она едва разбирала слова доктора, но слышала… Слышала…

— У вас, дорогуша, мальчик! Во-от он какой! Похоже, что будет курносеньким. Ручки, как перевязанные… Полненькие щечки… Попка с ямочками…

И она не сдержалась, закричала, будто что-то вырвала из себя:

— Доктор! Доктор! А уши… Уши у него какие?!

1998 г.

Перевод с белорусского автора.



НАУМ ГАЛЬПЕРОВИЧ

Есть истины святые...

* * *

Я давно эти мысли берег
И лелеял еще малолеткой:
Белорусское слово «перо»
Заискрилось в фамилии предков.

Словно новое семя взошло,
Из страданий и страха рождаясь,
И дыханье святое пришло,
Где-то в небе, наверно, мужая.

Не захватчик и не господин
Я родному певучему слову,
Древний Полоцк — он мой властелин,
Мое счастье и мира основа.

Я поверил, что все ж на добро
Сильным корнем иль малою веткой
Проросло это слово «перо»
Четкой явью в фамилии предков.

В Полоцке

Памяти отца

Блестят церквушки белой купола —
Мой уголок, до мелочей знакомый,
И здесь, Двиной и памятью влекомый,
Я — навсегда, куда б дорога ни вела.

Опять зовешь меня в который раз
И к плитам черным, и к рассветам росным,
К напевам и слезам печальным взрослым,
Что навсегда соединили нас.

Три горсти желтого сыпучего песка,
И чары поминальной горечь злая…
Я помолчу, украдкою сжимая,
Любимой руку, что опять близка.

Нечастый гость я в Полоцке теперь
И потому ловлю прикосновенья
К тем первым и единственным мгновеньям
Моей любви. Я помню все, поверь.

На родине, у тихой Полоты,
Я сердцем изболевшимся оттаю.
Мой город, эта истина простая:
Пока я жив, со мною будешь ты…

* * *

Осенью, печальной по природе,
Когда нет ни красок, ни обнов.
Вдруг услышу на звенящей ноте
Вечную мелодию без слов.

Радости желание воскреснет,
Кровь живей по телу побежит,
И от благодати этой песни
И любить захочется, и жить,

И судьбе поверить, и любимой,
Поцелую в восхожденьи дня,
Осознав, что это неделимо —
Родина, душа моя и я.

* * *

Шелест осени в доме моем...
И летит золотым листопадом
Грусть моя над туманным жнивьем
К остановке далекой за садом.

И холодной иглою кольнет
Тишину затуманенной ночи,
Да тревога нежданно прильнет
Белым снегом на мерзлом листочке.

Под подошвами снег заскрипит
Узнаваемо-жданно, в предзимье...
И, коснувшись желанной руки,
Я услышу твой голос любимый.

* * *

Птах из клюва просыпал стихи —
Я нашел их на росных соцветьях.
И пронзили они предрассветье,
Голосисты и нежно-тихи.

Серебрилась на травах роса,
Синевой отливали посевы,
И цветы вопрошали несмело:
— А ты правильно все записал?

Солнце мудрое важно взошло,
Собеседником став в разговоре,
А из звуков подслушанных слов
Лились нежность, тепло, свет и... горечь.

* * *

На листке кленовом напишу
Тихое и нежное признанье,
Хоть в душе испуганно ношу
Осени холодное дыханье!..

Ждет нас очень долгая зима
Со снегами и в ветрах настылых...
Без тебя, ты знаешь все сама,
Чем дышать?.. И солнце мне не мило.

Холода уйдут в весенний звон
И победным смоются разливом.
А пока пылает жаром клен
Под окном печально и красиво.

* * *

Мир вечно в событиях, тесен,
Хоть падать, хоть в небе парить...
Стихи свои лучшие, песни
Спешу я тебе подарить.

И ждать буду как одержимый,
Когда прозвучит над землей
Звонок телефона пружинно
И голос услышу я твой.

* * *

С полным уловом пришли рыбаки,
Варят ушицу.
Радость пророчат с бессонной реки
Вещие птицы.

Греет костер. Звезд светящийся рой,
Небо нарядно.

Что в этом мире еще нам с тобой,
Милая, надо?

Падает звездочка каплей с весла,
Ночь наступает.
Я благодарен за то, что была
Ясность такая.

* * *

Одинокий фонарь горит
Над аллеей пустой, унылой...
Что, не хочется говорить?
Помолчим. Понимаю... Стыло.

Если вдруг немота, как тать,
Темной тучею все завесит,
Очень хочется помолчать.
Помолчим. Лишь бы только вместе.

У молчанья своя слеза,
Своя музыка, даже слово.
И *так* надо потом сказать,
Чтоб сердца встрепенулись оба,

И пронзили ночь фонари,
И мелодия грела душу...
Говори скорей, говори,
Я одну тебя буду слушать.

* * *

Есть истины святые —
И это навсегда...
Над полоцкой Софией
Века несутся вдаль.

Над вечною Двиною,
Над тихой Полотой,
Где лес густой стеною
И где царит покой.

Где каждый дворик милый,
И вкус соленых слез...
Родителей могилы
Меж сосен и берез.

Где узкий переулок
Извилисто пролег,
Незабываем, гулок, —
Мой путь и мой исток.

* * *

Потихоньку уходят былые друзья,
Не последний я тут и не первый.
Только так вот сказать мне, пожалуй, нельзя,
Что стихи перерезали нервы.

Что листочек бумаги? В нем жизни глоток,
Сгусток боли, тепла и печали,
Продолжение наше, а может, — исток,
Я их с грустью бумаге вручаю.

Это словно целебного счастья бокал,
Словно вера без меры и края,
Как тропа, в бесконечность уходит строка,
Над бумажным простором витает.

Перевод с белорусского Надежды Солодкой.



АЛЕКСАНДР ФИЛИПЕНКО

Шахматная доска

Рассказы

Дебют

Девушка пела в церковном хоре. Арлекины затачивали деревянные мечи, и северный ветер срывал выданные фуражки. Отталкивая собравшихся на платформе зевак, полицейские свистели во все щеки. Журналисты (все как один в новых английских костюмах, в повязанных по последней моде шарфах) просили друг друга быть аккуратнее, потому что брюки-то новые и куплены вот-вот.

Гудели паровозы. Трещали проверяемые вспышки фотоаппаратов и хрупкие косточки сбежавших с занятий семинаристок. Мальчишки, чумазые продавцы новостей, уныло сидели в стороне — никто не покупал газет. Взявшись за каштановые подтяжки, директор вокзала смотрел на платформу через большое пыльное окно:

— Не рано ли отменили крепостное право?!

Старый секретарь ставил на стол блюдце. Фарфор омывал чай. Как и полагалось человеку преклонных лет, старик, вздыхая, отвечал:

— Волнение людское вполне объяснимо, господин директор. Уезжает не кто-нибудь, а сам Алексей Алексеевич Лепехин — великий русский шахматист!

Словно занавес, директор торжественно поднимал брови и, облокотившись на окно, от слова к слову, повышая голос, обрушивался на старика:

— Что же это такое?! И ты туда же, старый дурак?! Подобно другим поддаешься моде! Делаешь из игры не пойми что! А шахматистов, черт их дери, лентяев в запонках, почитаешь за ученых!

— …

— Нет, погоди! Я не закончил! Возносишь, я тебе говорю! И не спорь! Воз-но-сишь! В то время как они, черт их дери, лентяи в запонках, ничего не делают, кроме как дни напролет фигурки янтарные двигают!

— Я, быть может, и старый дурак, но шахматы вещь важная! В шахматы играют люди в высшей степени мудрые, а чем же еще славиться государству, как не мудростью? И потому нет ничего дурного в том, что горожане встречают лучшего шахматиста всех губерний с таким размахом, господин директор! И вот еще что… вам, господин директор, шах! Ан нет, батюшки! Как это я сразу-то не увидал! Шах и мат вам, господин директор! Вот сюда кобылку поставим, и будет вам мат! Во как, господин директор! Шах и мат!

— Еще давай! — недовольно отвечал директор и подходил к столу.

На платформе появился Лепехин. В белоснежном костюме, окруженный журналистами, немного подтягивая левую ногу, он прошел к вагону.

— Экий франт! — заметил кто-то из зевак.

— Так ведь, человечище! Ум! За всю великую нашу родину биться будет!

— Посмотрим, что вы скажете, когда проиграет ваш Лепехин венгру.

— Что ж это вы такое говорите, сударь? Лепехин никому не проигрывает!
— Вот увидите, проиграет он финал, ваш Лепехин.
— А вот давайте поспорим!
— Отчего ж не поспорить, давайте и поспорим.
— Пять рублей.
— Пять? Мало, конечно, но давайте-ка!
— А как я вас найду?
— Спросите Жирмунского… Меня все знают…

Первым делом Алексей Алексеевич переоделся. Белый костюм ему совершенно не нравился. Не нравилась и шляпа. Алексей Алексеевич хотел поехать в свитере, что связала Настенька, но Жарков не разрешил. Жарков сказал, что будут делать снимки и что он, Лепехин, лицо Великой Державы!

«Вы просто обязаны выглядеть блистательно, а свитер Настенькин примерите в поезде», — потребовал Жарков.

Теперь, когда черный в белую клетку кардиган был надет, Алексей Алексеевич улыбался и правой рукой поглаживал левый рукав. Осматривая просторное купе, известный своей скромностью шахматист думал о том, что все это, пожалуй, слишком: «Ковры, скатерти, хрусталь, фрукты! К чему все это?! Могли бы дать мне обычное место. Неуютно тут как-то. Уж слишком все красиво. Дорого все как-то. Даже страшно…»

За стеклом проплывали леса и деревни. Невысокие холмы и остывающие перед зимой поля. Бьющие в стекло капли становились крупнее. Разобравшись с проблемами мелкого характера, время от времени поглядывая в окно, но теперь все меньше отмечая то, что за ним проплывало, Алексей Алексеевич возвращался к единственному волновавшему его вопросу. Лепехину никак не хотелось соглашаться с тем, что вместе со всей командой предлагал Жарков. «Нет, — думал Алексей Алексеевич, — нет, надо бы рискнуть…»

Увертюра, как казалось шахматисту, была чрезвычайно острой и затрагивала даже конец игры. Дебют был красивым и глубоким. Быть может, недостаточно удовлетворительным при точной игре соперника, но исключительным по своему обаянию.

«Точность? В том-то и дело! — думал Лепехин. — Венгр обязательно ошибется! Всенепременно! Если не на четырнадцатом, то на шестнадцатом ходу — иначе и быть не может!»

Однако Жарков стоял на своем. Жарков буквально требовал играть отработанную, проверенную партию.

«С другой стороны, — продолжал размышлять Лепехин, — будь на месте Жаркова кто-нибудь другой, я поспорил бы, но он, он мой учитель! Он знает гораздо больше! Имею ли я право перечить ему?!»

За окном лениво и тяжко плыли облака. По земле разливалась тоска. Звуки полонезов остались далеко позади, и Алексей Алексеевич не знал, сколько времени провел в дороге. Лепехин не любил часы (они отнимали время игры), не любил и никогда не носил. За окном темнело, и если брать в расчет, что выехали в 19 часов, было около…

Несколько раз заходил Жарков. Тренер спрашивал, все ли в порядке и не стоит ли чего-нибудь подать. Лепехин благодарил и просил не беспокоиться.

Вот уже два часа как поезд стоял на Будапештском вокзале. Венгерские журналисты, все как один одетые в английские костюмы, с повязанными по последней моде шарфами, недоумевали. Поезд прибыл, поезд остывал, но Лепехин не выходил.

Облокотившись на большое, блестящее окно, директор вокзала говорил своему помощнику:

— Странный этот русский, правда, Сабо? Уже час как не выходит! Спит там, что ли? Или думает, что ему все дозволено? Эти русские вечно считают себя самыми умными! Еще матч не сыграли, а он уже позволяет себе задерживаться, не выходить. Скверно, скверно все это, правда, Сабо?

— Да, господин директор, но если честно, по мне так, знаете, по мне так все равно. Меня вот больше ваш конь волнует! Так удачно он у вас тут стоит, ну просто не продохнуть! Все-таки, наверно, потому вы и директор, что в шахматы лучше играете, ни разу я у вас не выигрывал, господин директор!

— Думай, Сабо, думай, в шахматах главное не торопиться. Куда тебе спешить? Вокзал как стоял, так и будет стоять, а ты, Сабо, думай!

Лепехин появился спустя четыре часа. Два человека вели его под руки. Венгерским журналистам удалось отметить, что русского шахматиста немного пошатывало. Другие недолго думая сумели уловить запах алкоголя. Так все сошлись во мнении, что Лепехин пьян.

Слух, что русские пьют даже в преддверии финального матча, тотчас разнесся по всему Будапешту. К вечеру, благодаря телеграфу, в изобретении которого так нуждались сплетники всего мира, слух докатился и до родного города Алексея Алексеевича. На родине весть о том, что Лепехин запил, восприняли с еще большим негодованием.

Пьяный Лепехин? Странно! Он ведь не пьет!

Будапешт замер в ожидании финала. Замерла родная для Лепехина Москва. Подобно Жаркову, ходившему из стороны в сторону у двери гостиничного номера, в Санкт-Петербурге под дробь стучавшего в окна дождя из стороны в сторону ходили министры финансов и иностранных дел, депутаты и городовые, журналисты и поэты, врачи и все, для кого шахматы были самым большим на свете увлечением.

Всю ночь в номере Лепехина горел свет. Метрдотель рассказал одному из журналистов, что к Лепехину никто не заходил. Шахматист ничего не ел, никого не впускал. Ни консьержей, ни секундантов. Около четырех часов утра свет погас. Лепехин уснул. «Да, это точно! Я лично слышал», — заявил метрдотель.

Утром сонные мальчишки не успевали продавать газеты. За столиками в кафе и на скамейках в парках, встряхивая страницы, будапештцы читали о приезде великого русского шахматиста. На первой, второй и третьей полосах, статья за статьей, рассказывалось о Лепехине, его команде и сильных дебютах, о лучших матчах Магияра и прославленной венгерской защите.

Около девяти часов утра команда России спустилась в ресторан.

Официанты разливали кофе, и молодой худощавый переводчик, вероятнее всего, кадет, зачитывал отрывки из утренней прессы:

— Они говорят, Алексей Алексеевич, что вчера вы вовсе не были пьяны, а все произошедшее есть не что иное, как провокация тайной царской полиции. Они пишут, Алексей Алексеевич, что вы, судя по всему, хотели ввести в заблуждение венгерского чемпиона. Но венгры, Алексей Алексеевич, пишут они, не дураки. Так утверждает автор статьи. Венгры и не думали расслабляться, и уж тем более отдавать вам чемпионский титул!

— А что в другой? — намазывая маслом странный серый хлеб, спрашивал Жарков.

— А в другой пишут, что… дайте-ка взгляну… пишут, что вся страна живет в ожидании полуденного матча, и конечно, ни у кого нет сомнений в том, что золотая королева останется в Венгрии. Магияр лучше, пишут они.

Как ни пытались Жарков и переводчик изображать беззаботность, ничего не выходило. Лепехин молчал. За все утро он не проронил ни слова и только то, что за столом сидели многоопытные, выдержанные шахматисты, не выдавало общего, с каждой минутой нараставшего волнения.

Перед тем как открылась дверь автомобиля, Жарков успел перекрестить Лепехина и поцеловать в лоб.

Живая цепь тянулась через сад к театру. Окруженный верными друзьями, через гущу людей Лепехин пробирался к входу в большое, с высокими колоннами здание. Жарков придерживал Лепехина за поясницу и, немного подталкивая вперед, шептал:

— Дальше, Алексей Алексеевич… не останавливайтесь, дальше, ступайте дальше.

Лепехин не помнил, как вышел из гостиницы, не помнил красивых улиц Буды и остававшегося по правую руку перекинувшегося через Дунай моста. Не помнил холмов Пешта и машины, в которой ехал к месту поединка. Он не видел взглядов и не слышал слов, что все утро говорили ему и о нем.

Алексей Алексеевич не мог вспомнить дверей и лестниц, комнаты, в которой провел не меньше часа, и коридор, которым шел к сцене. Он не помнил, как сел за стол и как кто-то подтолкнул к нему стул.

Не помнил, как появился венгр и в стороны разлетелся занавес. Ударил свет. Волнами покатили аплодисменты. Лепехин посмотрел на черную пешку, и показалась, что она затряслась. За несколько мгновений Алексей Алексеевич прокрутил партию до двенадцатого хода, и когда настал момент брать слона, зал замер… Лепехин встряхнулся.

Послу России позволили сделать почетный первый ход.

— С вашего позволения, — произнес чиновник, наклонившись к Лепехину, и двинул пешку на d4. Алексей Алексеевич понимающе улыбнулся и, пока посол спускался в зал, вернув солдата на исходную позицию, сделал свой ход — e2—e4.

Партия началась. Венгр ответил пешкой на e5, и его ход тут же отобразился на большой доске, по которой зрители следили за игрой. Последовали обоюдные выдвижения коней, слонов и пешек. Перевернув страницу подаренного в дорогу новой любовницей блокнота, сидевший в третьем ряду русский журналист записал: «Играют медленно. Точно и верно. Вспоминая целые сражения и отдельные ходы, стремительные проверенные дебюты и выверенные мучительные защиты. Играют метко, едва шевеля губами».

Последнюю строчку журналист зачеркнул, но остальными остался доволен. Взглянув на внушительного размера доску, он продолжил: «Черные подвергнуты огромному давлению, однако Лепехин отчего-то откладывает наступление. Бронзовые офицеры видят диагонали. Короли прячутся в углах, и каждая пешка мечтает стать ферзем в эндшпиле».

Пока журналист получал удовольствие от самого процесса написания блистательной статьи, зрителей все сильнее затягивала партия. Несколько минут назад венгр сделал ожидаемый ход. Напрашивался ответ, однако Лепехин медлил. Данное обстоятельство сильно беспокоило сидевшего рядом с переводчиком Жаркова. Наклонившись немного вперед, он постукивал пальцами по ручке кресла и постоянно дергал ногой.

— По-вашему, что-то не так? — спрашивал переводчик. — Я, конечно, не большой специалист, однако, насколько могу судить, пока все идет хорошо.

— Мне непонятно, почему Алексей медлит.

— В каком смысле? Вероятно, думает.

— Вот именно, чего же тут думать? Эта позиция проработана нами до глубокого эндшпиля! Тут все ясно!

— Ах, вот оно что! — выделяя каждое слово, произнес переводчик.

Через десять (!) минут Лепехин, наконец, сделал ход. Венгр ответил. Последовал размен, и когда передвижения офицеров, туры и дамы отобразились на большой доске, Жарков чуть было не вскочил с кресла:

— Господи! Что же он делает! Он теряет темп! Это… это же провал…

Труп Лепехина лежал посреди питерской гостиной. Выходившие на Большую Морскую улицу окна были открыты. Полицейские время от времени, деликатно переступая через тело великого русского шахматиста, ходили по комнате.

Возле камина в кресле сидел толстый, всегда недовольный своим телом человек. Он тяжело дышал и рассматривал серебряную пешку:

— Вот вам и шахматисты! Вот тебе и стальные нервы! Впрочем, следует признать, что пулю пустил комплиментно!

— Как вы сказали, Николай Александрович? — спросил врач.

— Я сказал комплиментно, от слова комплимент.

— Опять вы, Николай Александрович, слова выдумываете!

— А отчего же не выдумывать, коль скоро труп наш так мастерски стреляется!

— Да уж, Николай Александрович, всем горлом заглотнул!

Сидевший спиной к ним Жарков всхлипнул и попросил Настеньку принести настойки валерьяны.

— Да будет вам, Михаил Иванович! — продолжал следователь. — Что ж это вы, в самом деле, так убиваетесь! Нам тут второй труп не нужен! Правда, Федор Никитич?

— Правда, Николай Александрович, — спокойно отвечал врач, осматривая затылок Лепехина.

Тон, в котором посмел говорить следователь, приводил Жаркова в бешенство. Позабыв обо всем, он вскочил со стула и начал исступленно кричать:

— Труп? Два трупа? Вам нужно два трупа или один? Да… да как вы смеете так говорить! Как у вас язык поворачивается! Труп! Да знаете, знаете вы, что тут перед вами…

Жарков чуть было не сказал «лежит великий шахматист», однако, обдумав это словосочетание, решил промолчать.

— Я знаю, кто это, Михаил Иванович! Это труп! Потому что труп — это труп, он иначе не существует! Тело это, Михаил Иванович! Я вижу перед собой остывшего мужчину, и как уже говорил, второй мне здесь не нужен. Желаете вешаться — вешайтесь, но в другом квартале! Впрочем, вы ведь у нас персона известная, вашу смерть все равно повесят на меня.

— Да как, да как вы…

Жарков вновь разрыдался.

Около часа, под аккомпанемент время от времени набиравшего силу мужского всхлипывания, полицейские осматривали комнату, врач обследовал труп, старший следователь Николай Александрович Жирмунский — собственные ногти.

Когда настойка валерьяны начала действовать, успокоившись, Жарков обернулся, чтобы еще раз взглянуть на своего, теперь уже мертвого, ученика. Лепехин лежал на полу. Его веки были высоко подняты, а глаза полны удивления. Он был похож на человека, который чем-то подавился.

— А вы уверены, что это самоубийство? — набрав полный рот смелости, вдруг спросил Жарков.

— Уверены! — ответил Жирмунский и добавил: — Так что же мы теперь будем делать, Михаил Иванович?

Вопрос следователя показался Жаркову плевком. «Что мы теперь будем делать?» — повторил он про себя.

«А что вообще теперь можно делать? Что я могу ответить на такой вопрос? — со злостью, но в тоже время совершенно растерянно думал педагог. — Лепехина нет. Через несколько дней в Будапеште финальный матч. Придется все отменять, что же еще делать?!»

— Я не очень понимаю, о чем вы говорите, когда спрашиваете, что нам теперь делать?

— Я спрашиваю, как нам быть с предстоящим поединком?

— С поединком? А как с ним еще можно поступить? Его придется отменить!

— Это исключено, Михаил Иванович! Исключено! Об этом не может быть и речи! Лепехин должен играть!

— Играть? Как это понимать? Господа? — словно в поисках помощи Жарков осматривал комнату, пытаясь заглянуть в незнакомые пары глаз, однако никто не обращал на него внимания. Все были заняты своими делами, и от происходящего Жаркову делалось плохо. — Я… я не очень понимаю, что вы хотите этим сказать? Что вы предлагаете?

— Я, Михаил Иванович, пока ничего не предлагаю. Ясно одно — политическая ситуация в стране не позволяет нам проиграть этот поединок. Народ взволнован, каждую неделю бунты и волнения. Министров стреляют, словно воробьев. Народу следует отвлечься на что-нибудь житейское, на что-нибудь такое трогательное и гордое, понимаете? Эта победа нам чрезвычайно нужна!

— Очень нужна победа? — Жарков еще раз посмотрел на труп Лепехина и остановил на нем взгляд.

— Победа нужна! — спокойно произнес Жирмунский.

— Но, но как же нам быть? Алексей Алексеевич мертв…

— А мы его оживим! Ха-ха. Шучу, шучу, Михаил Иванович! Шучу я! А вот в том-то и дело, что-то нам нужно делать. Да-а-а…

— Быть может, сыграет кто-нибудь другой? — вдруг спросил Жарков, и сам не поверил собственным ушам.

«Какая же я тварь! Вот он, Алеша, лежит передо мной, а я предлагаю заменить его кем-нибудь другим! Какая же я все-таки свинья!»

— Кто-нибудь другой? Нет! Это исключено! Играть должен Лепехин! А потому следует все хорошенько обдумать… Итак, у нас есть труп, и есть запланированная на среду игра, в которой наш труп должен одержать победу. По-моему, все очень просто, не так ли? Ваши предложения, Михаил Иванович?

— У меня нет никаких предложений!

— А еще стратег! Шахматист! Где же ваш хваленый ум? Эх вы, Михаил Иванович! Ладно! Сделаем послабление… ваше состояние… ладно, Михаил Иванович, ответьте мне вот на какой вопрос: у вас есть планы игр?

— О каких именно играх вы спрашиваете?

— Вы ведь вели своего рода летопись игр и ходов Лепехина?

— Вел.

— Вот и превосходно! В среду Лепехин должен начать белыми или черными?

— Белыми. Жребий.

— Как хорошо. Жребий к нам благосклонен. У шахматистов ведь есть возможность разговаривать с секундантами?

— Да, но только…

— Вот видите, как все просто, Михаил Иванович, а вы волновались.

— Что вы задумали?

— Победит ваш Лепехин, складненько.

— Складненько?

Черный Русобалт остановился у парадной известного актера Болеславского. Жирмунский хотел посетить и главного режиссера театра, в котором служил Болеславский, однако решил, что чем меньше людей будет задействовано, тем лучше.

Старая домработница предложила незваному гостю устраиваться в гостиной. Едва толстый мужчина осмотрелся — на лестнице появился фактурный незнакомец. В ночном халате, с бокалом красного вина. Артист большой сцены — Александр Сергеевич Болеславский.

— Чему обязан столь поздним визитом?

— Исключительно вашему таланту, Александр Сергеевич!

— Талан-ту, талан-ту, — делая ударение на «ту», передразнивая гостя, повторил Болеславский и широким взмахом манерно положил правую руку на собственное плечо.

— Александр Сергеевич, позволите ли вы сразу перейти к делу?

— Да, если вы позволите себе представиться.

— Моя фамилия Жирмунский, вы, вероятно, слышали?

— Жирмунский! Так вот как она выглядит, наша тайная полиция! Жаль, что в ней не работают женщины, в столь поздний час я бы предпочел увидеть прекрасную незнакомку.

— Обе столицы в курсе, что вам по вкусу юнкера и семинаристы, господин Болеславский, так что давайте к делу!

Болеславский покраснел, но подбородка не опустил.

— Александр Сергеевич, играете ли вы в шахматы?

— В шахматы? Кто ж теперь не играет в шахматы? Впрочем, не часто. Большая сцена, знаете ли…

— Но вы ведь имеете представление о том, какими способностями обладают те или иные фигуры?

— Обижаете!

— Простите! Просто я должен быть уверен.

— Будьте спокойны, однако, почему это вас волнует? Уж не хотите ли вы сразиться со мною в шахматы?

— Я — нет. А доска у вас есть?

— Есть.

— Александр Сергеевич, я так понимаю, что и в вашей отличной памяти сомневаться не приходится.

— Не жалуюсь! Если у вас есть немного времени, могу поведать много интересных историй. Какую желаете?

— Что-нибудь из мифов о Сизифе.

— Нет, о нем не помню. Но могу что-нибудь другое.

— Не сомневаюсь, однако прежде смею просить вас ознакомиться с этими бумагами.

— Что это? — вдруг вскрикнул Болеславский — Что? Я, я ни в каких тайных обществах не состою! Государя люблю всем сердцем! Вам меня в эти игры не впутать! Я не шпион и не кадет! Я не эсер и не народоволец! Я актер!

— Тише, тише, Александр Сергеевич! Не беспокойтесь! Это не обвинение.

— Тогда что?

— Ваши партии, Александр Сергеевич. Здесь несколько дебютов Алексея Алексеевича Лепехина.

— Дебюты Лепехина? Зачем они мне? А что с ним?

— Дело в том, Александр Сергеевич, что Алексей Алексеевич немного приболел и не сможет отправиться в Будапешт.

— В Будапешт?

— Да, там должен состояться очень важный матч.

— А от меня-то вам что нужно?

— Судя по всему, играть вместо Лепехина придется вам.

— Мне? Вы с ума сошли! Я не умею, я не так хорошо играю, да и в конце концов, я на него не похож!

— Ну, не стоит так волноваться! Именно поэтому мы и обратились к вам! Насколько я помню, вы — Александр Сергеевич Болеславский! Великий русский артист, а что стоит актеру вашего масштаба сыграть шахматиста?

— Великого шахматиста!

— Великому актеру — великие роли!

— Льстите?

— Нисколько!

— Но я действительно на него не похож!

— Ну, грим, грим, Александр Сергеевич, да и потом, много ли венгров знают Лепехина в лицо?

— В наше время газеты повсюду!

— Ерунда! Все будет поздравительно, Александр Сергеевич!

— Поздравительно?

Когда гример закончил, в комнату позвали Жаркова. Развалившись в кресле, Болеславский перекидывал ладью из руки в руку. Взглянув на… Лепехина, Жарков упал в обморок.

— Вот и замечательненько! — порадовался Жирмунский.

Болеславский выпил последний из разрешенных бокал вина и с головой окунулся в новую роль.

Весь следующий день был посвящен изучению партий и привычек Лепехина. Жарков рассказывал о том, что Алексей Алексеевич всегда был добрым, вежливым, учтивым и немного подтягивал ногу.

— Первые три определения нам не помогут, а вот то, что ногу подтягивал, это хорошо, это я смогу, — отвечал Болеславский.

Сразу после обеда актеру принесли шахматы. Подавленный Жарков сидел напротив и до поздней ночи разбирал с Александром Сергеевичем партию за партией:

— А зачем я сюда походил?

— Не вы, а Лепехин!

— Нет, я, Михаил Иванович! Я теперь Лепехин! Так зачем мне сюда ходить, он же меня съест!

— Это гамбит! Так нужно! Хорошо, если съест, как вы говорите, запомните, если здесь он вашего офицера берет, играйте третью партию, помните ее?

— Та, что в конце похожа на вальс?

— Да.

Жарков никогда не думал, что передвижение фигур может напомнить шаг в танцах. «Это тонко, и, быть может, этот Болеславский не полный дурак», — отметил Жарков.

Вальс? Почему нет? Быть может, это откроет нам новое понимание игры. Ведь есть версия, что лучше занимать белые поля. Может, связать ее с шагом? Паркет? Паркет, по которому фигуры скользят, словно в танце. Нужно это продумать, нужно просчитать, и все-таки это так интересно, шахматы, только с кем я теперь буду работать? Леша, мой Леша…

— Михаил Иванович, вы отвлеклись! А вот этот ход? Как же я могу ходить сюда? Он же меня побьет!

— Не побьет! Будьте внимательны! У вас тут связка, он не может дернуться — будет шах.

— А сюда зачем?

— Что значит — зачем? Просмотрите следующие ходы. Вы делаете вилку.

— А с чего вы взяли, что он будет ходить именно так?

— С того, что Магияр, Александр Сергеевич, в отличие от вас, умеет играть в шахматы! Лучше проиграть по правилам, чем случайно выиграть.

— Меня зовут Алексей Алексеевич!

Судя по всему, Жирмунский был доволен. Все шло по плану. Перед отъездом Лепехина-Болеславского принял Государь. Он, конечно, все знал, но тактично ничего не заподозрил. Изображая скромность и почтение, Болеславский достигал пика актерского мастерства. В разыгрывавшейся миниатюре «Обед у Его Величества», подражая актеру, люди играли людей: Жирмунский Жирмунского, Государь Государя, Жарков Жаркова, и только Болеславскому позволялось играть не себя.

— Алексей Алексеевич, вы уже решили, к какому дебюту прибегнете?

— Пока размышляю, Ваше Величество.

— Знаете ли, Алексей Алексеевич, я ведь и сам немного играю. Вот скажите, правда ли, что конь на краю доски всегда плохо? Мне лично удавались неплохие партии.

— И правильно, Ваше Величество! Вот и мне все говорят: конь на краю доски плохо, но лично я исхожу из того, что все зависит от отдельно взятой партии, — при этих словах Жарков чуть было вновь не потерял сознание: Лепехин слово в слово процитировал Лепехина.

— Алексей Алексеевич, а как, по-вашему, правда ли, что коня всегда выгодно разменивать на слона?

— Повторюсь! Мне кажется, что каждый ход должен быть взвешен, а исходить следует исключительно из положения на доске. Иногда выгодно отдать слона.

— Блестяще! Алексей Алексеевич, позвольте еще несколько вопросов?

— Ну конечно, конечно, Ваше Величество!

Чем больше запрашивал Государь, тем увереннее парировал актер. Жарков не верил своим ушам. Ответ за ответом звучали только взвешенные, классические замечания. Государь интересовался, что в целом важно для шахматиста, и Болеславский уверенно отвечал:

— Что важно? Так ведь сразу и не ответишь, Ваше Величество! Я думаю, важно хорошо провести дебют, середину и эндшпиль. Ну, а если быть серьезным, то, конечно, есть вещи, без которых не обойтись. По-моему, очень и очень значимо отлично ориентироваться в типичных позициях, Ваше Величество. Досконально и обстоятельно анализировать типичные позиции, да, это мое мнение.

— Типичные позиции? — понимающе спрашивал Государь.

— Типичные позиции? — не доверяя собственному слуху, шептал Жарков.

— Типичные позиции! — повторял Болеславский и продолжал: — Комбинационное зрение очень важно.

— Комбинационное зрение?

— Да, Ваше Величество, без него никуда! Очень важно умение найти скрытую в позиции комбинацию. Очень важно! Так же важно, как и после рассчитать сложнейшие варианты, учесть затаенные тактические тонкости, и конечно, чрезвычайно важно избегать досадных ошибок и просмотров.

Государь был удивлен не меньше Жаркова и до конца обеда продолжал задавать вопросы человеку, который, как оказалось, отлично понимал шахматы.

В машине ошарашенный Жарков завалил Болеславского вопросами:

— Александр Сергеевич, вам столько известно о шахматах! Откуда?

— Да ничего мне не известно, — проворчал Болеславский, — я просто актер!

— Просто актер? Вы знаете о шахматах так много!

— Ничего я о них не знаю! Я просто играл, играл, как учили меня мои педагоги! Если бы сегодня я не смог сыграть Лепехина, тогда что же мне, по-вашему, делать на большой сцене?

Жарков замолчал, и до самого вокзала в машине слышалось лишь урчание двигателя. На вокзале же все протекло именно так, как и наметили.

Собравшаяся толпа приветствовала Лепехина. Журналисты делали снимки, и отъезжающие подданные были рады тому, что отправятся в Венгрию в одном поезде с великим русским шахматистом.

Визит к Государю утомил Болеславского. Сбросив костюм, он открыл два чемодана. Идея носить вещи Лепехина принадлежала самому Болеславскому, однако теперь, рассматривая гардероб Алексея Алексеевича, актер немного сожалел:

— Господи! — восклицал Александр Сергеевич. — Как это можно было носить? А это еще что? Кардиган в бело-черную клетку? Как трогательно! Он же женский! Ну и вкус у этого больного!

Время от времени заглядывал Жарков. Учитель интересовался, заучены ли партии и не желает ли господин актер отужинать. Один раз заходил Жирмунский. Запах его мерзкой сигары быстро заполнил все купе, и, ответив на его несколько вопросов, Болеславский тактично попросил следователя убираться ко всем чертям со своей вонючкой.

Уже два часа как поезд стоял на Будапештском вокзале. Лепехин не появлялся. Журналисты норовили заглянуть в купе, но ничего не видели. За опущенными шторками Жарков и Жирмунский пытались вытянуть из Болеславского хотя бы слово.

— Ничего не понимаю, что с ним? — потягивая сигару, хрипел Жирмунский.

— Не знаю, на волнение это не похоже.

— Какое волнение? Он актер! Александр Сергеевич, вы пили?

— Не пахнет вроде,— отвечал Жарков.

— Нужно вставить ему руки в двери! — уверенно сказал Жирмунский. — Это всегда помогает!

— Что вы! — прикрыв ладонью рот, испуганно сказал Жарков. — Как же он будет играть?

— И в самом деле. Тогда клещи в нос! — тяжело дыша от собственной полноты, проговорил Жирмунский.

— Боже вас упаси, господин следователь, какие клещи? Завтра игра!

— Который сейчас час? — вдруг спросил Жирмунский и, не дожидаясь ответа, вытащил из кармана пиджака часы. — Мы уже два часа здесь, нужно выходить.

Болеславского вывели под руки. Журналисты отметили, что русский плохо стоял на ногах и в целом выглядел странно. Запаха алкоголя никто не слышал, но многие сошлись во мнении, что Лепехин пьян. Одни сочли нужным написать об этом, другие решили, что все произошедшее — цирк.

Всю ночь пишущая братия дежурила в атриуме гостиницы. Каждые полчаса один из журналистов отправлялся к метрдотелю в надежде что-нибудь узнать. Старого сурового немца пытались подкупить, однако узнать что-нибудь у картавого старика не удавалось. То, что к Лепехину никто не заходил, как и то, что он уснул только рано утром, пришлось выдумать.

С раннего утра сонные мальчишки не успевали продавать вымыслы. За столиками в кафе и на скамейках в парках, встряхивая страницы, будапештцы читали о приезде великого русского шахматиста и близящемся финале. На первой, второй и третьей полосах, статья за статьей, рассказывалось о Лепехине, о его команде и сильных дебютах, о лучших матчах Магияра и прославленной венгерской защите.

Около девяти часов утра команда России спустилась в ресторан.

Официанты разливали кофе, и молодой переводчик, вероятнее всего, кадет, зачитывал отрывки из утренней прессы:

— Они говорят, Алексей Алексеевич, что вчера вы вовсе не были пьяны, а все произошедшее есть не что иное, как провокация тайной царской полиции. Они пишут, что вы, Алексей Алексеевич, судя по всему, хотели ввести в заблуждение венгерского чемпиона. Но венгры не дураки, утверждает автор статьи, венгры и не собирались расслабляться и уж тем более отдавать вам чемпионский титул.

— А что в другой? — намазывая маслом странный серый хлеб, спрашивал Жарков.

— А в другой пишут, что… Дайте-ка взгляну… пишут, что вся страна живет в ожидании полуденного матча, и конечно, ни у кого нет сомнений, что золотая королева останется в Венгрии. Магияр лучше, пишут они.

Как ни пытались Жарков и Жирмунский изобразить беззаботность, ничего не выходило. Болеславский молчал. За завтраком он так и не заговорил.

Перед тем как открылась дверь автомобиля, Жарков успел перекрестить Болеславского и поцеловать в лоб. Актер удивленно посмотрел на учителя, но ничего не ответил.

Живая цепь тянулась через сад к театру. Окруженный со всех сторон помощниками, Болеславский через гущу людей пробирался к входу в большое, с высокими колоннами здание. Жарков придерживал его за поясницу и, немного подталкивая вперед, шептал:

— Дальше, Алексей Алексеевич… не останавливайтесь, дальше, ступайте дальше.

Болеславский делал вид, что не помнил, как вышел из гостиницы, не помнил красивых улиц Буды и остававшегося по правую руку перекинувшегося через Дунай моста.

Не помнил холмов Пешта и машины, в которой ехал к месту поединка. Он будто бы не видел взглядов и не слышал слов, что все утро говорили ему о нем.

Александр Сергеевич блестяще изображал, что не может вспомнить дверей и лестниц, комнаты, в которой провел не меньше часа, и коридор, которым шел к сцене.

Появился венгр. В стороны разлетелся занавес. Ударил свет. Волнами покатили аплодисменты. Лепехин посмотрел на черную пешку, и ему показа-

лась, что она затряслась. За несколько мгновений Алексей Алексеевич прокрутил партию до двенадцатого хода. Когда настал момент брать слона, зал замер… Болеславский пришел в себя.

Послу России позволили сделать почетный первый ход.

— С вашего позволения, — произнес чиновник, наклоняясь к Лепехину, и передвинул пешку на d4. Болеславский понимающе улыбнулся и, когда посол спускался в зал, вернув пешку на исходную позицию, сделал свой ход, e2—e4.

Партия началась. Венгр ответил пешкой на e5, и его ход тут же отобразился на большой доске, по которой зрители следили за игрой. Последовали обоюдные выдвижения коней. Играли медленно. Точно и верно. Болеславский нервничал и, едва заметно шевеля губами, приложив руки к щекам, мучительно вспоминал каждый шаг.

К десятому ходу Магияр ощущал сильное давление в центре. Как и предполагал сценарий, Лепехин оттягивал наступление. До судьбоносного выдвижения туры оставалось несколько ходов…

Овладевавшее Магияром волнение заливало зал. Как опытный, повидавший тысячи сцен актер, Болеславский чувствовал это. Александр Сергеевич отлично изучил партии Лепехина, прекрасно понял их, пропустил через себя и принял. Он делал все точно так, как завещал Лепехин, однако внезапно им завладело дьявольское искушение. Вот уже несколько минут Болеславского изводила мысль, что он может сыграть свою, свою собственную партию. С дебютом Лепехина он, в общем-то, был согласен, но далее Болеславскому захотелось пойти другим, своим собственным путем. Быть может, несколько потеряв темп и отдав инициативу, но в целом контролируя игру, он желал закончить поединок сам. Когда еще выпадет такой шанс? Ему так захотелось сделать блистательный, один-единственный волшебный ход. Ход, который вмиг перечеркнет все планы венгра и напишет имя нового чемпиона!

Болеславский медлил. Зал ожидал хода русского шахматиста, и в это самое время два начала сражались в одном человеке: шахматное и актерское. Будучи персоной в высшей степени азартной, Александр Сергеевич понимал, что судьба дарит ему шанс, которым глупо было бы не воспользоваться. Здесь и сейчас, на сцене будапештского театра, он мог не играть Лепехина, но стать им. Он мог ходить так, как посчитает нужным, и никто не посмеет ему помешать. Болеславский, как ему казалось, все отлично просчитал. Лепехин сделал хороший задел, говорил он себе, а я доведу партию до конца. Я обыграю Магияра! Я, а не покойный Лепехин! Все будут думать, что Алексей Алексеевич выиграл золотую королеву, но, приходя на мои спектакли, Жарков будет аплодировать в первую очередь великому шахматисту и лишь затем актеру! Мне он будет рукоплескать! Эта победа станет моей маленькой великой тайной! Меня запомнят как великого актера — я же стану великим шахматистом! Прямо сейчас!

Венгр сделал ожидаемый ход, однако Болеславский медлил. Жарков нервничал. С каждым ходом его волнение нарастало. До этого момента Болеславский делал все правильно, и Жарков даже подумал, что Александр Сергеевич обладает отличной памятью, однако теперь, когда актер медлил по непонятной причине, тренер терял рассудок. Около семи минут Болеславский чего-то ждал, и тысячи самых неприятных мыслей крутились в голове тренера, тысячи, но Михаил Иванович и представить себе не мог, что все это время

Болеславский обдумывал свой собственный ход. У актера не было никаких проблем с тем, чтобы запомнить сорок шесть победных передвижений фигур или двести партий в сорок ходов. Нет, теперь его волновало совсем другое: имеет ли он право на свой, на один-единственный, принадлежавший ему, ход? Имеет ли он право подвести страну? Болеславский не сомневался в том, что его партия будет не хуже. «Конечно, — думал он, — Россия еще будет мной гордиться!»

«Неужели он забыл ход? — продолжал размышлять Жарков. — Неужели теперь все пойдет не так? Что с ним? Не хочет играть? Расклеился? Что, если он встанет и скажет, что все это — цирк?»

Наконец Болеславский передвинул фигуру. Его ход заставил Жаркова ужаснуться. Он почувствовал, как что-то кольнуло в области сердца. Жарков тяжело задышал. Венгр задумался. Магияр просчитывал десятки ходов, но этот, этот странный ход, пожалуй, в последнюю очередь. Да нет, конечно, нет, Магияр и думать не думал о таком шаге! Внезапно изменяя тактику, русский явно терял темп и ослаблял правый фланг. Магияр стал просчитывать партию в новом контексте, надеясь раскрыть замысел соперника, но… «Какого черта? Чего он добивается? — думал Магияр. — Его ход совершенно ничем, ничем не оправдан! Что он делает? Назад? Той же фигурой? Странно…»

Чтобы лучше понять логику Лепехина, венгр сделал еще один запланированный ход. Русский ответил. Еще более странно! Магияр сильно потел, и, подобно ему, Жарков протирал в мгновенье ставший мокрым лоб. Трясущимися руками Магияр передвинул фигуру… Последовал малообещающий для белых размен…

Болеславский просчитался.

Просчитался фатально…

Он понял это, получив «вилку» от выдвинутой Магияром пешки.

«Господи, просмотрел! Господи, прости меня, прости меня, дурака!» — заорал про себя Болеславский. Еще несколько ходов он держался, как мог держаться хороший игрок, но потом…

О наступлении более не могло идти и речи. Венгр перехватил инициативу, а это означало, что исход партии предрешен. Болеславский не рассчитал своих сил и в несколько ходов растерял нажитое многолетним кропотливым трудом преимущество Лепехина.

Магияр не знал, что вторую половину встречи сражался не против знаменитого, блестяще игравшего в обороне Лепехина, а против актера из Санкт-Петербурга Александра Сергеевича Болеславского. Если бы венгр знал, что против него сидит человек, который за всю жизнь сыграл не более полусотни добротных любительских партий, — игрок, который, как и многие другие непрофессионалы, переоценивал свои силы, наверняка повел бы себя иначе. Магияр бросился бы в открытое, издевательское наступление. Но он не знал. Он видел перед собой соперника, которого уважал, более того, которого боялся. Две совершенно необъяснимые ошибки, которые несколькими минутами раньше допустил Лепехин, конечно, мучили венгра. Он знал Лепехина, несколько лет следил за его игрой, изучал партию за партией. Магияр восхищался игрой Лепехина и теперь, когда сознавал, что не может ничего просчитать, что партия выиграна, сходил с ума. Все шло к тому, что русские будут разгромлены, и черные не могли в это поверить.

«Может ли такое быть?» — спрашивал у фигур Магияр.

Что вы делаете, белые? Может ли ваш бог, ваш повелитель, допустить две ничем не мотивированные грубейшие ошибки? Он ведь никогда, никогда раньше не ошибался!

Магияр до такой степени уважал Лепехина, что, играя черными, чувствовал себя князем тьмы. В один момент ему даже показалось, что сам дьявол играет его рукой и только поэтому он обыгрывает великого, великого без преувеличений Лепехина.

«Нет, нет, я отказываюсь в это верить! — шептал венгр. — Нет, здесь что-то не так! Наверно, он просто издевается надо мной! Я чего-то не вижу и не могу, не могу увидеть, я не могу собраться, а он заманивает меня в пропасть. За такими ошибками не могут стоять просто просмотры! Нет! Он мучает меня! Смеется! Смеется надо мной! Лепехин не мог проглядеть этот ход! Не мог! Он что-то задумал! Наверно, все видят. Весь зал сейчас смеется надо мной, они думают, что я попался на крючок, но, чертов русский, я не вижу, не вижу, не вижу подвоха…»

Венгр упал в обморок. К шахматисту подбежали врачи. Жарков подскочил с места и рванул к сцене. Туда, где уже стоял секундант.

Болеславский вдруг понял, что может одержать победу. Время не останавливали. Он смотрел на то, как венгра приводили в чувство, и решил, что нужно собраться, нужно помыслить и во что бы то ни стало оставаться трезвым. До конца.

«Вот бежит Жарков, он все расскажет, он поможет, — думал Болеславский. — Он скажет то, что нужно, Модзалевскому, а Модзалевский передаст мне».

Педагог вскочил на сцену, оттолкнул секунданта и, оттащив Болеславского в глубь сцены, зашипел:

— Что вы делаете? Вы забыли ходы? Александр Сергеевич? Это провал, партию не вытянуть! Только если свести к пату. Что вы наделали? Зачем вы пошли на размен? Вы ведь не сможете сделать пат, да? Там нужно столько считать!

Жарков задавал десятки вопросов и судорожно, на каком-то клочке бумаги пытался рассказать Болеславскому о сотне ходов.

— Я не запомню!

— Запомните! Он будет прорывать диагональ, это смертельно для вас! Уводите влево. Нагнетайте клетку! Слышите меня? Вот эту клетку! Это последний шанс продавить его! Вот этот ход, затем дама, понимаете? У вас есть шанс всего на одну контратаку! G5 на G6, он ответит! Точно! Затем даму сюда, в сторону, по всей горизонтали. Александр Сергеевич, вы слышите?

Но Болеславский уже ничего не слышал. Он надеялся только на то, что венгр не придет в себя. На то, что матч не перенесут, а даже если и перенесут, то это будет потом, потом, потом, как околдованный, шептал он. То будет совсем другая игра…

Болеславский смотрел на людей, которые крутились вокруг Магияра. Смотрел на докторов, помощников и секундантов, смотрел и молил затолкать венгра, забить его до смерти, заговорить, унести, черт, сделать все что угодно, только бы он не вернулся к доске…

Но венгр поднимался. Этот крупный, загорелый, с золотистыми волосами парень вставал. Обращаясь к своему тренеру, он что-то спрашивал. Подходил к столу и продолжал говорить с секундантом. Даже сидя перед доской, он поворачивался к тренеру и постоянно повторял несколько странно звучащих венгерских слов.

О чем он спрашивал? Болеславский не мог понять чужого языка, но видел, что черные растеряны не менее, чем белые. Знай Александр Сергеевич венгерский, он без труда бы понял вопрошания Магияра:

— Скажите, что русский ничего не задумал! Он ведь ничего не замыслил, правда? Тренер! Я ведь выигрываю, да? Это не провал? Я выигрываю? Я ведь все просчитал!

Тренер и секундант венгерской команды кивали. Партия возобновлялась. Расстроенный тем, что соперник вернулся, Болеславский решал сдаваться, а Магияр решался играть. «Играть так играть», — говорил он себе и словно ветер вздыхал над доской. «Если русский и в этой ситуации сможет меня одолеть, я покончу с шахматами, я брошусь с моста!»

Сделав очередной ход, Болеславский вдруг услышал, как зал провалился в тишину. Спокойную и глубокую. Она овладевала всем будапештским дворцом.

Словно выстукивая дробь, Жарков забарабанил пальцами по губам. Он что-то говорил переводчику, и тот как-то странно, неестественно качал головой. «Наверно, сейчас мне поставят мат», — подумал Болеславский и закрыл глаза.

Ну а Жарков в это время задыхался от восторга, его руки тряслись. Откровением стала Игра актера. Многоходовка, которую неожиданно провел Болеславский, завораживала красотой. Это было нечто феноменальное… нечто… нечто не из мира шахмат. Что-то прекрасное, прекрасное, как юное, твердое тело, как флирт с замужней знатной женщиной. Свежее и обвораживающее, как вечерний зефир.

Жаркова, как и всех присутствующих в зале, в одно мгновенье озарило. «Вот сейчас Лепехин двинет даму, — думали все, — и все… мат в три хода!!!»

Жарков умирал. Он не мог поверить в то, что всего за несколько дней его новый ученик смог превзойти прежнего. Нет, Леша, конечно, был очень и очень талантливым, но этот… Ему стоит только двинуть даму! Он обманул нас всех! Взять и походить!

Весь зал теперь ждал одного лишь движения. Бледной даме следовало всего-навсего перескочить через клетку. Словно юной, влюбленной девушке, ей предстояло приподнять юбку и скакнуть в центр доски. Те из присутствующих, кто смог просчитать этот ход, против всех правил собирались аплодировать. Ни о каком пате не могло быть и речи. Лепехин побеждал, побеждал блестяще и издевательски. Подарив сопернику надежду, надеждой он убивал его и теперь. Осознавая это, Жарков обещал себе выпить литр водки! Нет, два!

Когда Лепехин сделал ход ладьей, Жарков, словно набитый картошкой мешок, повалился на пол. Зал охнул. Болеславский не увидел победы. Люди способны совершать чудо, но чудом было уже то, что он не проиграл к этому ходу. Нацелившись на свою комбинацию, шахматист-любитель проглядел мат. Александр Сергеевич не только упустил победу, но и сделал очень слабый ход. Венгр был вынужден признать: русский сделал худший шаг в своей жизни.

Спустя три хода Болеславскому все еще казалось, что партию можно спасти, но так только казалось. Уже на следующем ходу венгр поставил мат. Болеславский взялся за фигуру, чтобы перенести ее на другую клетку, но в это время в зале раздались аплодисменты. Венгр протянул руку. «Плохо», — подумал актер.

Болеславский не помнил, как выходил из зала. Не помнил, как шагал по длинным коридорам и большим, широким ступеням.

Александр Сергеевич в самом деле не помнил мостов и улиц Буды, не помнил лифта в гостинице, своего номера и подоконника, сидя на котором, он смотрел на вечерний Будапешт, которого он не помнил.

Уже не актер, но просто человек, не помнил и не хотел помнить, как в комнату заходил Жарков, как он кричал и хватался за голову:

— Что вы наделали? Вы же нас всех похоронили! Что же вы наделали? Как вы могли? Как вы смели?! Вас взяли не для того, чтобы вы выдумывали свои ходы! С чего вы взяли, будто что-то знаете о шахматах? Как вам пришло это в голову? Этот маневр с турой! Кто вас этому научил? Почему вы не поставили ему мат?

— А что, я мог?

— Какого черта вы устроили этот размен? С чего вам вообще это в голову взбрело? Что на вас нашло? Чем вы думали, Александр Сергеевич?

— Что вы так кричите? — безразлично отвечал Болеславский. — Теперь ничего не поправить…

Разглядывая кареты и платья будапештцев, Болеславский вдруг понял, как красиво складывается его смерть.

Девушка пела в церковном хоре. Арлекины затачивали деревянные мечи, и северный ветер срывал выданные фуражки. Гудели паровозы. Мальчишки, чумазые продавцы новостей, весело выкрикивали последние новости.

Взявшись за каштановые подтяжки, директор вокзала смотрел на платформу через большое пыльное окно и весело разговаривал со стариком:

— А?! Видал? Ну, что я тебе говорил! Вот, читай, пожалуйста! Узнав о самоубийстве великого русского шахматиста Лепехина, известный русский актер Болеславский покончил жизнь самоубийством! Вот до чего доводят твои шахматы!

Пешка

Во время полета Гаспаров как всегда читал книгу. Все знали, что гроссмейстера не стоит отвлекать, и лишь назойливый стюард несколько раз беспокоил великого русского шахматиста с одним и тем же предложением:

— Господин Гаспаров, не согласитесь ли сыграть со мной партию?

— Нет, спасибо, я бы хотел немного почитать.

— Я бы обыграл вас!

— Надеюсь, вам еще представится такой шанс.

— Не сомневаюсь, — с улыбкой отвечал стюард и уходил в кабину пилота.

Дождь шел второй день кряду. Словно по расписанию гремел гром, и в считаных сантиметрах от небоскребов сверкали молнии.

Рейс задержался всего на несколько минут. К вечеру погода ухудшилась, и оккупировавшие аэропорт папарацци своими глазами видели, как во время посадки сильный боковой ветер буквально сдувал самолет с полосы. Лишь благодаря хладнокровию и опыту главного пилота удалось усмирить огромную железную птицу.

Журналисты прекрасно знали — Гаспаров боится летать. Каждому хотелось увидеть и, по возможности, лично сфотографировать испуганного гроссмейстера, однако сделать провокационные снимки не удалось. К большому сожалению пишущей братии, Гаспаров не появился. Спустя час стало понятно — звезде удалось увильнуть.

Один за другим (все как один в новых японских майках, в повязанных по последней моде шарфах) акулы пера прыгали в черные редакционные джипы. Колонной большие машины мчались в город. Туда, где в лучшей гостинице Нью-Йорка был зарезервирован президентский номер. Журналисты, молодые и опытные, делали наброски статей прямо в машинах, а в это время, обманув всех, Гаспаров ужинал в обычной американской закусочной. Местная публика, состоявшая в основном из водителей трейлеров и трех официанток, вряд ли могла распознать в человеке скромной наружности великого шахматиста. В самый роскошный номер Нью-Йорка вносили холодные деликатесы, а Гаспаров заказывал чизбургер с красным луком, большую порцию жареного картофеля и стакан самой вкусной на свете холодной колы. Команда покупала то же самое, и через несколько минут шестеро русских с большим удовольствием общались:

— Саша, там, рядом с вами, «Пост» и «Таймс». Не взглянете, что пишут?

— Секундочку… Так-с… Так, посмотрим… Вот нашел, пишут, что уже сегодня величайший шахматист всех времен приземлится в Нью-Йорке и займет лучший его номер, в котором… так, тут дальше описаны прелести номера, в котором всем нам посчастливится жить… так-с… значит, говорится, что сейчас Гаспаров находится в феноменальной игровой форме, что подтвердил прошедший чемпионат мира, на котором русский шахматист буквально уничтожил своих соперников, что… так… дальше не интересно… так… однако замечает автор статьи, машина, которой предстоит сыграть против Гаспарова, не в пример сильней той, которую он с легкостью обыграл в прошлом году. Разработчики настаивают на том, что компьютер, с которым Гаспарову доведется сразиться уже в воскресенье, готов удивить русского гения своим пониманием игры. Некий Стив Паркер, один из программистов, работавших над проектом, уверяет, что машина научилась по-настоящему анализировать и, натурально, непобедима…

— Непобедима! Нет, вы слышали?! Они думают, что какой-то кусок железа может обыграть великого чемпиона! Чепуха! Кстати, у всех такой вкусный соус или только у меня? Что это?

— Это сладкая горчица, Анни.

В тот дождливый вечер, сидя в заштатной американской забегаловке, члены команды Гаспарова в последний раз позволяли себя смеяться. Впереди был матч века. Всего несколько тренировок, бессмысленный перелет в Вашингтон, визит к Президенту, возвращение в Нью-Йорк, участие в знаменитом теле-шоу, и все. Игра. Гаспарова ожидал изнурительный шестиматчевый поединок с самым умным компьютером на планете. Матч который раз и навсегда должен был расставить точки над «i». Какой тут смех? Тренировки и только тренировки…

Уже следующим утром на лицах шестерки не было и следа прошедшего беззаботного вечера. Ровно в десять часов утра, несмотря на разницу во времени и долгий изнурительный перелет, члены команды садились за ноутбуки. Комнату наполнял запах американского крепкого кофе и еще не успевшего выветриться, крепкого, как кофе, сна. Хрустя горячим хлебом, каждый теперь занимался своим и в то же время общим делом.

Уже несколько месяцев Анни и его команда начинали день именно так. Кофе, компьютеры, джем. Сонные глаза, нечищеные зубы. Тренировочные игры и четыреста граммов шоколада. Каждый день, сразу после самого полезного для человеческого воображения утреннего сна, когда мозг наполнен миллионами образов, Гаспаров садился к компьютеру. Без колебаний и раздумий

он начинал новую партию, и всякий раз один из членов команды специально отвлекал его:

— Слабак! Что ты мучаешься?! Тебе все равно не победить компьютер! Машина не ошибается! Лучше скажи, что сегодня будешь спрашивать у Президента Америки?

— Не мешай! Спрошу, правда ли, что на платье секретарши остались пятна?!

— Хороший вопрос! Достойный русского чемпиона! Кстати, ход, который вы, господин Гаспаров, собираетесь сделать, вряд ли принесет вам ожидаемые дивиденды. Вы ведь собираетесь ходить конем?

— Совсем нет. Я собираюсь двинуть пешку.

— Пешку? Какой смысл, он все равно ее не станет брать!

— Человек бы не стал, а компьютер станет! Я в этом нисколько не сомневаюсь. Давайте проверим. Я уверен, что в этой позиции в ста случаях из ста машина возьмет фигуру. В ста из ста! Это же не человек! Ему кажется, что в этой ситуации он получит преимущество, но в позиции проиграет.

— Давай-ка проверим.

— Съест, съест! — вдруг слышалось из другого конца гостиной. — Я уже проверял, — добавлял тренер и просил кого-нибудь подлить ему чаю.

Гаспаров дважды щелкал мышкой, и словно по веленью волшебной палочки, фигура двигалась вперед. Компьютер брал время на размышление, начинал гудеть вентилятор, и все возвращалось в привычное русло:

— Я сейчас проиграю партию до этого хода на своем компьютере, но уверен, что мой есть не станет!

— Станет! — вновь заговаривал тренер. — Мы уже и на твоем играли.

Через мгновенье машина действительно брала пешку, и команда, будто бы единым ртом, облегченно вздыхала. Подобную позицию имитировали еще с десяток раз, и симулятор не изменял себе. Всякий раз машина не отказывалась от предложенного ей лакомства, что, несомненно, вселяло надежду. Ни Гаспаров, ни секунданты не знали силы нового соперника, но в том, что он будет мыслить в духе своих алюминиевых собратьев, сомневаться не приходилось. Именно уверенная игра в позиции и должна была стать залогом успеха русского чемпиона. Пытаться просчитать компьютер означало заранее поставить подпись под собственным самоубийством. В отличие от человека, компьютер не ошибался. Компьютер не хандрил и не волновался. Единственным слабым местом машины была неспособность понимать игру. Симулятор мог просчитать миллионы комбинаций, но, обделенный душой, был не в силах понимать действительную диспозицию игры.

Именно это Гаспаров и пытался донести первому лицу Соединенных Штатов Америки:

— Да, господин Президент, я твердо убежден в том, что компьютер не может думать.

— Значит, вы уверены в том, что сможете обыграть «Нью Кинг»?

— Думаю, да, господин Президент.

— Но как? Машина ведь может просчитать все ходы на доске!

— Просчитать да, но вот до конца понять, что на ней происходит… вряд ли! Позвольте, я приведу Вам один пример, господин Президент. Возможно, он будет не совсем корректным с точки зрения науки, но все же… В статье Тьюринга «Могут ли машины мыслить» есть отличный пример на эту тему. Вы случайно не знакомы с этой статьей?

— К сожалению, нет.

— Ну и не важно. В этой замечательной статье Тьюринг действительно рассуждает о том, может ли машина мыслить. И вот на одной из страниц своей работы он приводит следующий пример. Боюсь, что я вряд ли смогу воспроизвести его в точности, но суть такова: машины всегда, снова и снова выполняют некоторую последовательность операций до тех пор, пока не выполнено определенное условие.

— Как-то это слишком завернуто.

— Не волнуйтесь, сейчас все поймете. Каждое утро мама хочет, чтобы по дороге в школу ее сын заходил к сапожнику для того, чтобы справиться, не готовы ли ее туфли. Она может каждое утро снова и снова просить его об этом, а может однажды раз и навсегда повесить в прихожей записку. Так как ее сын — компьютер, он будет ходить к сапожнику каждый день, и лишь когда он принесет туфли, мать разорвет записку. Понимаете?

— Пока не очень…

— Так вот, в моем случае совершенно бесполезно отговаривать мальчика не ходить в школу. Бесполезно просить не заходить к сапожнику и, в конце концов, не приносить маме туфли. В этом я его не переиграю. Он всегда принесет туфли, даже если случится третья мировая война.

— Тогда как же вы собираетесь его победить?

— Отрубить маме ноги.

— Вот как?!

— Да, хотя и этого может быть недостаточно. Хорошо бы маму вовсе убить.

— Мне кажется, я начинаю вас понимать…

— Надеюсь, господин Президент.

Президент показывал Гаспарову Овальный кабинет, и русский шахматист рассказывал о том, как собирается обыгрывать машину. О том, что «Нью Кинг», как и другие компьютеры, будет мыслить заданными траекториями, и цель Гаспарова привнести немного хаоса и волшебства в мир ячеек, единиц и нулей.

«В общем-то, не случится ничего плохого, если этот русский проиграет Пинтелу», — подумал президент.

«Он вполне приятный человек. Думаю, он несильно расстроится, если я разнесу в пух и прах его американскую мечту», — думал Гаспаров.

Каждый человек, будь то Папа Римский или премьер-министр Великобритании, считал своим долгом сыграть с Гаспаровым хотя бы одну партию. Куда бы ни приезжал шахматист, в очередной королевский дворец или самую убогую на свете тюрьму, перед ним выкладывали доску и расставляли фигуры. Десятки, десятки тысяч партий с самыми посредственными и важными игроками планеты. Послы и депутаты, космонавты и священники, спортсмены и режиссеры — все мечтали поставить лучшему на свете шахматисту мат. Они делали предсказуемые ходы, и, разглядывая их идеально отглаженные воротники, расстроенный Гаспаров отдавал фигуру за фигурой. Он дарил людям надежду, и когда организаторы встречи намекали на то, что пора бы заканчивать, тремя ходами отбирал ее. Анни избегал играть с любителями, но если положение обязывало, никогда не проигрывал. Начал играть — побеждай, повторял он.

Выставочные игры, как правило, не откладывались в его голове. Если быть до конца откровенным, Анни не помнил и пяти процентов людей, с которыми играл. Временами, в том или ином старом журнале, он находил заметку

вроде: «Повержен очередной Президент». В таких случаях шахматист обращался за помощью к своим секундантам:

— Миш, я что, правда играл с Президентом Венесуэлы?

— Да, Анни.

— И как сыграли?

— Полтора на полтора, — шутил друг.

Из множества бесполезных партий Гаспаров навсегда запомнил только одну. Это случилось во Франции. По приглашению общины русских эмигрантов Гаспаров приехал в Ниццу. Заканчивалось лето, и морской воздух был особенно ласков. Играли на улице. У воды.

Соперником великого гроссмейстера стал старый русский актер. Ему было около девяноста лет, и поначалу Анни согласился играть исключительно из уважения к пожилому человеку, однако когда игроки сделали с десяток ходов, о всякой вежливости пришлось позабыть. Старик играл блестяще. Он двигал фигуры трясущимися руками, но оттого его ходы не становились слабыми. Вплоть до самого конца партии, когда на доске осталось всего несколько фигур, пожилой соперник прекрасно ориентировался в ситуации и ни в чем не уступал великому шахматисту. Лишь после пятьдесят четвертого хода белые допустили ошибку. Результат был предрешен. Гаспарову оставалось сделать всего несколько ходов. Он просто не мог не воспользоваться таким подарком. Белые просчитались.

Однако за время партии соперник вызвал к себе такое уважение, что Гаспаров впервые в жизни решил свести партию вничью. В этом поступке не было никакой бравады и бахвальства. Нет. Гаспаров просто-напросто искренне посчитал, что для него будет большой честью сыграть вничью с этим пожилым господином. Всю партию он с наслаждением наблюдал за остроумными ходами оппонента и в ее конце был готов первым предложить ничью.

Спустя несколько мгновений Гаспаров специально сделал скрытый от соперника, но в то же время весьма и весьма посредственный ход. Каково же было его удивление, когда через минуту старик оторвал от доски взгляд и недовольно проворчал:

— Это что же вы такое делаете? Ваш ход совершенно нелогичен! Считаете меня дураком? Послушайте, я действительно допустил ошибку. Да, я просчитался, и этот ход погубит меня, однако это не дает вам права придуриваться!

— Что вы имеете в виду?

— Какого черта вы сделали этот дурацкий ход? К чему это лишнее, бесполезное движение? Вы что же думаете, если я ошибся, то вам позволено издеваться надо мной? Немедленно переходите! Я требую!

— Это против правил!

— К черту правила, когда речь идет о чести!

— Успокойтесь! Прошу вас, успокойтесь!

— Экий сопляк! Тоже мне…

— Послушайте! Я виноват, я действительно специально сделал слабый ход. Но в этом нет моей вины. Признаться, ваша игра настолько впечатлила меня, что я бы хотел закончить ее вничью…

— К черту вашу ничью! К черту! Не для того я прожил столько лет, чтобы в конце жизни играть вничью со всякими молокососами!

— Но я ведь выиграю…

— Отлично! Выиграете так выиграете! Никто от этого не умрет! Тоже мне, гусар нашелся! Иногда лучше с гордостью проиграть, чем принять подачку от соперника!

Гаспаров был полностью согласен с пожилым оппонентом и, оттянув финал, сделал поражение старого шахматиста особенно мучительным. Он мог бы просто поставить мат, но раз старик хотел, то Гаспаров просто обязан был напрячься. Спустя полчаса, когда смертельно раненый белый король лег на доску, радостный старик вновь заговорил:

— Голубчик, вы могли бы поставить мат гораздо раньше. Ведь так?

— Так точно…

— Тогда для чего же вы устроили весь этот цирк с разносом бедного старика?

— Мне показалось, что вы хотели умереть с высоко поднятой головой. Ваши слова открыли мне глаза. Вы были так рассержены, и я понял, что напоминающий инфаркт мат вам не подходит. Человек ваших кровей должен остаться с одним королем. Пришлось повременить…

— Вы опозорите меня перед местными девочками. Они уверены, что я играю лучше всех на Лазурном берегу.

— Смею надеяться, что ваши, как вы выразились, девочки завтра и не вспомнят о моем визите.

— Что правда, то правда! Старухи совсем выжили из ума! Ну да ладно, пойдемте пить чай!

— С большим удовольствием…

«Если бы все любительские партии были таковыми, — думал Гаспаров, — возможно, я был бы куда более счастливым человеком». Но нет. Куда как чаще приходилось играть с плохими шахматистами и с очень плохими людьми. Они не только допускали детские ошибки, но всякий раз добавляли к ним совершенно идиотские замечания.

«Узнать бы, как там сейчас этот старик», — думал Гаспаров, возвращаясь на частном самолете из Вашингтона в Нью-Йорк.

Дождь не заканчивался. Словно по расписанию гремел гром, и в считаных сантиметрах от небоскребов сверкали молнии. К вечеру погода ухудшилась, и вновь оккупировавшие аэропорт папарацци своими глазами видели, как во время посадки сильный боковой ветер буквально сдувал самолет с полосы. Лишь благодаря хладнокровию и опыту главного пилота маленького птенца удалось усадить.

К тому времени собравшиеся в аэропорту журналисты уже знали, что Президент Америки обыгран с крупным счетом. Что Гаспаров подарил главе государства какую-то особенную пешку и что он жутко боится летать. Каждому приехавшему в аэропорт хотелось своими глазами увидеть испуганного гроссмейстера, однако в очередной раз русскому шпиону удалось ускользнуть.

Один за другим акулы пера прыгали в черные редакционные джипы. Колонной большие машины мчались за город. Туда, где в самой обычной забегаловке подавали чизбургеры с красным луком, пережаренную картошку и разъедавшую зубы колу. И молодые, и многоопытные журналисты делали наброски статей прямо в машинах, а в это время, в который раз обманув всех, закинув ноги на кресло 19-го века, Гаспаров запивал красным вином плавленый пармезан. Когда в придорожный ресторанчик заваливалось около двадцати фоторепортеров, местная публика, состоявшая в основном из водителей трейлеров и трех официанток, не сразу понимала, что происходит. Водители молча смотрели на одетых как женщины мужчин, и пожилые официантки продолжали подливать молоко в кофе. Будь журналисты в тот вечер не так озадачены поимкой Гаспарова, они бы обязательно отметили, что кофе не

переливался через края, но они не замечали и, наскоро запрыгнув в редакционные джипы, мчались в Нью-Йорк, туда, где в самом дорогом номере города отдыхал лучший в мире шахматист.

Наступало утро, и Гаспаров садился за компьютер. Секунданты только разливали кофе, а он уже заканчивал первую тренировочную партию. Теперь он не хотел во что бы то ни стало обыгрывать симулятор. Нет. Задача заключалась в другом. На данной стадии тренировок гораздо важнее было поставить машину в тупик. Немного волшебства и чуда. Немного сломанных ног. Вот чего хотел Гаспаров. Заставить процессор зависнуть и против человеческой воли перезагрузиться. Сделать ход, который лежит вне границ понимания машины. Двинуть пешку рукой из другой галактики. Прорубить в ней дыру.

В чашке заканчивался кофе, со стола пропадал горячий хлеб и, взявшись обеими руками за голову, силой фантастической игровой фантазии Гаспаров продолжал ломать собственный компьютер. Он не хотел выигрывать, не хотел ставить шах и тем более мат, с новым соперником этого было бы слишком мало. Анни старался предложить компьютеру такие условия, в которых он не сможет работать. Гаспаров старался сделать так, чтобы уже к середине игры машина медленно сходила с ума. Он понимал, что так и только так ему удастся победить «Нью Кинг».

Вопреки тому, что писали в газетах, ни раньше, ни тем более теперь Анни не боялся играть с машиной. Его нисколько не пугало ни то, что у «железки» нет эмоций, ни тем более то, что у нее нет психики. Не одно так другое, любил повторять Гаспаров. Машина — прежде всего соперник, а у всякого соперника есть сильные и слабые стороны. Программа умела превосходно просчитывать ходы, но не анализировать позиции, а значит, с ней всегда можно было соперничать. Да, конечно, играть с человеком было бы гораздо проще. Партии любого соперника можно было изучить. В конце концов, любой садящийся за доску шахматист знал бы, что играет против непобедимого Гаспарова. С машиной все обстояло иначе. Банально, начиная с того, что она не знала Гаспарова. «Нью Кинг» готовили к встрече именно с русским гением, но представить соперников друг другу так и не удосужились. Как результат, Гаспаров мог лишь догадываться о силе своего нового соперника. Даже несмотря на то, что «Нью Кинг» не провел ни одной показательной партии, о многом можно было говорить с большой долей вероятности. Несомненными достоинствами оппонента были абсолютное хладнокровие и точность, сдержанность и обстоятельность. Ясно было и то, что компьютер стал умнее. Ошибки годичной давности были исправлены, а в мире компьютерных шахмат выправление погрешностей было и оставалось едва ли не главным залогом успеха.

Впрочем, все вышеперечисленные преимущества вряд ли ставили компьютер в ранг фаворита матча, ведь «Нью Кинг» был лишен самого главного оружия шахматиста — сердца. Даже самую умную на свете вычислительную машину можно было водить за алюминиевый нос, и в этом, по мнению Анни, и заключалась прелесть современных шахмат.

Он никогда не понимал людей, которые считали, что с компьютером не стоит играть. Напротив, Гаспаров всегда и с большим удовольствием соглашался на различные шахматные эксперименты, будь то какой-нибудь извращенный сеанс одновременной игры или поединок с новым компьютером. Для Анни машина становилась очень и очень увлекательным соперником, со своими слабыми и сильными сторонами. С учетом же того, что к тому

моменту на земном шаре не было человека, способного на равных сражаться с русским чемпионом, Анни принимал вызов компьютера с большим интересом.

Первая пресс-конференция состоялась во вторник вечером. Большой лекционный зал университета был забит не только журналистами и операторами, но и известными шахматистами. Многих из них Гаспаров с легкостью обыграл несколько месяцев назад. К началу пресс-конференции количество находившихся в зале шахматистов даже удивило Анни:

— Саша, Миша, вы видите, кто в зале? Арананд, Сигурдсон, Тодоров! Что все эти люди делают здесь? С какой стати они потащились через океан?

— Анни, что здесь такого? Так же, как и все увлекающиеся шахматами люди, они испытывают огромный интерес к предстоящему поединку. Что здесь странного?

— Смотрели бы по телевизору…

— Я думаю, их всех специально пригласили сюда.

— Вот именно, чтобы они изъедали меня своими завистливыми взглядами!

— Перестань! То, что ты самый сильный шахматист на планете, ни у кого не вызывает сомнения. Тем более у них. Они хоть и твои извечные соперники, но прекрасно понимают, что на данный момент совершенно не могут с тобой тягаться. Более того, я нисколько не сомневаюсь в том, что здесь каждый из них будет болеть именно за тебя. Ты же сам прекрасно понимаешь, что победа машины станет огромным потрясением не только для шахматного мира, но и для всего человечества.

— Победа машины? Вы о чем это говорите? Вам втайне от меня удалось сделать еще какой-нибудь компьютер? Или, быть может, вы пошли на сделку с дьяволом?

— Боюсь, что одного дьявола для победы над тобой будет недостаточно, но дело действительно серьезное, и ты ни в коем случае не должен расслабляться!

— Я и не расслабляюсь!

— Анни! Послушай меня, если бы против тебя играл просто дьявол, все было бы понятно, но против тебя играет целая корпорация. Это куда хуже…

— Ладно, ладно тебе.

Молодая, но весьма амбициозная компьютерная компания в самом деле жаждала победы над Гаспаровым. Это декларировали и ее владельцы, и разработчики «Нью Кинга». На многочисленных пресс-конференциях, в эфирах популярных телешоу и в радиоэфирах создатели программы не уставали убеждать американскую публику в том, что эра человеческих шахмат закончилась. Наступило время компьютера. Если с тем, что наступило время машины, Гаспаров так и не согласился, то вот над первым утверждением он задумывался еще много лет назад…

— Мы сделали большой шаг вперед, — говорил Стив Паркер, — «Нью Кинг» — это не просто тренажер для начинающих шахматистов, «Нью Кинг» — это совершенная, непобедимая программа! Вы спросите меня: будет ли Гаспарову очень и очень тяжело против нее? Нет! Я отвечу вам — нет! Гаспарову не будет трудно, и вы знаете, почему? Спросите меня, почему! Потому, что человеку не под силу обыграть «Нью Кинг»! Его процессор настолько силен, что способен просчитывать несколько миллионов, миллионов ходов в секунду! Забегая вперед, я бы хотел предложить Гаспарову сдаться заранее! Этот матч станет настоящим избиением человека! Мы работали

над программой больше года. Многие ошибаются, когда утверждают, что машина не может думать. Это не так, и «Нью Кинг» докажет это. Мы привили компьютеру способность анализировать. Нам, в самом деле, удалось создать первый в мире робот, способный не только просчитывать миллионы комбинаций, но и делать взвешенные, выверенные шаги.

Гаспаров, конечно, слышал заявления Паркера, но особого значения им не придавал. Уж слишком хорошо он помнил партию годичной давности. Все тот же комьютер, все те же исследования и страшилки, та же команда… Гаспаров не верил в то, что за год разработчикам «Пинтела» удалось родить нового чемпиона. В одном из предматчевых радиоинтервью Гаспаров так обосновал свое спокойствие:

— Быть может, машина и не боится меня, быть может. Более того, я даже готов в это поверить, но в то же время я нисколько не сомневаюсь в том, что в нее заложен страх ее разработчиков. Понимаете, о чем я? Мой английский понятен?

— Ваш английский прекрасен.

— Спасибо. Так вот, люди, которые программировали «Нью Кинг», всего лишь программировали «Нью Кинг». Уверяю вас, в шахматах есть то, что им никогда не станет известно. Они, эти помешанные на успехе машины разработчики, чрезвычайно боятся меня! Судите сами, я ведь мешаю им работать, мешаю их исследованиям. Очередное поражение «Пинтела» наверняка поставит крест на их работе. Только подумайте, десятки набитых мощными компьютерами этажей работают на этих ребят, а потом приходит русский парень и обыгрывает их. Это как огромный Нью-Йорк против одного человека. Тысячи небоскребов, и вдруг — бац!

Гаспаров ни на секунду не сомневался в собственной победе. Откровенно говоря, он в самом деле не имел к тому никаких оснований. На протяжении всего сезона Анни только прогрессировал. Один за другим были повержены шахматисты, которые, по его собственному мнению, с легкостью одолели бы любой «Нью Кинг».

— Господин Гаспаров, спасибо за то, что в преддверии матча согласились прийти на наше шоу. Прежде всего — как вы себя чувствуете?

— Спасибо, все хорошо.

— Как вам Нью-Йорк?

— Я не первый раз здесь, вы знаете, что в последние годы я очень много времени провожу в Америке, несколько дней назад я летал в Вашингтон по приглашению Президента, но Нью-Йорк. О, Нью-Йорк прекрасен!

— Да, храни Господь Нью-Йорк. Аминь. Что ж, перейдем к матчу. Что вам известно о «Нью Кинге»?

— Ничего, абсолютно ничего.

— Как? Вы даже не играли тренировочные партии?

— Нет, но мы предлагали. Хотелось понять, как работает эта программа, однако ребята из «Пинтела» отказали.

— Отказали? Чем они мотивировали это, Анни?

— Ничем. Они просто сказали, что познакомиться с соперником я смогу во время матча.

— Это не кажется вам странным?

— По-моему, это очень, очень странно. Когда играешь с человеком, с тем или иным шахматистом, всегда есть возможность изучить его предыдущие игры. Понять, как он любит атаковать и обороняться, проследить за его дей-

ствиями в типичных позициях, в конце концов, узнать, что раздражает этого человека. В случае с «Нью Кингом» мне абсолютно ничего не известно.

— Это пугает вас?

— Нет, он всего лишь машина. Разве вам было бы страшно играть в шахматы с калькулятором?

— С очень умным калькулятором! Создается впечатление, что вы совсем не боитесь «Нью Кинга»…

— Нет. Любой компьютер можно поставить в неудобное положение. Электронный шахматист — это прежде всего накопитель фигур. Ему важно набирать очки. Конечно, современные симуляторы очень и очень умны, их уже не так легко обыграть, и большинству людей это уже не под силу, но…

— Простите, что перебиваю вас, — никому, кроме вас, уже не под силу с ними соперничать, вы ведь это хотели сказать?

— Можно и так…

— На вашем лице улыбка! Телезрители видят ее, это улыбка чемпиона, правда, Анни?

— Вам виднее, в вашей студии каждый день чемпионы.

— Ни один из них не умеет обыгрывать компьютер в шахматы, вы уж поверьте!

— Верю, ну, а если серьезно…

— А вы до этого были несерьезны? Ах, эти русские! С ними всегда держи ухо востро!

— А если все-таки позволите вернуться к вашему вопросу о страхе…

— Да, конечно!

— Так вот, я совершенно не боюсь игрока, у которого нет сердца и души. Быть может, мои слова покажутся вам немного высокопарными, но в современных шахматах эмоции едва ли не определяющая штука! Эмоции и опыт совладания с собственными эмоциями…

В позиции, когда, прежде всего, необходимо не столько просчитывать ходы, сколько чувствовать и оценивать ситуацию, компьютер не сможет соперничать со мной. А тогда он ошибется…

— Ребята из «Пинтела» просчитают свое поражение быстрее вас?

— Именно.

— И все же, Анни, над программой работали не только лучшие программисты, но и известные гроссмейстеры: Сигурдсон, Тодоров.

— Тодоров? Я ничего об этом не знал…

— Да, да! А перед тем как мы уйдем на рекламу, так сказать, для закрепления: в чем принципиальная разница игры с очень сильным человеком и компьютером?

— Приведу пример из истории. Известный шахматный психолог Блюменфельд часто записывал свои мысли в тетрадь прямо во время игры. Один из его соперников на протяжении всей партии заглядывал в его тетрадь. Тогда Блюменфельд решил подловить соперника…

— Что же он сделал?

— Блюменфельд записал в тетрадке: «Опасаюсь жертвы слона». Да, по-моему, в той истории речь шла именно о слоне. Но не важно. Так вот, он написал это и встал из-за стола. Соперник в очередной раз заглянул в тетрадь и тотчас отдал офицера. Блюменфельд вернулся к доске и сделал новую запись в тетрадке: «Опасения были напрасны. Жертва слона дала мне огромное преимущество».

— Блестяще!

— Так вот, с компьютером это невозможно…

После передачи Гаспаров был вне себя от ярости. Словно заведенный, он ходил вокруг роскошного дивана и, постоянно повышая голос, задавал один и тот же вопрос:

— Вы знали, что на них работает Тодоров? Знали? Я буду играть против компьютера или Тодорова? Вам ведь это было известно, да?

— Анни, успокойся, мы тоже ничего не знали…

— Тодоров… Тодоров — это уже не просто какой-то там «Нью Кинг»! Он изучал мои партии! Изучал не один год! Тодоров знает, как я играю, он мог многое им подсказать! Почему они пригласили именно его? Потому что он играл со мной лучше других! Именно он был ближе всех к победе! Машина плюс человек — это уже не просто машина!

— Я думаю, что и в прошлом году гроссмейстеры помогали «Пинтелу»…

— Может быть, и помогали какие-то там шахматисты, но не Тодоров же! Ребята, это уже не просто исследование возможности компьютера и человека! Если они настраивают компьютер исключительно против игры со мной, то это уже совсем другое дело!

— Анни, угомонись. Прежде всего тебе нужно успокоиться. Ты же понимаешь, что все равно против тебя будет играть кусок железа. Его программировали люди. Ты сделаешь гениальный ход, и эта бандура зависнет. Он ничего не сможет противопоставить тебе, ты же сам это знаешь.

— Я-то знаю, но Тодоров…

Следующим утром Гаспарову впервые показали студию, в которой будет проходить поединок. Павильон походил на обычную гостиную в американском доме с той лишь разницей, что повсюду стояли камеры и охранники. Количество последних сильно озадачило Гаспарова. Этаж напоминал засекреченный объект. Не иначе. Повсюду ходили какие-то люди. С рациями и пистолетами. В форме и в штатском. Они охраняли каждую дверь, каждый коридор, каждое кресло. Одни вышибалы подстраховывали других, и Гаспарову тщательно объясняли, в какие комнаты он не имеет права заходить.

— Эй, ребята, это всего лишь игра!

— Господин Гаспаров, сюда нельзя. И будьте, пожалуйста, осторожны, здесь провода…

Километры проводки стали вторым запомнившимся удивлением того дня. Повсюду: на стенах, по полу и на потолке тянулись тысячи кабелей и шнуров. Словно дороги огромного города, они соединяли между собой сотни компьютеров. Куда бы в тот день ни посмотрел русский шахматист, взгляд натыкался на автострады цветных проводов.

— Миш, для чего все эти кабели? — спрашивал Гаспаров.

— Бес их знает…

— Ты видишь, сколько их здесь?

— Господин Гаспаров, простите, но сюда вам тоже нельзя.

За так называемым дружеским обедом организаторы турнира разъяснили Гаспарову все тонкости регламента матча. Это и это можно, это и это нельзя. Среди прочего Гаспарову запрещалось не только разговаривать с собственными секундантами, но и просто смотреть в зал.

— Погодите-ка! — поставив на стол бокал вина, возмутился шахматист. — У вас там вокруг компьютера ходит десяток человек. Я помню, как это было в прошлом году. Один, другой. Я просчитываю тысячи ходов, а вы попиваете сок и улыбаетесь камерам! Вы смотрите в потолок, а я должен думать еще и о том, чтобы случайно не посмотреть в зал?

— Мы знаем, что вам могут подсказать!

— Кто мне может подсказать? Что мне могут подсказать? Вы в своем уме?

— Так или иначе, вы не имеете права смотреть в зал.

— Бред какой-то…

Все последующие дни были отданы отдыху и подготовке. Никаких встреч с ребятами из «Пинтела», никаких интервью. Сон, тренировки, прогулки в парке, размышления и сон. Последние перед самой важной в истории человечества игрой часы. Долгие минуты надежд, предположений и ожиданий. Стратегии и догадки. Задачи и мечты.

В субботу вечером, перед тем как пожелать членам команды добрых снов, Гаспаров долго стоял у окна. Он смотрел на вечерний Нью-Йорк и думал, что вполне мог бы попробовать дебют, к которому собирался прибегнуть в следующем году. Его новый план мог свести с ума любого человека, а уж машину тем более. Ход за ходом, Гаспаров представлял передвижения фигур и, прокрутив партию до конца, останавливал ток в проводах. Он видел, как во всем Нью-Йорке на секунду погасал свет, и в темноте его пешки делали свое дело. Великая партия была выиграна. Им. Нью-Йорк загорался вновь, и компьютер взрывался. Машина, — говорил городу Гаспаров, — больше никогда не покусится на святую святых — человеческий разум.

С самого утра Анатолий находился в прекрасном настроении. Члены команды это сразу отметили. Гаспаров шутил и за завтраком, и по пути в студию, и поднимаясь в лифте, и даже садясь за шахматный стол.

В те минуты секунданты не сомневались, что матч начнется со счета 1:0 в пользу человека. Когда Гаспаров находился в таком состоянии, его невозможно было обыграть. Ни смерть, ни даже самый сильный на свете компьютер не смогли бы обыграть улыбающегося Гаспарова.

— Миш, слушай, я сегодня утром вспомнил смешную историю про Фишера.

— Очередную…

— На одном турнире, в середине партии он вдруг оторвался от доски и яростно, как мог только он, вскрикнул: «Девочка в двенадцатом ряду, немедленно прекрати сосать леденец!» — «Но это только третий», — возмущенно ответила восьмилетняя поклонница шахмат. «Седьмой! Маленькая лгунья! Думаешь, я не считал?»

После соблюдения всех оглашенных регламентом формальностей матч начался. Глаза Гаспарова еще болели от миллиона щелчков фотовспышек, но мозг его уже не помнил этой боли. Он развивал лучший в истории шахмат дебют.

В тот день русский гроссмейстер провел один из лучших матчей в своей жизни. Гаспаров играл широко, открыто, изящно и нагло. Словно ухватив компьютер за нос, он водил его по всей доске из стороны в сторону. Движенье за движеньем Анни нарушал алгоритмы игры. Шаг за шагом он делал осколочные ходы, которые в одно мгновенье оформились в блистательный витражный мат.

И очень скоро Гаспаров пожал руку тому, кто не был художником шахмат, но изображал его. Компьютер хоть и умел считать, но вот двигать фигуры и признавать свое поражение так и не научился. Для этого за стол посадили человека. Он двигал фигуры и улыбался. Стив Паркер. Крепко пожал руку настоящему шахматисту и последовал за ним на пресс-конференцию. Так, счет в матче стал 1:0. Гаспаров повел.

— Господин Гаспаров, прежде всего, спасибо! Ваша игра потрясает! Сегодня вы впервые применили подобный дебют, чем это вызвано?

— Мне хотелось победить.

— Господин Гаспаров, как вам соперник?

— Я его немного узнал. Кажется, мне удалось его удивить.

— Если позволите, еще один вопрос. Говорят, что ваш дебют стал откровением не только для всех нас, но даже для членов вашей команды?

— Да, действительно, думаю, за ужином меня ждет несколько вопросов.

— Господин Гаспаров, как вы можете оценить игру «Нью Кинга»?

— Как неплохую. Он действительно играл сильнее, чем в прошлом году, если я вообще играл с тем же соперником. По крайне мере, в лицо я его не помню.

— Вопрос к Стиву Паркеру. Господин Паркер, а как вы оцениваете игру «Нью Кинга»?

— Машина сделала несколько серьезных ошибок. Конечно, мы ожидали другого результата.

— Господин Паркер, проиграла машина или выиграл Гаспаров?

— Я думаю, что сегодня по какой-то причине «Нью Кинг» не показал и пятидесяти процентов своих возможностей.

— Господин Паркер, расскажите о планах на вечер.

— Думаю, нам нужно кое-что исправить. Всем спасибо.

Едва закончилась первая партия, на всех телевизионных каналах начались специальные выпуски шахматных обозрений. В больших роскошных студиях известные журналисты, телеведущие и шахматисты по горячим следам разбирали игру Гаспарова:

— Джимми, что ты думаешь об этом матче?

— О, Майк! Я думаю, что он совершенно, совершенно бесподобен!

— Гаспаров правда хорош?

— Гаспаров феноменален!

— Хорошо, Джимми, давай перейдем непосредственно к партии. Если я правильно понимаю, русский сделал очень странный первый ход?

— Да, Майк, ты все правильно понимаешь. Первый ход — а3! Действительно, Майк, начинать партию таким ходом в игре с человеком — форменное самоубийство. Если бы Гаспаров играл с профессиональным шахматистом, он бы никогда, никогда не сделал такого хода!

— Почему, Джимми?

— Считается, что право первого хода дает белым преимущество. Пока белые развивают атаку, черные должны сначала уравнять позицию и лишь затем перейти в наступление. Ход крайней пешки на одну клетку — это то же самое, что отдать право первого хода.

— Значит, можно сказать, что сегодня Гаспаров играл черными, Джимми?

— Не совсем, Майк. Гаспаров играл, конечно, белыми, но пойми, если бы он сделал такой ход в игре с человеком, то соперник сразу же получил бы преимущество. Уже не черные исходили бы из действий белых, а наоборот. В игре с компьютером всего один странный первый ход сразу изменил ситуацию на доске. План Гаспарова заработал с самого начала. Ошеломленный такими действиями человека компьютер буквально сразу вышел из собственной базы дебютов.

— Что это значит, Джимми?

— Да, Майк, это значит, что с первых ходов машина не могла пользоваться дебютными наработками на игру. Дело в том, что первые десять-двадцать

ходов машина делает, так сказать, по памяти. Как, впрочем, и профессиональные шахматисты. Увертюры игр разобраны программой, а в случае с Гаспаровым ей пришлось всецело включаться в игру с самого начала.

— То есть, Гаспаров заставил машину думать, а не выдавать готовые ответы?

— Да, что-то вроде этого. Кроме того, отдав права действия машине, русский смог планомерно выстраивать позицию, наблюдая за активными действиями машины. Как результат к миттэндшпилю, Гаспаров смог завладеть инициативой и хладнокровно довел поединок до победы.

Следующим утром, когда в студии уже начиналась вторая партия, потряхивая газеты, жители Нью-Йорка лишь начинали смаковать перипетии вчерашнего поединка. На первых полосах всех уважающих себя изданий лучшие журналисты рассуждали об эре компьютеризации, гениальности Гаспарова и возможных развитиях шестиматчевого противостояния. Колонки, мнения, таблицы, отчеты. Подобные тысячам комбинаций тысячи букв. Предположения, клетки, фигуры и факты. Профессионально и талантливо читали горожане и писали журналисты, и наблюдали зрители, и играл Гаспаров.

Уже в начале второй партии гроссмейстер получил преимущество. Вновь за счет нового, ускользающего от разума компьютера вступления Гаспаров предлагал, и машина думала. Долго. Мучительно и тяжко, словно оживая и учась нервничать. С каждым ходом «Нью Кинг» считал все дольше и дольше. Гаспаров изводил «Нью Кинга», и в конце концов процессор завис!

Время не останавливали. Анни смотрел на часы и думал, что, скорее всего, партия выиграна. Вряд ли, думал он, им удастся заставить его играть вновь.

Гаспарову удалось сломать компьютер. Сломить. Машина набирала фигуры, и он отдавал ей их, лишь укрепляя свое положение. «Нью Кинг» пожирал слонов и коней, словно самый голодный на свете человек, и в это время Анни выстраивал пешечную цепь, которую компьютер просто не смог бы пройти. Гаспаров смотрел на ошеломленного Паркера и надеялся на то, что если компьютер и включится, то обязательно съест пешку и провалится.

В отличие от всех присутствующих в зале людей, Гаспаров был единственным человеком, который понимал, что партия складывается не совсем хорошо. Даже секунданты не видели этого. Дебют, который предложил русский гений, оказался не столь идеальным, как полагали зрители. Компьютеру все же удалось просчитать его. Это, конечно, тревожило Гаспарова, но в то же время он понимал, что получит преимущество в партии, если машина съест пешку. Впрочем, как раз в этом он не сомневался. В такой ситуации тысячи раз, по всем правилам и исключениям, по всем шахматным религиям и верованиям компьютер должен был съесть пешку…

Представители «Пинтела» просили подождать. Еще немного. Какие-то люди постоянно то вбегали, то выбегали из студии. Что-то передавали Паркеру и спрашивали его. Отвечали на вопросы журналистов и вновь убегали. Компьютер висел. Вот уже пятнадцать минут. Не думал, но висел. Для самой умной на свете машины это было что-то вроде комы. Паркер нервничал, и сотни людей в десятке комнат делали все от них зависящее, чтобы заставить «Нью Кинга» играть. Его упрашивали и перегружали, запугивали и, словно человека, умоляли ожить.

Гаспаров смотрел на пешку. Долго. Он знал, что вот-вот ее уберут. Она исчезнет, как исчезали тысячи солдат его великой армии. Компьютер сделает ход, про себя говорил Гаспаров, Паркер махнет рукой, клетка станет пустой… и все изменится. Я поведу в счете. 2:0.

Кто-то дал сигнал. Зал оживился. Зашелестел. Компьютер вернулся. «Нью Кинг» проснулся. Вновь. Он был готов к игре.

Гаспаров знал историю о гроссмейстере, который заснул прямо во время шахматного турнира, но теперь он не мог о ней думать, компьютер делал ход, и шахматист возвращался к игре.

Паркер не взял пешку. Когда рука американца потянулась за другой фигурой, Гаспаров непонимающе посмотрел на него.

«Что он делает?» — подумал Анни и, не выдержав, вопреки всем правилам, спросил:

— Вы уверены?

— Что вы имеете в виду?

— Вы делаете странный, нелогичный ход…

— Что вы себе позволяете!

Никакой ошибки не было. «Нью Кинг» в самом деле решил не брать пешку. Машина совершала неестественный шаг, и Гаспаров не мог поверить собственным глазам. «Нью Кинг» не просто отказывался взять пешку, но совершал поступок, на который машина не могла решиться. План рушился. На глазах. Компьютер перехватывал инициативу, и человек проигрывал. Гаспаров еще мог бы побороться, но теперь, впервые в жизни, впервые за долгие годы изнурительных шахматных турниров, он был выбит из седла. То, что сделал «Нью Кинг», противоречило всему, что знал Гаспаров. Солнце было круглым, земля была круглой, его звали Анни; когда шел дождь, крыши были мокрыми и так далее. Компьютер не мог, не мог не взять пешку в такой ситуации. Стив Паркер улыбался партнерам.

На традиционной послематчевой пресс-конференции Гаспаров не мог найти себе места. Еще никогда, никто и нигде не видел его таким растерянным. Именно таким его хотели видеть после посадки в Нью-Йоркском аэропорту, именно таким он был сейчас. Словно пытаясь что-то стереть, будто бы ощущая эхо горячей, хлесткой пощечины, как заколдованный, Гаспаров водил ладонью по щеке. Водил и водил, водил и водил. Он не понимал, совсем не понимал, ничего не понимал.

Как, как машина могла сделать такой ход? Как?

Журналисты задавали вопросы, и, наверное, он что-то отвечал. Слепили фотовспышки, перед глазами стояла пешка. Гаспаров вспоминал глупейший взгляд Паркера. Взгляд человека, который играл и не осознавал, что в шахматах порой жизненно важно НЕ брать фигуру. Лицо человека, который просто двигал фигуры. Актер, который, ничего не смысля в игре, с легкостью обыгрывал самого сильного шахматиста планеты. Машина не взяла пешку, и Гаспаров не находил тому объяснения. Этот поступок симулятора оставался за гранью человеческого понимания. Процессор не мог себя так вести. Паркер улыбался, но не понимал, что компьютер совершил что-то невозможное.

Вечером, когда все вопросы были заданы и все акции проданы, совершенно один Анни стоял у окна. В другой комнате постоянно трещал телефон. Кто-то говорил, но Гаспаров не слышал.

В таком состоянии прошли двадцать четыре часа. Третья партия была сыграна вничью. На автомате. Гаспаров провел ее словно компьютер. Он не думал, он просто решал задачи. Его мозг был миллионом ячеек. «Число, хранящееся в ячейке 6809, прибавить к числу, хранящемуся в ячейке 4302, результат поместить в ту ячейку, где хранилось последнее из чисел»…

Еще одна пресс-конференция, еще одна тысяча вопросов — и ни одного ответа. Гаспаров все так же гладил себя по щеке, и ненавистная пешка никак не стиралась из памяти.

Лимузин важно двигался в сторону гостиницы, а человек на заднем сидении не мог понять: что помешало компьютеру съесть пешку? Что помешало, что помешало взять, взять эту чертову пешку? Авеню за авеню Гаспаров смотрел на улицу, но ничего не видел. Если бы кто-нибудь следующим утром попросил его описать возвращение домой, он бы ничего не смог сказать. Человек, который держал тысячи партий в голове, не видел улиц и людей.

Он постоянно просчитывал вторую партию. Оказавшись в номере, он позвал секундантов и сказал:

— Вот, смотрите, я кое-что вспомнил… «Нью Кинг» двигает короля. В конце партии вы, наверное, уже были не так сосредоточены и устали. Я понимаю, вам было не до того, но взгляните, это же ошибка… Вот… Здесь можно…

— Погоди-ка…

— Видите?

— Здесь же ничья…

— Именно!

— Я мог поставить вечный мат…

— Но, Анни, почему компьютер совершил такой странный ход?

Гаспаров взялся за голову. Мысли, которые он пытался прогнать все эти дни, вновь возвращались к нему. Гаспаров понимал, что они разрушают его. Эти предположения совершенно не способствовали душевному равновесию. Мысль о том, что представители «Пинтела» жульничали, выбивала из колеи. Перед четвертым поединком он должен был убедить себя в том, что соперник играет честно. В противном случае «Нью Кинг» получал преимущество. Если бы Гаспаров хотя бы на секунду поверил в то, о чем думал, поражение стало бы неизбежным.

— Два странных хода за одну игру. Компьютер действительно провернул очень странную комбинацию. Теперь я могу говорить об этом с уверенностью! Теперь, когда мы еще раз просмотрели партию с холодными головами, нет никаких сомнений в том, что случилось что-то не то. Машина обязательно взяла бы пешку, и машина никогда, никогда бы не сделала этого хода.

— Они говорят о том, что симулятор просто стал гораздо сильнее…

— Я не верю…

— Но может, так и есть?

— Не думаю… Где книга, которую я читал в самолете?

— Какая?

— Кто-нибудь помнит, как называлась повесть, которую я читал в самолете?

— «Дебют»?

— Да, ты читал его, Миш?

— Нет…

— Саш?

— Нет?

— Ребята?

— Я — нет…

— И я… она же все время была у тебя в руках…

— Ее кто-нибудь видел? Где она?

— По-моему, в твоей гостиной.

— Нет, я видел ее в туалете.

— Да, точно, можешь принести ее?

— Да, секунду…

Гаспаров быстро пролистывал страницы. Одну за другой. По диагонали. Он хотел найти место, которое бы подтвердило его мысль:

«Магияр не понимал, что вторую половину встречи сражался не против знаменитого, блестяще игравшего в обороне Лепехина, но против актера из Санкт-Петербурга Александра Сергеевича Болеславского. Если бы венгр знал, что против него сидит человек, который за всю жизнь сыграл не более полусотни добротных любительских партий, игрок, который, как и многие другие непрофессионалы, переоценивал свои силы, он наверняка повел бы себя иначе. Магияр бросился бы в открытое, издевательское наступление. Но он не знал. Он видел перед собой соперника, которого уважал, более того, которого боялся. Две совершенно необъяснимые ошибки, которые несколькими минутами раньше допустил Лепехин, натурально мучили венгра. Он знал Лепехина, несколько лет следил за его игрой, изучал партию за партией. Магияр восхищался игрой Лепехина и теперь, когда осознавал, что не может ничего просчитать, что партия выиграна, сходил с ума. Все шло к тому, что русские будут разгромлены, и черные не могли в это поверить...»

— Я не играл против «Нью Кинга»! Нет! Просто где-то там, где-то в соседней комнате сидел человек.

— Анни…

— Неужели вы еще сомневаетесь в этом?

— Ну, это как-то…

— Не компьютер, но человек не съел пешку! Компьютер бы взял! Кто-то остановил машину и изменил ход! Это совершенно точно! Мне кажется, у меня есть идея… Нужно… Нужно позвонить в «Пинтел». Пусть представят нам протоколы игры. Пусть дадут распечатку, тогда мы поймем, как он считал. Говорю вам, проснитесь, машина не могла так мыслить!

По настоянию Гаспарова секунданты связались с «Пинтел». Связались с журналистами и знакомыми политиками. Прессе и представителям корпорации сообщили о том, что Гаспаров желает видеть протокол ходов. Нью-Йорк проснулся. «Пинтел» взял паузу на размышление и спустя час отказал.

— Анни, они не хотят давать протокол.

— Что значит, не хотят? Как это не хотят? Передай им, что в таком случае я откажусь выйти на четвертую партию!

— Ты уверен?

— Да, я уверен! Если ребята хотят играть в свою игру, то пусть сами в нее и играют! Без меня! Думают, меня так легко выставить дураком! Если через два часа я не получу протокол игры, завтрашний матч не состоится!

Звонки продолжились. Один за другим, словно точечные взрывы при бомбардировке, в Нью-Йорке взлетали трели. Организаторы матча звонили представителям компании «Пинтел», представители Гаспарову, Гаспаров отказывался говорить.

Ранним утром на специально собранной пресс-конференции Стив Паркер сообщил, что:

— Компания «Пинтел» не считает нужным предъявлять господину Гаспарову протоколы матча. Компания «Пинтел» считает также необходимым до-

нести собравшимся в зале репортерам, что поведение господина Гаспарова подрывает дружескую атмосферу матча.

Как и многие любители шахмат, Гаспаров следил за пресс-конференцией в прямом эфире. Как и многие другие, негодовал:

— Дружеская атмосфера? Дружеская атмосфера! Они издеваются! Дружеская атмосфера, черт их дери! Я не буду играть! Точка!

— Анни, ты не можешь так просто отказаться!

— Я не могу? Почему?

— У тебя подписан контракт…

— Пусть они засунут свой контракт… знаете куда? Я договаривался играть с компьютером! С «Нью Кингом»! С «Нью Кингом», а не с Тодоровым, который сидит у компьютера и просчитывает мои ходы! Если они не готовы предоставить протоколы, я не готов играть!

— Только что звонили из компании «Пинтел», — сказал сидевший у телефона тренер. — Кажется, у них есть предложение. Анни, спустись вниз…

— Зачем?

— Спустись, тебе говорю! Они предлагают все протоколы после завтрашней игры…

Анни согласился. До игры оставалось всего ничего. Разминка и дорога в студию. Гаспаров не помнил ее. Перед глазами постоянно всплывала пешка. Ее образ не давал покоя. Ему следовало концентрироваться на партии, и он не узнавал себя. От человека с самыми сильными на планете нервами ничего не оставалось. Он думал о какой-то пешке в преддверии самого важного в своей жизни поединка. Он делал слабые ходы и из последних сил вырывал ничью.

Гаспарова обманули. После игры он не получил протокол. Теперь не могло быть и речи о том, чтобы настроить шахматиста на финальный поединок. Кроме него самого, это не мог сделать никто. А он не хотел. Гаспаров больше не хотел играть. Впервые в жизни. Он чувствовал, что его предали, и не мог ничего противопоставить нагрянувшему ливню эмоций. Дебют «Пинтела» оказался гораздо сильнее, чем он ожидал. Его обыграли гораздо раньше. За много месяцев до матча. Он собирался играть в шахматы, и они все просчитали. Гении «Пинтела». В прошлом году они позволили обыграть себя, чтобы в этом буквально уничтожить Гаспарова.

Матч с компьютером обязывает быть чрезвычайно сконцентрированным. Никаких эмоций, никаких лишних мыслей. Машина — не человек. Она не умеет отвлекаться, ей не запудрить мозги. Едва вы ослабите внимание, она воспользуется вашей ошибкой. Как только вы почувствуете слабость, поражение настигнет вас. В игре с компьютером вам нужно немного волшебства и абсолютный контроль, контроль, который Гаспаров не смог удержать.

Слишком много мыслей занимало его голову в момент игры. Слишком многое он не смог побороть. Стив Паркер двигал фигуры, а Анни думал о «Нью Кинге», о Тодорове и о пешке.

В ту ночь в «Пинтеле» почти никто не сомневался в том, что победа одержана. Гаспаров собирал в кулак осколки своего витража, и осколки эти резали его руки в кровь.

Отказаться играть последнюю партию означало досрочно признать свое поражение. Садиться за стол — самоубийство. Психическое состояние не позволяло играть. Гаспаров сломался. Пожалуй, слишком легко. Гаспарова смогли убедить в том, что он играл против человека. Баста. Победа. Больше

ничего и не нужно было. Снабженный самым умным в мире компьютером человек — серьезный соперник. Анни не сомневался в этом.

Гаспаров не помнил следующего утра. Не помнил завтрак и дорогу в студию. Он не помнил первого хода белых и нескольких грубейших ошибок черных. Анни сдался. Еще до игры. Он просто двигал фигуры. Туда-сюда. В тот день за доской не было великого шахматиста, был человек. Не было человека, была машина и… человек. Он делал ходы, как машина, и, подобно человеку, машина громила его. Стив Паркер двигал туру, и Анни никак не мог усмирить собственную ногу. Ему казалось, что она вот-вот вырвется из-под стола. Доска взлетит, и все фигуры разлетятся к чертям…

— Джимми?

— Да, Майк…

— Что это? Что ты чувствуешь сейчас? Что сейчас все мы должны чувствовать, Джимми? Наши зрители негодуют! Все? Это конец?

— Да, Майк, похоже, это действительно конец!

— Остановись, Нью-Йорк! Замри, Америка! Человек проиграл компьютеру!

— Да, Майк, это конец! Гаспаров проиграл шестиматчевый поединок!

— Джимми, что же случилось? Я не понимаю! Все мы не понимаем! Ты слышишь? Слышишь эту тишину?! Мне кажется, замер весь мир! Господи, мой режиссер подсказывает мне, что я слишком экспрессивен! Да, я, черт побери, экспрессивен! Да, и это мое знаменитое телешоу! Сколько всего мы пережили в этой студии, Нью-Йорк, могу ли я сегодня сказать тебе добрый день?

— Да, Майк, ты совершенно прав! Это ужасный, ужасный день…

— Гаспаров провел худший поединок в жизни?

— Он в самом деле очень плохо играл!

— Мне кажется, он сломался. Эти русские — очень слабые люди! Мне кажется, все дело в их литературе.

— Все дело в Толстовстве!

— Да, Майк, ты совершенно прав. Специально перед эфиром я заехал в библиотеку. Для того, чтобы понять, почему русские проигрывают самые важные игры, действительно, стоит читать Толстого. Это очень странный писатель, у него такой необычный провинциальный язык, какие-то только русским понятные идеи.

— Да, Джимми, знаешь Мэл Гибсон как-то предлагал мне прочесть, но эфиры, Нью-Йорк, Нью-Йорк, ты, кстати, слышал о новой книге Элизабет О' Доннел?

— Нет, Майк…

— Она совершенно потрясающая! И мы плавно переходим к следующей части нашей программы…

Корпорации вовсе не нужно было участие человека. Нет. Они бы справились и без гениального гроссмейстера. Тодоров? К чему? Гораздо важнее было заставить Гаспарова просто поверить в то, что он играет не только против компьютера, но и против человека. А дальше дело было сделано. Гаспаров мог обыграть кого угодно, но только не себя. Поверив в то, что его обманули, Анни разрушился. После второй партии он так и не смог восстановиться. Еще много месяцев спустя он вспоминал пешку и словно заведенный продолжал долбить себе, что компьютер не мог, не мог сделать такой ход.

Нет ничего удивительного в том, что последнюю партию «Нью Кинг» играл алгоритмично и скупо, играл так, как должна была играть машина. Гаспарову становилось дурно, а «Нью Кинг» допускал ошибку за ошибкой и выигрывал.

Представители «Пинтела» начинали отмечать победу за несколько ходов до конца игры, и Гаспарову хотелось поскорее уехать домой.

На пресс-конференции русского шахматиста встретили овациями. Каждый пришедший считал своим долгом поддержать Гаспарова. Он отвечал на вопросы, и после каждого ответа зал взрывался аплодисментами.

Нью-Йорк переключал каналы, и уже к вечеру о Гаспарове забыли. Шахматист гулял по Манхэттену, и люди не узнавали его. Поединок закончился, и на арену выходили новые герои завтрашнего дня. Шахматы никогда не были популярным видом спорта. В сущности — скучное времяпрепровождение. Нужно думать, долго сидеть. Тем более проиграл русский, и, в общем-то, в очередной раз можно было говорить о победе американского интеллекта. Что бы они там себе ни думали, эти парни в ушанках, жизнь проходила здесь и сейчас. Пар из люков, шум саксофона, хот-доги, широкие авеню, заваливающиеся в лимузины Мэрилин Монро.

— Можно чизбургер?
— Колу будете, господин Гаспаров?
— Да, если можно…
— Почему же вы проиграли, господин Гаспаров?
— Не знаю, Сэм…

Анни потягивал холодную колу и думал о том, что, наверное, когда-нибудь ему представится шанс отыграться. Через год или два. Он поставит мат какому-нибудь новому «Нью-Кингу», и папарацци не оставят его в покое. Как сейчас.

В тот вечер он долго гулял. Тысячи небоскребов, зевак и машин. Миллион этажей. Экраны, на которых каждые десять минут крутили новость о том, что компьютер одолел человека, и серебряные автобусы с рекламой матча. В компании «Пинтел» в срочном порядке разбирали процессоры «Нью Кинга»… и закрывали проект. Шахматный эксперимент больше никого не волновал. Результат был сделан. За несколько часов акции компании выросли на пятнадцать процентов, и, сидя на холодной скамейке, Гаспаров впервые в жизни чувствовал себя пешкой.



ВАДИМ БОРИСОВ

Солнцесплетение

Иду в луга

Лугами иду — в небеса! —
Вливаясь в сплетения трав.
Еще не ожгла их коса
Добра.
Звенькнет, ступив в дикий хмель,
Теряется след у реки…
Светает в очах акварель:
В радость пылают жарки.
Души бы отогреть —
В распрях доныне, в бреду…
Уж лучше навек одуреть
В травах — они на меду!

* * *

Слава словам! Говорим горы слов,
целые Эвересты
окрест. Но… мало пока делов —
стрессы.

Непросто жилтрестам в желаньи благом
нас отселить из дотов:
от веку рушили вороги дом,
помнят поныне — то-то.

Эй, кто смелей, подскажи
словом весомым:
как, по кирпичику, выстроить жизнь
не только в домах высотных.

Стихи о стихах

Тем,
кто глух сегодня к стихам:
на задворках у эпигонов, —
можно резать стихи по кускам,
их не услышите стоны...

Океанами — от ветерка —
окатит в стихах флибустьеров.
Где нам до них:
наша серость
расфасована по тайникам.

А рядом —
простой одуванчик в строках,
парусом — с Бежина луга!

...как одиноко бывает в стихах —
до потрясения духа.

Лету вослед

В. Г.

Ветер шумит по траве и деревьям,
листья швыряет в оконце ко мне:
кончилось летечко,
зорькой не встренет,
едет-поедет на рыжем коне.

Так ли? —
век звездным копытцем тиктакает,
ворох признаний — не увезти:
блага час близенько блазнится —
в злаках.

Поздно поехал. Прости…

* * *

В жизни собачек — верх счастья,
отчасти сокрытое, в том:
свернуться
в клубочек
на часик,
накрывшись под небом хвостом.

Жмутся к ногам — у прилавка
лакомки (челкой начес!).
Грех пресмыкаться на лапках,
не по нутру: сыты в пост.

С виду она хоть и псина,
камнем не кинет нам в спину,
а тот, о двух ногах кобелина —
рвется с цепи...

Кризис на всё —
и на ласку:
забилась по конурам.
А счастье стучится к нам: здрасьте! —
с вечера и до утра.

В лугах некошеных

До белых мух в кудрях —
порошею
не поредел вихор в стихах
о летечке
в лугах некошеных,
о ночках
с косами... в стожках.

Уж не за то ли это плата
сполна
любови безответной:
во снах я горько-горько плакал,
не видя бела света,
и ягодниц-сластен, —
а роща вся в платках...

А по такой погоде
одни медведи по малину ходят
и пьют зарю из озерка!

* * *

В солнечной мозаике
Выцветшие маечки:
Заране место заняли
В кафе — крутые мальчики.

А я ловлю луч зайчика...
Нет чтоб делом заняться
(Поиграть в крокет?).

И — с ладони тучки
Серповидный след.
Не иначе — буча
В головах планет.

Накуролесили...
Забыли в небо лесенку.

Скачи в солнцесплетение
С зайчиками в ряд!
Неровен час — затмение
Случится у тебя...

* * *

А по-над плесом: кряк да кряк...
        Гимнами — озерам.
Плеснется щука в сон коряг,
Я зачерпну ее ведерком.
Емеля? Чудик в небесах.
Найти меня не так-то близко.
Всего лишь шаг. И — бег в леса!
        Живи
Хоть век тут без прописки.

* * *

И свет полуночного неба,
И жертвенный отсвет любви
Идут по незнамому следу, —
Не запыли…



Любитель птиц и людей с Западного побережья

Бывает, что литературное произведение ложится на душу с первых же строк и держит в плену, не отпуская от себя до последней фразы и последней точки в ней. И бог его знает, почему так происходит и в чем именно состоит магия слова автора. Наверное, секрет здесь все же в некотором внутреннем совпадении настроений писателя и читателя, когда их души, выражаясь фигурально, настроены на одну волну. Или когда вдруг обнаруживается, что писатель озвучил твои собственные мысли и настроения, иногда неясные, почти на уровне ощущений, и сделал это так мастерски, что ты невольно проникаешься чувством гордости. Еще бы! Ведь и я так думаю! Правда, вот только сказать так красиво или так образно передать свои ощущения не могу. Как бы то ни было, а такое странное родство душ с доселе неизвестным мне американским писателем обнаружилось и у меня, когда я впервые открыла повесть Уоллеса Стегнера «Записки орнитолога о птицах Западного побережья». Открыла и закрыла ее уже только на последней странице, в одночасье преисполнившись твердой решимости обязательно перевести повесть на русский язык.

Почему? Да потому, что то, о чем пишет Стегнер (вернее, написал много лет тому назад), не утратило своей актуальности и по сей день. И потому, что размышления Стегнера о жизни птиц и людей, они ведь не только об обитателях Западного побережья США. Покопавшись в завалах собственной памяти, любой наверняка обнаружит в своей жизни коллизии, весьма схожие с теми, о которых повествуется на страницах повести. И для этого вовсе не надо быть честолюбивым пианистом, стремящимся во что бы то ни стало сделать себе карьеру или ушедшим на покой литературным агентом (кстати, это профессиональное занятие все еще остается для большинства из нас непонятным и даже немного загадочным). А то, что автор не выносит окончательного вердикта своим героям, не торопится припечатать их к стенке жесткостью оценок и выводов, оставляя окончательные выводы на совести читателя, которому предстоит самому найти ответ на традиционный вопрос «Кто виноват?», — так ведь именно в этом и состоит мастерство писателя и его истинный талант. А у американца Уоллеса Стегнера, несомненно, есть и то, и другое.

Уоллес Стегнер (1909—1993) родился в небольшом городке Лейк-Миллз, штат Айова, на Западе США, и до последних дней не переставал живописать о столь близком его сердцу Диком Западе. Некоторые критики даже называли его «дуайеном писателей западных штатов США», хотя формально из тридцати написанных Стегнером книг за его долгую, более чем шестидесятилетнюю литературную карьеру, лишь немногие повествуют о событиях, разворачивающихся непосредственно в западных штатах. Вот ведь и Калифорнию, на территории которой разворачивается действие в повести, с большой натяжкой можно отнести к «дикому Западу» в его традиционном восприятии. Тем не менее в фундаментальном коллективном труде «Литературная история Соединенных Штатов», который вышел в 1955 году (переведен на русский язык в 1978 году в издательстве «Прогресс») глава «Документальная и художественная литература Запада», посвященная писателям Среднего и Дальнего Запада, написана именно Уоллесом Стегнером.

«Литература Запада в первые десятилетия после Гражданской войны, — писал Стегнер в этой главе, — была литературой его открытия. Мир высвободил созидательные силы общества, погнал на Запад и ветеранов войны, изголодавшихся по земле,

и авантюристов, усилил ощущение национального единства, впервые дал американцам по-настоящему почувствовать, что означало понятие американская нация».

«Не каждый из наших районов, изобилующих изумительными уголками, получил своего *genius loci* (местного гения)», — писал далее Стегнер, скромно умалчивая о том, что и сам он в немалой степени стал таким вот местным гением для своей малой родины. А уж когда в сугубо литературоведческом издании вдруг заходит речь о пыльных бурях, наводнениях, эрозии почвы, о мелиорации и сохранении земель, то понимаешь, что это пишет тот самый Уоллес Стегнер, автор знаменитого письма «В защиту дикой природы», которое наделало столько шума в Соединенных Штатах, появившись в далеком 1960 году. И недаром критики считают его документальную прозу, в том числе и многочисленные публикации, посвященные защите окружающей среды, наиболее яркой частью его обширного литературного наследия. Впрочем, Уоллес Стегнер не только выступал в защиту своего любимого Запада, так сказать, письменно. Он боролся за правое дело всеми возможными средствами. Так, в начале 50-х годов прошлого века именно его участие в рядах борцов против строительства плотины на Грин-Ривер сорвало намерения властей перекрыть реку неподалеку от национального памятника-заповедника, где когда-то водились динозавры. Следствием же появления открытого письма «В защиту дикой природы» стало создание Комитета по охране дикой природы при правительстве США. Кстати, и сам писатель на некоторое время отложил в сторону перо и заделался чиновником: трудился заместителем министра внутренних дел в администрации президента Джона Кеннеди, отвечая на этом посту именно за экологию. Им было подготовлено несколько законопроектов о всемерном расширении национальных парков и заповедников.

Страстная убежденность Стегнера в необходимости всеобъемлющей защиты природы, его уважительное отношение к ней во всех ее проявлениях нашли свое отражение на страницах многих его книг. И повесть «Записки орнитолога о птицах Западного побережья» — яркое тому подтверждение.

Вообще, четко выраженная гражданская позиция и нравственная цельность человеческой личности — это первое, что бросается в глаза, когда начинаешь читать Стегнера. А потому я, скажем, совсем не удивилась, когда, хорошенько покопавшись в его биографии, нашла, к примеру, вот такой факт. В 1934 году Уоллес Стегнер женился на Мери Стюарт Пейдж и прожил с этой женщиной долгих 59 лет. И именно ей он посвятил свою последнюю книгу «Там, где поет синяя птица», написав в посвящении *«Мери, которая видела все, оставаясь при этом незаменимым помощником и источником вдохновения».*

Литературное творчество Уоллеса Стегнера отмечено множеством наград. Три премии имени О. Генри за короткие рассказы и новеллы, Пулитцеровская премия за роман «Ангел тишины», премия Национальной ассоциации критиков за документальную прозу. А одну награду он даже отверг. Речь идет о Национальной медали за вклад в искусство, которой он был награжден в 1992 году. Стегнер, будучи членом двух академий — Национальной академии искусства и науки и Национальной академии литературы, отказался принять ее по сугубо этическим соображениям, ибо у него *«вызвало беспокойство»* то политическое давление, которое оказывают власти на деятельность Национального фонда искусства. Что ж, и это тоже лишнее доказательство высокой требовательности этого человека и к себе, и к тем, кто его окружал.

Хочется верить, что первая публикация Стегнера в журнале станет той первой ласточкой, за которой появятся и другие. Ведь недаром же герой повести с таким умилением наблюдает за птицами, гнездящимися в окрестностях его дома.

А что же до места Уоллеса Стегнера в американской литературе XX века, то, пожалуй, никто не сказал об этом лучше, чем известный английский писатель Чарлз Перси Сноу, который, как известно, тоже не чурался политики. *«Достаточно прочитать только такие произведения Стегнера, как «Поездка в город» или «Вид с балкона», чтобы понять, что перед тобой — настоящий мастер слова. Это один из самых глубоких, самых искренних и самых любимых писателей в современной Америке».*

Зинаида Красневская

УОЛЛЕС СТЕГНЕР

Записки орнитолога о птицах Западного побережья

Повесть

I

Должен признаться, еще никогда я не чувствовал себя так хорошо. И возраст свой, шестьдесят шесть, я совсем не ощущаю. Никаких проблем по части геронтологии.

Я по-прежнему пытаюсь карабкаться в гору, причем, буквально, коль скоро мы поселились здесь, среди Калифорнийских скал. Словом, уход на покой — это совсем не так страшно, как я того боялся.

Когда я, наконец, оставил службу, мы продали дом в Йорктаун-Хайтс, потому что Йорктаун-Хайтс находится почти рядом с Мэдисон Авеню и со всеми теми удобствами и благами цивилизации, которыми так соблазнительна жизнь в большом городе. К тому же, останься мы в Нью-Йорке, мне пришлось бы постоянно встречаться со старыми приятелями, то за чашечкой утреннего кофе в «Алгонкине», то за стойкой бара в «Рице» по вечерам. Убогое зрелище! Бывший литературный агент, который отирается среди тех, с кем он когда-то работал и кто еще продолжает работать уже без него, с другими агентами. Знакомым мы сказали, что уезжаем, потому что я хочу сменить обстановку. И вообще! У меня есть задумка написать собственные воспоминания. Ха-ха-ха! Просто мы надеялись, что сумеем таким образом отвадить хотя бы некоторых из них от нашего нового места обитания. Написать воспоминания! Хорошенькое дельце! Написать мемуары и назвать их так: «Чего я добился в жизни за свои посреднические десять процентов». Впрочем, я прекрасно знаю, что в литературных кругах Нью-Йорка полно тех, кто совсем не прочь, чтобы я и дальше крутился в их среде, давая им возможность продолжить наблюдения за моей персоной.

Но дудки вам! И вот я сижу на залитой вечерним солнцем террасе, лениво потягивая из высокого стакана виски с содовой. На мне отстроченные ковбойские штаны, на ногах — гамаши из коричневой замши. Ни дать ни взять настоящий покоритель Дикого Запада! Да разве мог я в былые времена позволить себе подобные экстравагантности за те жалкие десять процентов, которые платили мне за посреднические услуги?

Прямо перед террасой приземляется крупная птица с буро-коричневым оперением, вроде тауи, но в справочнике орнитолога не могу отыскать ничего похожего. Но бог с ней, с ее научной идентификацией! В любом случае, она — ужасная забияка и драчун. Особенно вот этот экземпляр, скорее всего, самец. Вполне возможно, он просто снедаем комплексом собственной неполноценности. А может, его не устраивает, как именно он справляется с обязанностями главы семейства, отца и мужа. Как бы то ни было, а по десять раз на дню я наблюдаю одну и ту же картину: вот тауи планирует сверху вниз, приземляется на террасе и тут же затевает драку с собственным отражением в оконном стекле. Он распушает перья, начинает шумно бить крыльями и наскакивает на самого себя, словно самый заправский бойцовый петух, барабанит клювом по стеклу, взмывает ввысь, снова падает на пол, и так до тех пор, пока окончательно не выматывает себя. После чего валится в полном изнеможении на каменные плиты и с ненавистью продолжает пялиться на собственное отражение в окне. Так я развлекаюсь уже почти полмесяца: с интересом слежу за бесконечными сражениями тауи со своим двойником. Воистину, сей драчун — настоящий Иаков, ведущий бой с ангелом, Геркулес, пытающийся поразить Гидру, христианин, который

воюет с собственной совестью. А если быть уж совсем точным, то это старый пенсионер Джо Олстон, который никак не может совладать со своей памятью.

Я запускаю руку в пустой стакан, достаю со дна кубики льда и швыряю их на землю.

— Ах ты, забияка! Ну что, сегодня снова по нулям?

Тауи, или как там его, подхватывается с места, взмывает в небо и улетает прочь. Конец проблеме.

У подножья холма, плавно сбегающего от террасы к зарослям кустарника и небольшой дубовой рощице, слышится громкое кудахтанье куропатки. С ближнего пастбища по другую сторону дома, на котором выпасываются лошади наших соседей Шилдов, доносится резкий и пронзительный свист полевого жаворонка. Полевые жаворонки — это нечто новое для меня. В Йорктаун-Хайтс таких птиц нет. Да и куропатки, как мне рассказывали знатоки, если и встречаются в городе, то они не кудахчут, а почти что разговаривают человеческим голосом.

Да, наша терраса — замечательное место для того, чтобы просто сидеть и слушать. Огромное количество птиц вьется вокруг, в любое время дня. Весь дом наполнен веселым щебетом зябликов, которые гнездятся повсюду: в винограднике, в водосточных трубах, среди балок под навесом для автомобиля. Крона дуба на уровне моих глаз переливается разноцветным птичьим оперением. Я вижу, как сосредоточенно стучит своим красным клювом по стволу дерева дятел, как кувыркается на нижних ветках поползень, как зависла среди листвы пара каких-то певчих птичек, издали похожих на плоды лайма.

Честно признаюсь! Несмотря на то, что почти четверть века я прожил в Йорктаун-Хайтс именно среди орнитологов-любителей, сам я никогда не принадлежал к их числу. Ни разу в жизни я не влезал в гамаши и, вооружившись биноклем, парой бутербродов и яблоком, засунутым в карман, не отправлялся шляться по окрестным лесам в поисках объектов для своих наблюдений. В воскресные вечера я лишь созерцал, как эти люди возвращаются домой, валясь с ног от усталости, словно после напряженного матча по регби или воскресного пикника, организованного для них Христианским союзом женской молодежи. Нет, такой отдых меня совершенно не привлекал, и пока мы не переехали в Калифорнию, я с трудом мог отличить каменного дрозда от обычного индюка. Что ж, идея написать собственные мемуары подвигла Джозефа Олстона на почти профессиональные занятия орнитологией. По утрам я часами разглядываю копошащуюся вокруг живность, вырабатывая умение различать птиц, и одновременно с этим полезным занятием предаюсь праздным мыслям о прошлом. А Руфь в это время пребывает в полной уверенности, что я работаю над рукописью или размышляю о годах своей минувшей трудовой деятельности.

Когда мы строили дом, я предусмотрительно велел оборудовать мне отдельный кабинет на некотором расстоянии от самого дома, вниз по холму, куда сбегает терраса. Получилось прямо под ней. Посыл был такой: я не желаю, чтобы меня отрывали от работы телефонными звонками. На самом же деле я просто не хочу, чтобы ко мне лишний раз заглядывала Руфь, которая порой начинает вести себя так, словно я какой-то грешник, которого нужно постоянно наставлять на путь истинный. По всей видимости, она панически боится, что от постоянного безделья мои мозги начнут размягчаться. Однако пока ничего подобного я за собой не наблюдаю. Мне нужна тишина и покой, только и всего. Одну стену, с той стороны, с которой открывался потрясающий вид на горы, я приказал сделать глухой. А северную стену сделали сплошь из стекла, чтобы было больше света для работы, и вот тут я, что говорится, попался. Эта стена выходит на темно-зеленые заросли дубовой рощи, а в кронах дубов всегда копошатся полчища птиц.

Еще более препятствуют концентрации моих мыслей на собственном прошлом два зарешеченных окна, выходящие на юг. Из них мне видно пастбище, и просматривается узкая полоска неба. Даже сидя, повернувшись спиной к ним, я имею возможность видеть на поверхности стеклянной стены неясное отра-

жение того, что происходит за пределами дома. Как известно, и на пастбищах, и в небе полно птиц. Я даже набросал пару страниц, в которых постарался описать собственные ощущения, связанные с моими постоянными орнитологическими наблюдениями, решив включить фрагмент в одну из глав будущих мемуаров. В конце концов, кое-какими секретами литературной кухни я неплохо овладел за те годы, пока улаживал чужие писательские дела. И написать что-нибудь типа: «И вот медленно, словно в фантастическом сне, на сверкающем отражении неба, частично закрытом тенистой кроной дерева, прочерчивается ровная линия траектории полета скользящего в вышине сокола. А рядом стремительно вращается канюк, медленно планируя вниз. На три столба изгороди между небом и пастбищем, которые видны мне в окно, приземлилась стайка голубых соек. Все они настроены весьма воинственно, словно вознамериваясь бросить вызов всему остальному миру. Линии электропроводов, виднеющихся в самом уголке неба, тоже плотно облеплены какими-то мелкими певчими птичками, отчего сам провод похож на бельевую веревку, на которой развешены сохнущие черные лоскутки». А что? Совсем недурственно! Мне доводилось читать, да и продавать тоже, значительно более слабые тексты.

Постепенно я начинаю понимать, в чем кроется соблазн писательского труда, направленного, как известно, прежде всего на то, чтобы максимально потакать собственным же чувствам. Целыми днями я просто сижу у себя в кабинете или на террасе, слушаю и наблюдаю. Вот на западе уже позолотились лучами заходящего солнца вершины скал, вот уже густые синеватые тени легли на зеленые кроны дубов. А солнце скользит все ниже и ниже по верхушкам сосен и мамонтовых деревьев, уходя за горизонт. Если хорошенько прислушаться, то можно услышать отдаленный гул поездов, клаксоны автомобилей, увозящих из Сан-Франциско тех, кто отработал там очередной рабочий день. Слава богу! Мне уже не надо никуда спешить. В эти глухие места едва ли проникнет суета и сумятица большого города в момент окончания рабочего дня. Здесь живут те, кто ушел на заслуженный отдых, кому уже не надо покупать сезонные билеты на пригородные поезда. Это идеальное пристанище для бывших литературных агентов, склонных к созерцательному размышлению. А еще — для птиц!

Открывается французское окно, ведущее из спальни на террасу, и в дверях появляется Руфь. В руках она держит тоненькую серебряную цепочку, презент, который когда-то прислал ей из Хайдарабада в знак благодарности мой бывший клиент Мерфи. Судя по всему, ювелир, трудившийся над цепочкой, имел такой же класс мастерства в ювелирном деле, как Мерфи — в литературном. Иначе какого черта он сделал такую неудобную застежку? Это же надо было придумать винтовой замок, да еще завинчивающийся с обратной стороны!

Свои соображения по поводу идиотизма того, кто создавал сей серебряный шедевр, я, естественно, высказал вслух, попутно пытаясь застегнуть цепочку на шее Руфи. Впрочем, жена не обратила ни малейшего внимания на мое ворчание, видно, решив, что я просто в очередной раз не в духе. Она вообще считает, что нужно уметь себя сдерживать. Честное слово! Порой я готов задушить ее собственными руками! Как это можно жить жизнью здорового человека и не давать воли своим чувствам? Уж если бы сейчас этот безмозглый дурак Мерфи очутился здесь, то я бы не постеснялся высказать ему прямо в глаза все, что я думаю обо всех его идиотских рассуждениях оксфордского недоучки, берущегося судить, да еще с чувством собственного превосходства, о страсти американцев к материализму. Если бы я не извернулся тогда и не продал его дурацкий опус, то черта с два он бы прислал этот чертов амулет в знак своей глубокой благодарности. И сегодня, в мои шестьдесят шесть лет, никто не стал бы меня дергать по пустякам, отвлекая от созерцания птиц. В результате я все ж таки уронил цепочку на каменные плиты. Явно я стал закручивать ее не с того конца. Наглядный пример того, что есть культурные противоположности. Вот уж воистину! Запад есть Запад, а Восток есть Восток, и вместе им не сойтись. Но если невозможно достичь

взаимопонимания даже на уровне культур, то что уж там говорить о политике? Кстати, Мерфи настроен менее радикально, хотя и разделяет ту точку зрения, что полное взаимопонимание с индусами затруднено, но, по его мнению, лишь только потому, что они упорно продолжают думать и делать все по-своему.

— А тумана-то нет! — проговорила Руфь, наклоняясь, чтобы поднять цепочку с пола. В привилегированной школе, где она когда-то училась, ей вбили в голову, что настоящая леди должна уметь владеть не только собой, но и своим голосом. В результате у нее выработалась привычка говорить заговорщицким тоном, адресуя свое сообщение исключительно узкому кругу слушателей. Писатель, который бы на встречах с читателями говорил с ними таким вот голосом, ей-богу! — не продал бы и строчки из написанного. Ибо слушатели тут же истолковали бы его хорошие манеры как обычное пренебрежение к ним. Порой жена заводит со мной разговор, засунув голову в ящик комода или глубоко в шкаф, так, что до меня доносится лишь нечленораздельное бормотание. Это ужасно раздражает. Иногда до такой степени, что я просто встаю и выхожу в другую комнату. А вернувшись минут через пять, обнаруживаю, что Руфь все еще продолжает говорить, не извлекая головы из складок платьев и костюмов.

— Что? Что ты сказала? — переспрашиваю я в таких случаях нарочито громко. Мне хочется, чтобы она почувствовала какое-то угрызение совести, поняла, как она нелепо смотрится со стороны со всеми этими разговорами только для себя. Тщетно! Выпускница привилегированной школы держится безукоризненно: она умеет владеть не только собственным голосом, но и собой.

— Что? Что ты сказала? — повторил я свой традиционный вопрос, хотя на сей раз отлично расслышал ее реплику.

— Я сказала, что нет никакого тумана, — прошелестела она своим обычным тоном великого конспиратора. — Сью боялась, что к вечеру на долину опустится туман и все останутся сидеть по домам.

Наконец я управился с застежкой и без сил откинулся на спинку кресла. Я даже не стал протестовать, когда она начала потирать рукой лысину на моей макушке. Обычно это меня выводит из себя.

— Ты готов?

— Смотря что понимать под твоим «готов». Смокинг или гавайская рубашка навыпуск?

— О, вечеринка будет неформальной.

— Такие брюки и пиджак сойдут?

— Вполне!

— Тогда я готов.

Еще какое-то мгновение она стоит, задумчиво ероша мои волосы. Тихо. На террасе устанавливается необычная, звенящая тишина.

— Иногда мне кажется все это очень аморальным, — роняю я.

— Что «все»?

— Все.

— Что? Дом?

— Все-все!

Я подпираю голову рукой. Нет, во мне нет раздражения. Просто моментами я вдруг остро чувствую собственное благосостояние. А в такие минуты мне хочется услышать вместо вежливого шепота совсем иную реакцию. Я мельком гляжу на жену. По ее лицу, уже намакияженному для выхода в люди, разливается удивление. Очень мягкое, сдержанное недоумение. Ну да! Именно так их учили в школе реагировать на подобные глупости. Бедняжка! Я протягиваю руку и ласково щиплю ее за нос.

— Мне уже впору натягивать на себя власяницу! — говорю я. — И чем я только заслужил иметь рядом с собой такого незаменимого помощника, а? И так хорошо сохранившегося!

— Вполне возможно, это тоже входило в твои десять процентов от гонорара, — шепчет она нежно, но ее слова почему-то меня задевают. Когда мы поженились, я был беден, и первые несколько лет мы жили на деньги ее отца.

Она рассмеялась и ласково потерлась щекой о мое лицо. Щека мягкая и пахнет пудрой. На какое-то мгновенье я почти физически ощущаю ее дряблость. Слишком мягкая, слишком податливая, ни малейшей упругости. А ведь это уже не что иное, как старость. Интересно, каково это — ощущать себя старухой, мелькнуло у меня. Но взгляд Руфи по-прежнему устремлен вдаль, туда, где в фиолетовой дымке теряются долины и золотятся верхушки скал.

— Какая красота! Просто дух захватывает от этого великолепия! — прошелестела она над моим ухом.

Да, красота, думаю я, и это вполне достаточная компенсация за собственную старость. В противном случае я бы ни за что на свете не рискнул превратиться в начинающего орнитолога-любителя. А стал бы отчаянно убивать время, насилуя самого себя собственными воспоминаниями. Тщеславная суета, и все лишь для того, чтобы привлечь внимание к собственной персоне, продемонстрировать всем, что я еще жив. Но мне не надо никому доказывать, что я живой. Сейчас я похож на пчелу, уютно устроившуюся в цветке, который уже сомкнул свои лепестки на ночь. Всё, чем я занимался, зарабатывая себе на жизнь, все, для кого я старался эти годы, среди кого постоянно вращался, всё это отошло далеко в сторону. И эти люди, и моя прошлая жизнь, они для меня уже успели стать воспоминаниями, причем, такими же древними и смутными, как первые впечатления о школьных годах, еще в приготовительном классе.

— Пение птиц действует на меня просто завораживающе! — говорю я. — На меня мгновенно снисходит мир и покой. Не хочу никуда ехать! Нам что, так обязательно надо быть у этих Кейсментов? Лакать дармовое виски, слушать, как издевается над инструментом этот эмигрант-пианист, которого приютила у себя Сью? Непризнанный гений, по ее словам.

— А как же! Ты же ведь всю жизнь трудился литературным агентом. Знаешь в Нью-Йорке всех. И тебя все знают. А потому, естественно, от тебя ждут, чтобы ты тоже посодействовал началу карьеры этого юноши.

Я продолжаю ворчать, и жена снова скрывается в доме. Солнце медленно скатывается за крону дуба, в последний раз ослепляя меня своим пронзительно ярким светом. Прямо подо мною, в самом низу холма, возвышаются два здоровенных эвкалипта. Они гораздо выше дуба и всех остальных окружающих деревьев. С моего места на террасе мне хорошо видно, как переливаются нежные овальные листочки на их макушках, похожие в лучах солнца на крохотных золотых рыбок. Откуда-то из зарослей травы до меня снова доносится кудахтанье куропатки. Ласточка стремительно проносится над террасой, азартно преследуя какое-то мелкое насекомое.

Пытаясь проследить за тем, в кого именно метит ласточка, я вдруг замечаю молодого сокола, еще совсем подлетка, который медленно кружит над макушкой эвкалипта, а потом вдруг пулей взмывает ввысь и растворяется в солнечном свете. Но только я решил, что он улетел, как соколенок снова ныряет с высоты в густую листву за своей добычей. И снова неудача! Я догадываюсь об этом по злобному шипению, с которым он опять устремляется в небо. Остальные птицы сидят тихо, как мыши по своим углам. Такое впечатление, словно на всех них вдруг надели звуконепроницаемый колпак. Я наблюдаю за тем, как зависла в воздухе передо мною пустельга, явно соображая в панике, что ей делать дальше. И тут с неба начинается третья атака, и пустельга с громкими криками уносится прочь. Я встаю со своего места, чтобы получше разглядеть, на кого же ведет охоту этот проказник. Однако соколенок тут же замечает меня и, плавно взмахнув крылом, снова растворяется в лучах заходящего солнца.

Так, что дальше? Какой следующий актер выйдет на сцену? Пустельга улетела. Но из зарослей эвкалипта появляется нечто жужжащее размером не больше

шмеля. Так это же колибри! Просто с террасы мне не видно, что именно за разновидность. Колибри зависает в воздухе передо мною точно на том же месте, где минутой раньше висела пустельга. Птичка явно чем-то недовольна. Вид у нее рассерженный, как у человека, который даже не пытается скрыть собственное негодование. У меня перед глазами тут же всплывает краснощекое лицо полковника Блимпа, маленького человечка с астматически затрудненным дыханием и постоянно негодующими возгласами. Но вот и колибри срывается с места и тоже уносится прочь, словно мелкий камешек, запущенный невидимой рукой из рогатки.

Меня забавляет ее поведение. Надо же! Столько ярости и праведного гнева в столь крохотном тельце! И столько ума! Как она мастерски спряталась среди листьев эвкалипта, куда не смог бы проникнуть и более опытный, взрослый сокол. Не успела маленькая жужжащая точка раствориться в воздухе, как мне пришлось даже протереть глаза от удивления, словно я увидел перед собой духов. Ибо с самой макушки эвкалипта неуклюже поднимается в небо большой филин. Издали он похож на неповоротливого бизона, особенно на фоне изящных и стремительных виражей соколенка и колибри. Эдакий глуповатый увалень, который торопится добраться до наступления темноты к себе домой. А потому, не дожидаясь, пока стая соседей-пернатых станет донимать его своими проказами, он, тяжело помахивая крыльями, скрывается в лесной чаще.

Пожалуй, птичьих впечатлений на сегодня для Джозефа Олстона более чем достаточно. Я весело хихикаю вслух. Наверное, со стороны у меня дурацкий вид. В этот момент на террасе снова появляется Руфь, уже в пальто.

— Ах, Руфь! — говорю я ей. — Ты только что пропустила такой спектакль! Любой бродвейский театр обзавидовался бы.

— Какой спектакль? — непонимающе переспрашивает меня жена.

— Его величество красно солнышко садилось за Калифорнийские скалы!

— Ты совсем с ума спятил! — своим обычным шепотом пеняет мне Руфь. — Или ты уже успел заложить за воротник пару коктейлей? Признавайся!

— Я в полном порядке, мадам! Трезв как стеклышко!

— Тогда постарайся сменить свой обычный игривый настрой на более серьезный тон. Сью и в самом деле хочет помочь этому мальчику. А ты своими дурачествами можешь все испортить.

Руфь убеждена, что я готов на любые безумства ради того, чтобы расшевелить животное или вызвать его любопытство. Помню, как однажды наш терьер Грампи (его уже нет в живых, хотя при своем весе он прожил гораздо больше, чем любая другая собака), так вот, Грампи пытался преодолеть забор с палкой в зубах. Это было еще в Йорктаун-Хайтс. Бежал он конечно, по своему обыкновению, во весь опор, не замечая никаких преград на своем пути. И, естественно, врезался со всего размаха в забор, палка застряла в изгороди, а вместе с ней и голова несчастного пса, которую он едва не снес с плеч. Вот именно так, уверенным шепотом прокомментировала всю сцену Руфь, веду себя я всегда и везде, причем, всю жизнь. Что ж, иногда моя жена может вполне неожиданно высказать своим шелестящим голосом весьма интересную гиперболу. Разумеется, у меня нет ни малейшего желания поощрять нашу соседку Сью к дальнейшим занятиям филантропической деятельностью. Тем более, в области искусства. Да и пареньку, ее протеже, я едва ли смогу быть хоть чем-то полезен. Но выпью с людьми пару-тройку порций виски, послушаю, как он играет. В конце концов, чем я хуже тех двух десятков меломанов, которых он, быть может, соберет когда-нибудь на свой концерт в Таун-холле или в другом престижном зале Нью-Йорка?

II

В Калифорнии, как, впрочем, и везде, спиртное быстро притупляет нервные окончания, отвечающие за артикуляцию речевого аппарата. В результате люди

начинают разговаривать на повышенных тонах, а потому на всех вечеринках, будь то в шикарном зале отеля «Саввой Плаза» или на затерянной в горах Калифорнии вилле, где нашел себе приют талантливый эмигрант, царит одинаково невообразимый шум и гам. Везде одно и то же, думаю я, припарковывая машину среди роскошных кадиллаков, ягуаров, более скромных плимутов, среди которых невесть откуда затесался даже один стильный ярко-красный феррари. Да, пьяная разноголосица не меняется, меняются только декорации, причем, иногда самым кардинальным образом.

Вот и у Кейсментов кого только сегодня нет. Всякой твари по паре! Какие-то малознакомые представители низов, ошметки верхов, перебравшиеся из городов на лоно природы, в свои загородные виллы. И среди всей этой публики чета Олстонов, которым тоже придется слоняться по чужому дому целый вечер с таким видом, словно тебя только что стукнули по голове.

Кухня-барбекю в доме Кейсментов, оборудованная всевозможными грилями и прочее, впечатляет. Прямо тут же к твоим услугам огромный бар, телевизор с большим экраном. Вообще интерьер виллы выдержан строго в стиле модерн. Гостиная, в которой преобладают пепельные тона полыни, оттеняемые красками цвета мандаринов или, может, омаров. Пожалуй, точный ответ может дать только дизайнер, который работал над оформлением помещения. В итоге получилась шикарная комната, в которой каждая вещь дышит комфортом и деньгами. Богатство обстановки и в самом деле немного подавляет. Уж очень вилла Кейсментов смахивает на рекламный проспект, в котором пропагандируется стиль жизни сильных мира сего.

Одна стена дома полностью из стекла. Она раздвигается, образуя единое пространство с внутренним двориком-патио, который заканчивается огромным бассейном. Его цвет вдруг напомнил мне стеклянные кувшины, которые в годы моего детства выставлялись в витринах аптечных лавок в нашем городке Маршалтаун, затерянном на просторах штата Айова. А дальше, за бассейном, игровое поле для всевозможных забав на свежем воздухе: площадка для игры в крокет, теннисный корт, столы для игры в настольный теннис, еще одна площадка для игры в гольф, и еще одна, залитая высококачественным бетоном, для шафлборда. Чуть ниже — огромное футбольное поле, как на самом настоящем стадионе, с отличным газоном. Видно, его специально соорудили для молодого Джима Кейсмента и его приятелей, но одного взгляда на травяное покрытие достаточно, чтобы понять: полем пользуются нечасто. За оградой поместья, там, где склон заканчивается крутым откосом, возле которого примостились постройки конюшен с выступающими вентиляционными трубами, открывается величественная панорама на цветущие сады долины Санта Клара, которые тянутся до самого горизонта, теряясь в дымке сгущающихся сумерек.

Супружеская пара из числа соседей, по всему видно, люди с самым скромным достатком (а среди наших соседей есть и такие), завороженно созерцают окружающее великолепие, явно гордясь тем, что их допустили в круг избранных. Ведь получить приглашение на вечеринку к Кейсментам — это все равно, что пробиться в члены самого элитарного закрытого клуба. Впрочем, справедливости ради стоит сказать, что Кейсменты щедры на приглашения. Но эти люди уж точно попали сюда впервые. По их ошарашенным лицам, по тому, как они постоянно переговариваются о чем-то, соприкасаясь головами, как рассматривают все вокруг, как оценивающе поблескивают их глаза, можно безошибочно сказать, что сейчас в голове каждого из них щелкает свой калькулятор. Сколько все это стоит? Сто тысяч? Нет, наверняка больше! Много больше! А плюс еще обстановка в самом доме. Нет, тут тянет на все двести тысяч! Один бассейн чего стоит! Да у них одна кухня больше, чем весь наш дом! И стоит, наверное, не меньше…

Я уже живу в этих местах более шести месяцев. За полгода мы успели сойтись с Кейсментами так, словно дружили с ними всю жизнь. На своем веку я повидал всякой роскоши, и меня трудно удивить излишествами, но всякий раз,

когда я открываю калитку и вхожу в патио на вилле Кейсментов, мне тоже хочется присвистнуть от удивления. Безукоризненный вкус чувствуется во всем. Да, его купили, этот вкус, и за него заплачена немалая цена. Но вкус есть вкус. Правда, с моей точки зрения, окружающей меня красоте не хватает экстравагантности. Все уж слишком совершенно. Безукоризненность утомляет, как и красота без единого изъяна. Недаром ткачи знаменитых персидских ковров всегда намеренно допускают хотя бы одно искажение рисунка, один сбой в узоре, подчеркивая тем самым, что только Аллах — совершенен. А вот здесь бога не чувствуется вовсе, хотя все божественно прекрасно. Совершенство и простота, достигнутые ценой обычного расчета. Пропуская вперед Руфь, я прислушиваюсь к разноголосице вечеринки и вдруг ловлю себя на мысли, что весь этот роскошный дом так похож на новенький, только что сошедший со стапеля океанский лайнер, на котором впору отправиться в какой-нибудь увлекательный круиз. А еще толчея патио почему-то напоминает мне современные мотели в Лас-Вегасе.

Гости в своем большинстве уже изрядно навеселе. Сью моментально отслеживает наше появление и тотчас же устремляется к нам. У нее миловидное, приветливое личико с безукоризненным макияжем, и улыбается она тебе так приветливо и радушно, что хочется немедленно улыбнуться в ответ. Вот уж действительно! Одного взгляда на хозяйку достаточно, чтобы воскликнуть: «Какое милое создание!» Чуть поодаль, в толпе, я замечаю Била Кейсмента, который тоже приветливо машет мне рукой и одновременно делает энергичный знак официанту-японцу, облаченному в белый пиджак, и тот сию же минуту услужливо несется с подносом к нам. Бил вполне искренне полагает, что гости на его вечеринках счастливы уже хотя бы потому, что здесь можно обойтись без всяких формальностей: все равны, и у всех одинаковые шансы надраться до полной отключки.

— Ах, как я рада, что вы приехали! Я вам так признательна, Джо! — весело щебечет Сью, и, глядя на ее улыбающееся лицо, я — странное дело! уже почти досадую на себя за то, что не хотел поначалу ехать сюда. Ведь даже сам факт твоего существования воспринимается ею с восторгом. Ну, а уж твое присутствие среди ее гостей — это и вовсе событие из ряда вон! За такое одолжение эта женщина готова быть твоим должником до самой смерти.

— Пустяки! — отвечаю я, неловко расшаркиваясь. — А где эти люди, которые хотели меня видеть?

Она весело хихикает, в полном упоении от того, что творится вокруг нее.

— Все пошли к бассейну, сгрудились вокруг воды. Кстати, там и наш второй после вас по степени важности гость. Вы ведь еще не знакомы с Арнольдом, не так ли?

— Думаю, это он не знаком со мной, — парирую я с достоинством.

Она хватает нас под руки и тащит вперед. Я изгибаюсь каким-то немыслимым образом и снимаю с подноса два фужера. Мы обмениваемся с японцем понимающими взглядами, словно старые знакомые. А потом толпа поглощает нас, и мы растворяемся в ней без остатка. Каждые две минуты повторяется одна и та же процедура приветствий: миссис Олстон, мистер Олстон, Руфь, Джо. В свою очередь, на нас тоже обрушивается поток незнакомых имен. Ни одно из них ничего не говорит нам и, будучи произнесенным вслух, тут же тонет в стоящем вокруг шуме. Кто мы здесь? Еще одна супружеская чета со стаканами в руках, присоединившаяся ко множеству таких же пар. И наши голоса, время от времени срывающиеся на крик, моментально сливаются с другими криками. Как же все мы сейчас похожи на ворон, на целую стаю ворон, рассевшихся с громким карканьем на ветках дерева. Пожалуй, слишком суровое испытание для моего уха, привыкшего за последнее время уже совсем к другим птичьим трелям.

Очередная группа гостей с готовностью принимает меня и Руфь в свои объятия, традиционный обмен приветствиями, и мы идем дальше. Наметанным глазом я фиксирую среди участников вечеринки мистера Тинга, седовласого и ужасно добродушного на вид музыкального критика из Сан-Франциско, и еще одну

супружескую чету, известную тем, что они охотно жертвуют немалые деньги на развитие музыкального искусства в их родном городе. Если мне не изменяет память, они занялись меценатством еще в те годы, когда юная Ада Менкен распевала в Сан-Франциско свою веселую песенку «Крошка Бетти из Пайка». Мы обмениваемся неуклюжим рукопожатием (мешает стакан с виски) с мистером Мосье, которого я видел в последний раз на одном из концертов, где он аккомпанировал прославленной чернокожей певице-сопрано. Какой-то джентльмен учтиво целует руку Руфи, и в нем я признаю мистера Бьюдапеста, известного мастера по изготовлению арф и клавесинов. Маэстро облачен в коричневый бархатный пиджак, а на ногах — летние сандалии.

Итак, сливки общества в полном составе. То и дело слышится французская речь, изредка перебиваемая немецкими фразами.

А вот и мой ближайший сосед Сэм Шилдс. Ну, этот-то простой работяга, месит цемент на стройке. Не перечесть, сколько он забетонировал на своем веку дорожек, площадок для барбекю, двориков, печей для сжигания мусора. Между прочим, собственными руками построил себе дом, настоящий образчик гармонии с окружающей природой, который идеально вписался в окружающий ландшафт и даже в какой-то мере улучшил его. Он о чем-то оживленно беседует с капитаном ВМФ и летчиком из авиакомпании «Пан Америка». Оба — тоже наши соседи, кстати, тот красный феррари принадлежит летчику. Сэм медленно двигается мимо нас, улыбается и поднимает свой стакан в знак приветствия. У него иссиня-белая борода и такие же безобразные бакенбарды, как у президента Линкольна. Я слышу, как он говорит своим спутникам: *«Нет! Честное слово, я не шучу! Это была самая настоящая зебра. Слава богу, что еще не леопард. Хэрст же коллекционирует африканских животных. У него даже жираф есть. Он бы еще додумался вывезти к себе в поместье пигмеев из африканских джунглей. А те бы открыли на нас тут охоту по всем правилам...»*

А вот еще небольшая группка из четырех человек: две женщины и двое мужчин. Явно не супружеские пары. Ведут себя раскованно, но все в рамках приличий. На одной даме наброшенный на плечи тонкий кашемировый свитер, задрапированный под шаль. Другая сверкает бриллиантами, искры от которых преломляются в стакане, который она держит в руке. Все четверо тоже что-то оживленно обсуждают. До меня долетают лишь обрывки фраз. *«Представляешь, бампер в бампер? Какой-то идиот! Пьяный в стельку! И это посреди моста...»*

Кого я вижу! Миссис Уильямсон, известный заводчик коротконогих гончих, почетный член Американской ассоциации кинологов и все такое прочее, с обветренным на солнце лицом и грубым, почти мужским голосом *(«Привет, сосед!»).* В настоящий момент она пытается своим громоподобным голосом привести в чувство двух не в меру расшалившихся охотничьих собак, прыгающих возле стойки бара. *«Фу! Эшер, место! Иди сюда!»*

Вот и мы здесь, думаю я, похожи на стаю гончих, которые без устали носятся с одного места на другое. Да, суровая дама моя соседка, не женщина, а настоящая амазонка! Достаточно взглянуть на ее запястья, похожие на толстые корабельные канаты. А с другой стороны, нежной ручкой не удержишь на привязи свору из тридцати собак. Она улыбается мне на расстоянии, загорелая, крупная, настоящая деревенская баба, такая же здоровая и не чурающаяся никакой работы. Вот рот ее складывается в вопрос, и я скорее чувствую, чем слышу, как она громко шепчет мне с противоположной стороны лужайки.

— Ну, как продвигается ваша работа над мемуарами?

А вот еще какие-то неизвестные, но не из местных. Скорее всего, университетская публика: Пенсильвания или Беркли. Две дамы и джентльмен. Пока еще немного не в своей тарелке: суета в доме Кейсментов пугает их, и они все время озираются по сторонам. Расслабьтесь, друзья! И вперед за впечатлениями! Это вам не кино, а обычное американское гостеприимство. И все эти животные, собравшиеся вокруг водоема, затерянного в наших местных джунглях, они

совсем не то, чем кажутся. И на леопардов они не похожи. Даже на зебр. Вот эта амазонка, к примеру, которая промышляет разведением гончих псов, она же работает как лошадь, и не только дома, но и в Лиге женщин за равные избирательные права. А вот те двое, примостившиеся возле гардеробной по другую сторону бассейна, тратят все свое свободное время и деньги на развитие гражданских свобод в стране и страстно мечтают о создании мирового правительства. Половина из собравшихся здесь трудится вовсе не для того, чтобы заработать себе на жизнь, и, тем не менее, все они работают, и их никак нельзя отнести к категории бездельников. Все они что-то делают, а некоторые даже приносят пользу. И в этой толпе совсем не важно, откуда ты: с Запада, с Востока. Тут мы все вперемешку, словно овощи в похлебке, хотя каждый по отдельности вполне тянет на высококачественный филей.

«Ах, как я рада видеть вас! О, да! Все просто замечательно! Мило! Чудесная вечеринка, не так ли?»

Бил Кейсмент с загрубевшим лицом завзятого игрока в гольф, поглощенный каким-то разговором с очередной группой гостей, не забывает время от времени посматривать в сторону ворот. А вдруг еще кто-то пришел? Вот он отрицательно покачал головой, и я услышал, как он обронил, обращаясь к кому-то: *«Пустая трата сил, мой друг!»* И уже в следующее мгновение почтительно склонился над маленькой женщиной с густо напудренным лицом. Издали кажется, что она обсыпала себя мукой. Но вот появляется кто-то новый, следует короткое: *«Прошу простить меня!»,* и Бил устремляется навстречу новому гостю. А обсыпанная мукой дама начинает лихорадочно озираться вокруг в поисках новой жертвы. Но я вовремя успеваю отвернуться и исчезнуть в толпе.

А вот и люди искусства, так сказать, представители изящных жанров. И тоже кучкуются группой. О, да здесь и мистер Тинг, и мистер Бьюдапест, и супружеская чета меценатов, чьи имена начисто выветрились из моей памяти, и мистер Акерман (по-моему, это его псевдоним). Так сказать, узкий круг знатоков и истинных ценителей прекрасного. Около них озабоченно отирается весьма энергичная молодая особа, совершенно неказистая на вид. Скорее всего, учительница музыки из какой-нибудь провинциальной школы. Конечно, это ее звездный час! Оказаться на такой шикарной вечеринке, среди всех этих знаменитостей. Голосок ее слегка дрожит от волнения, когда она делает попытку присоединиться к общему разговору. И начинает она слишком громко, что тоже косвенно свидетельствует о ее нервозности. *«Но вы же не хотите сказать, что Хоунгер… Никогда бы не подумала!»* И я бы тоже. Бедное дитя! Протри глаза и оглядись вокруг себя. Ты еще не на небесах! И в райских кущах около бассейна бродят не ангелы, а простые смертные. Такие же, как ты! Разуй уши и слушай. Слушающий да услышит!

Так, и где же наш гений? А вот и он, собственной персоной. Приближается ко мне, и даже довольно быстро, учитывая царящую вокруг толчею. Правда, его все время останавливают, пристают с вопросами, он что-то отвечает и энергично продвигается вперед. Со стороны это смахивает на то, как выгуливают пса где-нибудь по Первой Авеню или в районе площади Бикмана. Между тем веселье продолжается. Все вокруг кружится в калейдоскопе разноцветных огней и красок, непрерывный звон стаканов, сплошной гул голосов. На лужайке за бассейном уже поспокойнее. Густая трава газона скрадывает шум, словно хороший толстый ковер. В этот момент я спотыкаюсь: что-то подвернулось под ногу. Черт! Смотрю вниз — воротца для игры в крокет. Полстакана коктейля коту под хвост! Надеюсь, не на платье жены! Я с опаской бросаю взгляд на Руфь. Слава богу, не на нее. На помощь спешит еще один японец. Их тут как грибов после дождя. Благодарю! Спасибо! Официант ощеривает в улыбке длинные белые зубы. За сияющей улыбкой невозможно прочитать его мысли. Интересно, о чем он сейчас думает? Вполне возможно, откровенно презирает всех собравшихся. Американцы! Ясное дело, все как один выпивохи и бузотеры. А что скажешь про наш веселый нрав? Или мягкосердечность? А гостеприимство? Какие на этот счет мысли у моего

спасителя, так оперативно отреагировавшего на мою беду? Или ты, приятель, полагаешь, что мы должны вести себя на публике, как французские аристократы, о которых так любил в свое время писать Генри Джеймс? Чепуха! Какие глупости лезут мне сегодня в голову. Он и близко ни о чем таком не думает. Просто вышколенный официант, безукоризненно знает свое дело, только и всего.

— А! Вот и он! — восклицает Сью.

Она произносит эту фразу таким тоном, каким обычно заканчивают доказательство теоремы: «Что и требовалось доказать». И на ее лице читается текст развернутого выступления: *«Вот он перед вами, гениальный юноша, лучший молодой пианист в мире. А рядом с ним — бывший литературный агент, который знает в Нью-Йорке каждую собаку. И которого тоже знает каждая собака. Еще бы! Он дважды в неделю регулярно обедает с самим С. Гуроком. А я, такая умница, свела этих двоих вместе: карбид и вода. И что будет? Ведь может случиться самый настоящий взрыв, полетят осколки в разные стороны, и золотистые языки пламени вырвутся наружу, и в вечернем небе вспыхнет золотой крест, предзнаменуя нечто великое».*

— Мистер Каминский. Мистер и миссис Олстон. Арнольд. Джо и Руфь.

Все, свою миссию она выполнила. А теперь держись ты!

III

Первое впечатление. Пулей проносится мысль: *«И что это Сью в нем нашла?»* И почти сразу, или даже одновременно: *«А ведь Бил Кейсмент выглядит лучше».*

Тех минут, пока шла процедура представления, пока что-то любезное невнятно бормотала жена, пока Сью объясняла нам, кто есть кто, мне вполне хватило времени для полной инвентаризации гения со всеми сопутствующими выводами. Я даже успел понять, почему он сразу же настраивает меня на бойцовский лад. И я, как петух, готов тут же распушить свой хвост и ринуться навстречу неприятелю. Его внешность — так себе, с серединки на половинку. Кожа плохая, безо всяких там прыщей, но пористая и жирная. Скорее всего, результат перенесенной в детстве стафилококковой инфекции. Голова слишком велика для его тела: маленький, худенький, волосы подстрижены «ежиком». Похож на секунданта боксера, которого выпускают первым на ринг в каком-нибудь захудалом спортивном зале: так, исключительно для разогрева публики. Наверняка его имя произносится как «Моше», но он почему-то бормочет: «Муше». При всем при том в его облике чувствуется своеобразная элегантность. И одет он подобающим образом — в белый смокинг. У него большие карие глаза, немного навыкате, но это их не портит. Женщинам, как правило, нравятся такие глаза. К тому же, они с лихвой компенсируют чересчур маленький ротик. Не рот, а просто узенькая щель, наподобие пасти морского окуня, который в изобилии водится в здешних прибрежных водах.

Словом, законченная картина с подходящим для такого случая названием. Например, с таким: «Железистый гений» или «Гений со вспухшими железами». Разумеется, если у вас чувствительная натура, если вы не можете созерцать художника, не впадая при этом в экзальтацию, то тогда лицо Каминского и в самом деле немедленно привлечет ваше внимание, вызовет симпатию, уважение и даже священный трепет. Да, он точно отмечен печатью того, что люди называют гениальностью. Более того, все стигматы гения при нем и на нем. Впрочем, на старого Джо Олстона такие штучки уже давно не действуют. Слишком много перевидал он на своем веку всяких невзрачных юношей с претензией на гениальность. А потому лицо молодого человека моментально вызывает у меня подозрительность, граничащую с неприязнью.

С другой стороны, какое мне дело до этого виртуоза игры на фортепьяно? А все же приятно, что Бил Кейсмент гораздо симпатичнее протеже своей жены. А еще меня страшно раздражает это внешне совершенно безучастное лицо. Лишь

легкая презрительная гримаса изредка искажает неподвижные черты. И эта маска гения, чувствующего свое превосходство над всеми остальными, тоже вызывает у меня негодование. И то, как он по-хозяйски властно позволяет руке Сью покоиться на рукаве его пиджака. Что же до самой Сью, то, честное слово, еще никогда я не видел ее такой счастливой. Добрая душа! Она буквально светится от счастья, переполняемая гордостью за свое великое открытие. При взгляде на меня у нее тотчас же появляется выражение глубочайшей признательности и благодарности, словно я только что позвонил ей с другого конца света, затратив как минимум пятьдесят долларов за звонок. И одновременно, подмечаю я с болью, в ее нынешнем облике появилось что-то жалкое. И эта просительная улыбка, и манера, с которой она держится, и то, как она смотрит на своего спутника. Нет, определенно! Женщине за пятьдесят не стоит так смотреть на молодых людей. Даже если кто-то из них и научился сносно бренчать на фортепьянах. Пожалуй, увидь она себя со стороны, она бы тут же прониклась презрением к самой себе. Вся эта живая картинка вызывает у меня растерянность и даже смущение. Во-первых, потому что я люблю Сью. Она мне нравится, что почти автоматически означает неприятие Каминского. Меня отталкивает холодная гримаса презрения на его лице, и мне уже жаль бедную Сью. Словом, наше знакомство с виртуозом игры на фортепьяно не увенчалось той бурной химической реакцией, на которую она так рассчитывала. Что же до самого Каминского, то он совсем не так глуп, как можно было бы того ожидать. За какие-то сотые доли секунды он принимает мой вызов, сопровождая его не менее выразительным взглядом, в котором отчетливо читается ответная неприязнь, переходящая во враждебность.

Некоторое время Сью продолжает мило щебетать с беспечностью человека, который беседует с соседом через забор, по которому пропущен электрический ток. Она еще ничего не поняла, и наше взаимное неприятие с ее протеже пока осталось для нее тайной.

— Люди, у которых есть что сказать и чем поделиться с другими, такие люди должны знать друг друга, — продолжает свои разглагольствования Сью. — Впрочем, все мы, простые смертные, тянемся за вами, стремимся к тому, чтобы быть достойными вашего общества! Поверьте, это совсем не просто. Ах, как я рада, что вы, двое, сегодня здесь. В нашем доме! Можно кое о чем вас попросить, Джо? Вы не возражаете, если я вас немного поэксплуатирую? Звучит ужасно, да? То есть, мне бы хотелось всего лишь воспользоваться вашими связями, и больше ничего. Вот так, наверное, лучше будет сказать. Арнольд, дело в том, что Джо долгие годы работал литературным агентом в Нью-Йорке. Он был лучшим из лучших в этом деле. Правда, Джо? В свое время сотрудничал с самим Хемингуэем. И с Джеймсом Хилтоном. И с Джеймсом Кейном. И бог знает с кем еще. У него очень солидная репутация в литературном мире, и наверняка есть авторитет и влияние в других областях искусства. Словом, мы собираемся самым бессовестным образом воспользоваться вашими знакомствами, Джо. Вернее, я собираюсь. Вам ли не знать, как трудно сегодня сделать карьеру в музыке. Особенно концертирующему пианисту. Такое впечатление, что все эти престарелые мэтры словно в заговоре против молодых и…

Сью держит в руке полный фужер. Едва ли она сделала хоть глоток из него. Ангельское выражение лица, а я готов скрежетать зубами от ярости.

Руфь считает, что я мгновенно проникаюсь безотчетной неприязнью к совершенно незнакомым людям, а потом тут же начинаю цепляться к ним по пустякам и даже могу спонтанно устроить скандал на пустом месте. Она несправедлива ко мне! Вот, к примеру, в настоящий момент я занят тем, что пока еще только концентрирую энергию, чтобы потом, когда-нибудь, запустить гарпун в этого молодого прохвоста. Запустить и попасть в цель, чтобы стереть с его физиономии горделивую ухмылку превосходства, заставить его сказать нечто скромное и непритязательное, подобающее его возрасту и положению. Боже мой, но что за вздор в это время несет мой язык!

— Боюсь, вы несколько преувеличиваете мое значение, Сью, особенно в том, что касается влияния в музыкальной среде. Впрочем, все мы будем счастливы послушать вашу игру, Арнольд.

Пожалуй, звучит слегка напыщенно, но в целом красиво и вполне уместно. Гений снисходительно кивает в знак того, что он наконец-то признал во мне живого человека, а не просто старого остолопа.

— Странно, что вы до сих пор не слышали, как он играет. Я думала, у вас в доме слышно. Ведь Арнольд днями напролет сидит во флигеле и упражняется за роялем. Играет часами! Разучивает чрезвычайно сложные вещи. Ах, эта музыка! За ней он забывает обо всем на свете! Даже о том, что надо поесть. Мне приходится специально просить горничную, чтобы та отнесла ему обед. Представляете? — Сью ласково хлопает Арнольда по рукаву. — Непослушный мальчишка! Но он такой сильный! Вы только взгляните на его руки!

Она переворачивает его руку ладонью вверх. Огромная лапища, ничего не скажешь. Такая подошла бы верзиле вдвое больше его. И ладонь — большая, плотная, словно у мясника. Легкая презрительная ухмылка скользит по его устам, когда он слегка поворачивается к ней.

— Неужели я и в самом деле создаю столько шума? — интересуется он небрежным тоном. Это первая полноценная фраза, произнесенная им вслух. Наконец-то мы услышали голос гения.

Конечно, сам я — не гений. Я даже не художник, в том понимании слова, когда оно пишется с большой буквы. И натура у меня не такая тонкая и чувствительная, как у всех этих мастеров искусства. Зато я могу безошибочно распознать вызывающие интонации в голосе собеседника, когда тот роняет слова почти на грани оскорбления. Впрочем, бедняжка Сью воспринимает реплику Каминского как неуклюжую попытку извиниться за причиняемые неудобства.

— Ах, боже мой, о чем ты говоришь! Какой шум! Да соседям, можно сказать, повезло, если им слышна твоя игра. А уж если ты начинаешь играть Шопена, что, согласись, бывает нечасто, то им повезло вдвойне. Вот, знаете, что мы делали вчера вечером? Сидели в гостиной и слушали, как Арнольд играет Шопена у себя во флигеле. Мы даже перенесли стулья в патио, чтобы было лучше слышно, и почти полтора часа наслаждались дивной музыкой. Настоящий концерт получился. Даже Джимми и тот слушал. А его уж заставить посидеть на месте — вообще немыслимая вещь. Нет, скажу я вам! Так, как исполняет Шопена Арнольд, не играет никто!

Выражение лица Арнольда свидетельствует о том, что он всецело разделяет мнение своей патронессы, хотя во всем остальном не склонен обращать на него должное внимание.

И вообще, наш гений предпочитает держать дистанцию в отношениях со всякими мелкими людишками. Уж он-то не даст запятнать высокое искусство заразой низменного потребительства, духом которого пронизано все в этом доме. О, как это похоже на моего бывшего клиента Мерфи, думаю я, с трудом подавляя очередную волну раздражения. Этот бы тоже, очутись он здесь, шатался среди гостей с каменным выражением лица, делая вид, что все и вся ему безразличны. Для него наше сборище — это типичная картинка американского образа жизни, представление о котором он слепил исключительно по старым кинофильмам. Зато в Каминском он бы с первого взгляда признал своего, человека одной с ним крови. Художник, и естественно, привозной! Разве в этих мерзких технократических джунглях может вырасти Художник с большой буквы? И вот он, артист, которого заманили в свои коварные сети плутократы и нувориши, потакающие собственным изощренным прихотям! О, как это все понятно! И каким бы сочувствием к Каминскому он бы проникся, как пылко приветствовал бы в нем собрата по борьбе за святые идеалы высокого искусства!

Ничто не выводит меня из себя до такой степени, причем, мгновенно, как бравада, замешенная на высокомерии и самонадеянности. И мне не важно, кто

бравирует собственным превосходством: европеец, представитель Азии или продукт отечественного производства. Понимаю, мне катастрофически не хватает выдержки. Наша соседка миссис Шилдс, которая, как я уже говорил, трудится не покладая рук на ниве межкультурной коммуникации, внося свой посильный вклад в дело развития и укрепления взаимопонимания между иностранными и американскими студентами, обучающимися в Стэндфордском университете, тоже время от времени затаскивает нас к себе на свои посиделки. И мы точно так же бестолково толчемся в ее доме, создавая шумную многоголосицу на разных языках и демонстрируя тем самым наличие коммуникации, с одной стороны, и взаимопонимания, с другой. Впрочем, иногда завязываются и вполне содержательные разговоры. Но как только все мы, индусы, западные немцы, итальянцы, представители Лаоса и Камбоджи, японцы и китайцы, начинаем выяснять друг у друга, кто что думает по тому или иному вопросу, как обязательно в наш круг вклинивается некто извне и начинает пренебрежительно цедить сквозь зубы всякий бред о пресловутом американском материализме. Всё! Я тут же вспыхиваю, как спичка, и мы с женой уходим.

Вот и сейчас я мысленно корю себя за то, что принял приглашение Сью. Не надо было мне знакомиться с этим Каминским! Он произнес всего лишь пару слов, но для меня их оказалось достаточно, чтобы разглядеть светящийся у него над головой нимб особой духовности, знак того, что он принадлежит к избранным и не чета всем нам, сирым.

Мимо нас проходит японец с подносом.

— Ты будешь, Арнольд? — интересуется у своего протеже Сью, но тот отрицательно машет ручищей. Как же! Станет он пить! Такие, как он, выше примитивных плотских утех. Я не без удовольствия наблюдаю за тем, как он вытягивает шею, пытаясь понять, что же ему нашептывает Руфь в своей обычной манере великого конспиратора. Вот-вот! Приложи, дружок, усилия, чтобы услышать даму! Стань, хоть на минуту, таким, как все. От напряжения у него даже морщинка образуется на переносице. Стоит и слушает как миленький. Хотя готов поспорить с кем угодно, что он не разбирает ни единого слова из того, о чем ему лепечет моя любезная женушка.

Всё! С меня хватит! Я демонстративно поворачиваюсь к ним спиной. А ведь было время, когда я не мог позволить себе подобной демонстрации чувств. Почему-то вдруг на память пришла одна давняя вечеринка в Нью-Йорке по поводу номинации на лучшую книгу месяца. И там один юный наглец, кстати, из числа номинантов, позволил себе какое-то оскорбительное высказывание по адресу супруги его издателя. Тут же завязалась драка, и в ход пошли кулаки. А в результате в пылу борьбы один из участников потасовки укусил оскорбленную даму за руку. По-моему, это был литературный обозреватель из «Геральд Трибун». Из руки пошла кровь, и дама чуть не умерла от страха. Вполне возможно, несчастная просто боялась общего заражения крови. Не секрет ведь, что укусы критиков порой бывают смертельными. И яда в них точно больше, чем даже в укусах верблюда. Как хорошо, что все это уже в прошлом. Пусть искусство идет своей беспокойной дорогой вперед, к совершенству, но уже без меня. А мне вполне хватает для собственного удовольствия простого наблюдения за птицами.

Я слышу, как Сью говорит у меня за спиной, обращаясь льстивым голосом к Арнольду:

— Как ты красиво одет, Арнольд! Ты у нас сегодня самый стильный среди гостей.

Перебор, моя дорогая соседушка. Явный перебор. В этой толпе, где никто не соблюдает никаких условностей, разве что по части собственных мыслей, так вот, в этой толпе не имеет значения, кто и во что одет. А потому твой вырядившийся в пух и прах гений очень смахивает на галантерейщика, торгующего предметами мужского туалета. О, наша вечная тяга к красоте во всех ее проявлениях! Я окунаю нос уже в третий стакан виски. Я даже не прочь перекинуться

с кем-нибудь парой слов, но только не с Каминским! Упаси меня бог вступать в разговоры с этим занудой! Как назло, ни одного знакомого лица поблизости. Сью со своим пианистом трепетно внемлют моей жене, которая продолжает с упоением шептать о чем-то, понятном только ей. Я поднимаюсь на носки и начинаю слегка раскачиваться. До меня долетают обрывки фраз из чужих разговоров, но я почему-то опять начинаю думать про Сэма Шилдса и его зебру, потом мои мысли опять перескакивают на Мерфи. И я думаю, что вот он бы точно не испугался при виде зебры, скачущей среди калифорнийских холмов. И ни капельки не удивился бы. Он ведь видел в кино и не такое. И потом, с его точки зрения, все современные американцы, начисто лишенные какой бы то ни было духовности, только тем и занимаются, что выписывают из Африки в качестве домашних любимцев всяких зебр, леопардов, крокодилов и прочих тварей. Эдакое провинциальное стремление к оригинальности, свидетельствующее о полнейшем упадке культуры и духовном обнищании всей нации.

Я снова вскипаю. А, черт! Какое отношение имеют зебры к тем интеллектуальным спорам, которые кипят вокруг меня?

Но вот некто на самом верху дает команду: «Да будет свет!», и в патио вспыхнуло неяркое освещение, напоминающее тусклый свет луны на рассвете. Легкие голубоватые тени заскользили по поверхности воды, над которой собрались клубы пара, словно в жаркий весенний день. Сью впилась немигающим взглядом в мужчину, облаченного в бархатный пиджак, который, энергично жестикулируя, рассказывает что-то чете Акерманов, нашим известным меломанам и меценатам. Еще один сосед в грубом шерстяном костюме, смахивающем своей расцветкой на шотландский плед, стоит чуть поодаль и созерцает музыковедческую группу с любопытством человека, наблюдающего за тем, как маленький зверек роет себе норку. Да! Кажется, я не оправдал надежд Сью. Фактически мы расстались с Каминским, даже не попрощавшись. Я ловлю на себе озадаченный взгляд Сью. В ее глазах застыл немой вопрос. Чувствуется, что она устала. Мы встречаемся глазами, и она тут же корчит веселую рожицу, давая мне понять, как тяжело нести бремя гостеприимной хозяйки, а потом разражается веселым смехом.

— Итак, все в сборе? — спрашиваю я.

— Почти. Сказать по правде, я и сама не знаю добрую половину гостей. Пригласила первых попавшихся из числа тех, кто имеет отношение к музыке.

— И получилось очень славно! — говорю я, ни капельки не кривя душой. И снова принимаюсь созерцать разноликую толпу. Благо, с моего места по другую сторону бассейна открывается отличная панорама на патио. И я смотрю за представлением, которое разворачивается передо мной, словно на сцене. Мелькание огней и ярких цветовых пятен вызывает в памяти полотна Дега, на которых он изображал своих бесконечных балерин. Я делюсь своим наблюдением с хозяйкой и слышу, как ее муж с громким смехом приветствует очередную порцию гостей. В патио появляются еще четверо опоздавших.

— Прошу прощения! — извиняется передо мной Сью. — Мне надо поздороваться с вновь прибывшими. И еще я хочу познакомить Арнольда с Акерманами. Пожалуй, я похищу его у вас на какое-то время.

Я вижу, как гневно сжимается его маленький ротик, превращаясь в одну сплошную линию. Он тяжело дышит и даже не пытается скрыть своего раздражения.

— Ради всех святых! Сколько это будет продолжаться? — шипит он прямо ей в лицо.

Сью в замешательстве молчит, уставившись на него. Наконец губы ее растягиваются в глуповатой улыбке. Она украдкой смотрит на меня, потом переводит взгляд на Руфь, потом на Каминского.

— Но ты же знаешь, люди есть люди! — начинает она лепетать заискивающим тоном. — Без предварительного подогрева они…

— Ради всех святых, прекрати! — кричит он ей с неистовством. И что-то свистит у него в горле, не давая выхода переполняющей ярости, словно все его бронхи забиты мокротой, которую нужно немедленно выплюнуть. — По-твоему, я должен играть для этих свиней, этих недоумков, которые, пока не напьются в стельку, не готовы слушать музыку? Для них, кто развалится в креслах и начнет храпеть при первых же тактах, да? Такая публика меня не устраивает! Эти люди не готовы слушать музыку, ясно? И играть для них я не стану. Даже не надейся! Все, что их интересует, это количество еще не выпитого спиртного в твоем доме.

Руфь хватает меня за руку, отчаянно пытаясь оттащить в сторону. Я делаю вид, что иду за ней. Ну уж нет! Я ни за что не лишу себя удовольствия послушать продолжение скандала. Интересно, что еще скажет этот монстр? Сью разворачивает его к нам спиной и тихо шепчет, уводя прочь:

— Прошу тебя, Арнольд! Ну же! Будь паинькой! Никто из них не сделает тебе ничего плохого. Мы же обо всем договорились. Помнишь? Пусть немного расслабятся для начала. Это совсем не помешает. Поверь мне! А если что не так, то прости меня, дорогой. Я сейчас все улажу. И мы начнем, как только ты скажешь…

Все ж таки Руфь умудрилась оттащить меня слишком далеко, и последние слова Сью тонут в общем шуме. Мы останавливаемся возле зарослей клематиса, буйным цветом обвившим гардеробную. У Руфи такой вид, словно ей в кофе всыпали унцию соли. Белоснежно-седые волосы в сочетании с темными бровями делают ее похожей на маркизу из старого французского водевиля. Она в явной растерянности, и хотя в свое время ее, конечно же, научили тому, как следует вести себя даме в любой ситуации, она никак не может остановить свой выбор ни на одной из известных ей моделей поведения. Мы оба непроизвольно смотрим туда, где недавно стояли вместе с хозяйкой и ее протеже. Вдалеке виднеется силуэт Сью в светлом полосатом платье из хлопка и белый смокинг Каминского. Вот они попадают в полосу неяркого света, и мы видим, как он рывком вырывает свою руку и уходит прочь.

Мы с женой угрюмо переглядываемся, не зная, что сказать. Только что на наших глазах потерпела сокрушительный провал попытка милой, но немного беспечной женщины, преданной делу культуры и все такое, облагодетельствовать своей бескорыстной заботой юное дарование. А тот вместо благодарности взял и нахамил ей, демонстративно выставив дурой в глазах ее старых приятелей. Что ж, болезненный, но неизбежный финал подобных отношений. В искусственном лунном свете, заливающем патио, Сью кажется мне маленьким испуганным олененком. Да, представление в самом разгаре, только вот пошло оно совсем не по тому сценарию, по которому планировалось изначально. Сольный концерт, как я понимаю, благополучно сорван. Так что шоу, на которое собралась такая орава людей, не состоится. Как говорится, финита ля комедия. Занавес опущен.

Ну, не будь же дурочкой, говорю я, мысленно обращаясь к Сью. Не ходи за ним! Но не успел я подумать, как она безвольно потащилась следом. Что за дура! Набитая дура, повторяю я в сердцах.

Мне видно, как она поравнялась с ним. Ее платье и его белый пиджак снова сливаются в одно светлое пятно. Вот он драматическим жестом вскидывает руки вверх, напоминая мне оркестранта, приготовившегося ударить в литавры. Торжественный момент, выпадающий лишь один раз на протяжении всего концерта. И тут звучит гонг, приглашающий всех к столу.

Чья-то рука ложится мне на плечо, и кто-то одновременно подталкивает вперед Руфь. Поворачиваюсь и вижу перед собой Била Кейсмента.

— За весь вечер не перекинулся с вами и парой слов! — говорит он зычным голосом игрока в гольф, для которого упражнения на свежем воздухе — вполне привычное дело. — А так приятно увидеть в этой толчее знакомое лицо! Ну, как вам наше мероприятие? Всё о'кей? Тогда пойдем подкрепимся немного.

IV

Гости вереницей потянулись к дому. Шум, топот, шарканье десятков ног, любопытное вытягивание шей. А что там внутри? Выжидательное выражение на лицах, предвкушение новой порции удовольствий. О-о-о-о-о! Большие доски, смахивающие на подносы для еды, которыми обычно пользуются в кафетериях, все вырезаны из ценных пород дерева, а за ними горы съестного, на самый изысканный и утонченный вкус. За стойкой шеренга официантов. В глазах рябит от их белоснежной униформы. Все наготове, все готовы броситься обслуживать вас по первому же взмаху руки: ложки, вилки, лопаточки для раскладывания яств. Настоящая выставка самых разнообразных салатов, просто какой-то общенациональный смотр сельскохозяйственной продукции! Здесь и салат-латук с кружевной бахромой по краям, салат из листьев эндивия, кресс-салат, помидоры на любой вкус, издали напоминающие ярко-алые цветы, артишоки, маленькие зеленые головки лука-шалота, икра, аппетитные кружочки заливного, искусно уложенный на блюде краб с горошинками душистого перца вместо глаз, обильно залитый майонезом, и еще бог знает что. Вот это, пожалуйста… и это… и это…

Бедные, изголодавшиеся беженцы из Манхэттена! Не жалейте для них угощения, господа официанты! Такое впечатление, что эти несчастные не видели приличной еды начиная с Великой депрессии 1929 года.

Мимолетный взгляд вправо — лавина мясного. Нежно-розовые грудки зажаренных на вертеле индюков, мясо-барбекю, рядом вазы, полные устриц с самой разнообразной заправкой, засахаренные ломтики ямса, издали похожие на медовые соты. Какой-то мужчина, вооружившись длинным, как меч, ножом, ловко орудует возле стола, нарезая тончайшие, как папиросная бумага, ломтики бекона, и тут же укладывает их на подносы. Рядом его помощник так же умело обращается с грилем, формируя ассорти из жареного мяса. Мой поднос уже заполнен до отказа. А еще пикули, оливки, черенки сельдерея, торчащие завитками среди кусочков льда, и целая витрина ароматной копченой рыбы: семга, золотистые угри, аппетитная сельдь. И не забыть про сыры, которых тоже полным-полно, на самый разный вкус. И, наконец, хлеб. Чесночный хлеб, тонкие ломтики кукурузных лепешек. Что еще?

Хватит! На подносе уже нет ни дюйма свободного места. Но куда там! Мы бросаем взгляд в другую сторону и видим в углу три горделиво возвышающиеся тележки с десертами. Вазочки с мороженым самой причудливой формы и цвета: в виде груши, яблока, ананаса. И все это, переложенное сухим льдом, благоухает ароматами и радует глаз. Рядом блюда с разнообразнейшей выпечкой: печенье, пирожные с взбитым кремом, эклеры, наполеоны, тарталетки и что-то еще, чего я не знаю и чему, быть может, даже еще не придумали названия. Кувшины с соком, два огромных сосуда, заполненные темным, как вино, соком, в которых лениво плавают ананасы в окружении вишен, крупных ягод ежевики и черной смородины. Пьянящие пары кофе. Сотни запахов, один притягательнее другого, лук-шалот, чесночные приправы, пикантный аромат камембера и рокфора, тонкий букет вин, экзотические запахи, источаемые фруктами. Настоящее пиршество, лукуллов пир, великолепие застолий древнеримских патрициев.

Но никаких патрициев! Вместо них — Бил Кейсмент, загорелый, высокий здоровяк, успешный предприниматель с туго набитым кошельком, который регулярно пополняется из тех доходов, что приносят ему деревоперерабатывающие предприятия, владельцем коих он является. И никакой он не сибарит! Просто ему нравится быть гостеприимным хозяином и потакать любым капризам любимой женушки. Он ведет нас к столу, не переставая озираться по сторонам.

— Куда это запропастилась Сью? — недоумевает он. Официант за стойкой делает ему знак рукой. — Прошу простить, я сейчас! Если кто-нибудь из этой музицирующей публики станет претендовать на мое место, скажите, что оно занято. Ладно?

Он с улыбкой отходит от нас, всем своим видом демонстрируя, что на этой вечеринке он — не хозяин. Так, работает на подхвате вместе с остальной обслугой. Лужайка, на которой еще несколько минут тому назад стояли Сью и Каминский, опустела. Хозяйки нигде нет. Исчез и ее гений, ради которого и затеяно все торжество.

— Славный вечерок выдался, ничего не скажешь! — ворчу я.

Руфь понимающе улыбается.

— Переживаешь, что я не дала тебе дослушать до конца твоих птичек?

— У тебя не язык, а бритва. Им бы впору ветчину нарезать, — лениво огрызаюсь я. — Да! Я зол! А тебе что, все это приятно?

— Сью очень мила. В противном случае это вылилось бы в самый настоящий фарс.

— Вот и слава богу, что она настолько мила, что не превратила свое сборище в фарс.

— Бедняжка Сью! — вздыхает жена.

Я оглядываю горы закусок на своем подносе и почему-то вспоминаю, с какой презрительной миной на лице пианист отверг саму мысль о том, что гости могут захотеть выпить и закусить. Может, он вообще питается святым духом, думаю я с раздражением.

— Неврастеник! Слизняк! Настоящий монстр в духе Достоевского! — роняю я вслух.

— Ты не сделал ни малейшей попытки скрыть свою неприязнь к нему! — ласково пеняет мне Руфь.

— Это было выше моих сил! Он меня достал до самых печенок.

— Пожалуй, ты как всегда немного преувеличиваешь. Юноша совсем не так уж плох. И потом, в чем-то он прав. Я тоже считаю, что для музыкального вечера здесь слишком много спиртного.

— Да они просто не умеют принимать гостей по-другому.

— И все же это не лучший антураж для выступления серьезного пианиста.

— Хорошо! Согласен с тобой. Тогда какого черта он здесь? Или его сюда силком тащили? В конце концов, кто он есть? Вассал Кейсментов, питающийся с их руки. Самый обыкновенный объект чужой благотворительности.

— А я ведь с самого начала знала, что он постарается хоть как-то унизить ее.

Иногда откровения жены меня просто поражают. Не имея за плечами никакой научной степени, она довольно точно может определить состояние психики человека. Впрочем, вслух я говорю, что, поскольку она не профессиональный психотерапевт, то никто не давал ей права делать выводы по поводу состояния того или иного человека. Но пусть будет по ее: Каминскому надо было как-то проявить себя и отомстить хозяйке. И он не нашел ничего лучшего, чем публично унизить женщину в присутствии ее же гостей. Но это — лишь одна из многих сотен и даже тысяч мелочей в его характере, которые с самого начала подействовали на меня, словно красная тряпка на быка.

— Да, будет ужасно неловко, — шепчет в своей привычной манере Руфь, — если ей не удастся уговорить его выступить перед гостями.

Я поворачиваюсь к своему подносу и сосредотачиваюсь на еде.

— Ешь! А то скоро все остынет! — бурчу я недовольно. — Не будем же мы ждать Била.

Я откусываю кусок индейки и беру ломоть чесночного хлеба. Мой вечно страдающий расстройством пищеварения желудок мирно урчит в ответ и тут же успокаивается. Но слова жены не дают мне покоя, и я снова завожусь.

— Так, говоришь, постарается хоть как-то унизить ее. А зачем? Для того чтобы приобрести над ней власть? Избавиться от унизительной опеки с ее стороны? Сукин сын! Вот он кто! Тебе никогда не приходило в голову, какой водопад внимания и заботы изливается на головы всех этих самовлюбленных подонков, которым прощают все их капризные выходки только потому, что они, видите ли, гении!

— Да для меня это уже давно не новость! Удивляюсь, что ты сам лишь впервые заговорил на эту тему.

— Ты считаешь, она им увлечена?

— Не думаю.

— Тогда почему она позволяет ему так обращаться с собой?

На лице моей французской маркизы появляется хитровато-умное выражение, делающие ее похожей на маленького енота. Я жду, что она скажет, и вижу, как на смену этому выражению приходит маска обычной светской любезности. Бил легонько хлопает меня по плечу.

— А вот и я! Поди, заждались, а? Этому слово, тому пару слов, и так без конца. Концерт начнется в половине десятого. Я уже отдал распоряжения подготовить все к выступлению.

Дальше разговор крутится исключительно вокруг барбекю. Мы во всех подробностях обсуждаем все восемнадцать электродвигателей, которыми оборудован гриль у Кейсментов. На нем можно приготовить что угодно. Даже зажарить целого поросенка на вертеле. Уже опробовано! И Бил начинает с веселым смехом рассказывать нам, как именно это было и как они с Джерри намучились, пока довели дело до конца.

Веселый здоровяк Бил Кейсмент! Он в полном восторге и от еды, и от виски, и оттого, что наконец-то уселся и может посидеть каких-то пару минут в обществе приятных ему людей. Он бросает на нас дружелюбный взгляд и снова заливается веселым смехом.

— Знаете, мои дорогие, что бы я вам там ни говорил, а все же поросята и прочие барбекю больше по моей части, чем музыкальный бизнес. Что же до самой музыки, то больше всего я люблю слушать по радио песенки в исполнении Кларка. Но Сью всякий раз, когда она застает меня за этим занятием, готова просто испепелить на месте. И выгнать вон.

Он снова озирается по сторонам, и на лбу у него собираются морщинки, убегающие в волосы, растущие треугольным выступом.

— Кстати, куда она все же пропала?

Руфь издает какой-то нечленораздельный звук, могущий быть истолкованным как возглас сочувствия. Впрочем, не исключено, что это слова молитвы «Отче наш», которые тоже действуют на него умиротворяюще. Но Сью и Каминского действительно не видно нигде. Наверняка выясняют отношения за закрытой дверью где-нибудь в дальнем углу дома.

Я решаюсь на пару вопросов, которые наверняка уже озвучил кто-то из гостей, ибо они вполне уместны на такой вечеринке.

— А кто этот парень? Откуда он? И как Сью его разыскала?

— А! Каминский родом из Польши. Он — польский еврей.

Последние слова он произносит извиняющимся тоном, словно само слово «еврей» в этом доме под запретом.

— Он родился и вырос в Египте. Но перед самой войной родители вернулись в Польшу. Как раз вовремя для того, чтобы нацисты их зацапали. По словам Сью, его мать сожгли в крематории.

От оживления Била не остается и следа. Он то и дело бросает быстрые взгляды на патио, делая вид, что всецело поглощен разговором с нами. Готов биться об заклад, острым глазом высматривает в толпе этих двоих.

— Очень неординарный парень! — продолжает он так, словно передает приветы любимым родственникам по телефону. — Знает кучу языков. Немецкий, польский, французский, итальянский, арабский и бог знает какой еще. Сью познакомилась с ним в наших краях, в одной артистической колонии. Забыл ее название. Там ему приходилось несладко. Остальные обитатели колонии уже готовы были начать линчевать его. В чем-то они там с ним кардинально разошлись, не знаю, по каким именно вопросам. Сью входит в попечительский совет этой колонии. Однажды она была там с проверкой или еще с чем-то и встретила

Арнольда. По ее словам, он фантастически талантливый малый, но не очень везучий. Перебивается небольшими концертами там, сям. Выступает в школах, на благотворительных вечерах. Она предложила ему пожить у нас во флигеле, и он согласился. Скоро будет уже три недели, как он у нас.

Я машинально смотрю на его руку, которой он нервно теребит подбородок. А рука-то с маникюром! Могу легко представить себе, как бросаются со всех ног обслуживать его местные брадобреи в нашей парикмахерской. А он, пока ему приводят в порядок руки или лицо, сыплет шутками и веселым смехом. Он вообще добродушный человек, очень легкий в общении. Даже для мальчишки, который подвизается чистильщиком обуви, у него припасена широкая белозубая улыбка.

— А вы его уже видели? — интересуется у меня Бил.

— Да! Перекинулись парой слов.

— Очень талантлив! То есть, я хочу сказать, мне так кажется. У него инструмент, когда он играет, разговаривает, словно живой. Хотя, не мне судить! Кто я такой? Чурбан неотесанный! Художники и всякие там артисты — это ведь больше по вашей части, Джо! А мое дело — лес пилить.

С последними словами Бил обретает свою обычную уверенность человека, знающего, о чем он говорит. Да, леса, болота — это его стихия. Там он на своем месте и чувствует себя среди своих досок и балок как рыба в воде.

Я замечаю Сью. Она выходит из-за выступающего крыла дома и медленно бредет вдоль забора, направляясь к нам. Она одна. Вот она останавливается возле нашего столика, и на ее устах немедленно вспыхивает лучезарная улыбка гостеприимной хозяйки. Ее лицо в искусственном освещении кажется мне неестественно розовым.

— А вот и ваша жена! — говорю я Билу.

Бил оглядывается и недовольно ворчит.

— Куда же ты пропала? По-моему, уже пора… Или ты считаешь… А где Каминский? Ты его видела?

— А вон он! Возле бассейна! — громким шепотом сообщает нам Руфь. И действительно, белый пиджак пианиста мелькает на лужайке, где он сосредоточенно прохаживается среди крокетных воротец, заложив руки за спину. Итак, маэстро готовится к своему сольному выступлению. Я отвожу взгляд и вслушиваюсь в оживленный говор, стоящий вокруг меня. Что ж, пока все идет путем, все в рамках пристойности.

— Наверное, надо поторопиться с десертом! — говорит Бил и делает нетерпеливый жест рукой. И словно по мановению волшебной палочки, откуда-то из темноты выныривает официант и тотчас же подкатывает к нашему столику тележку, уставленную эклерами, наполеонами и безе. Невидимая рука выхватывает мою тарелку и ставит передо мной новую. Следом появляется еще одна тележка, заполненная фруктами и мороженым. Все сорок тысяч калорий впиваются в меня немигающим взглядом, заставляя взять их и съесть. В ответ мой пищевод издает негромкий протестующий возглас. Официант протягивает тарелку Руфи, но та отшатывается от искусителя с таким видом, словно перед ней явился сам сатана.

— Да возьми же что-нибудь! — увещеваю я жену. — Посмотри, какие роскошные фрукты! Ты, как гость, просто обязана отдать дань десерту.

— Перестаньте, Джо! — смеется Бил, отрываясь от созерцания какого-то объекта вдалеке. — Никому она ничего не обязана!

Сью уже стоит возле столика, за которым сидят Акерманы, седовласый музыкальный критик и изготовитель арф. Некрасивая учительница музыки, словно сошедшая со страниц одного из романов Джейн Остин, тоже здесь. Все ж таки умудрилась затесаться в компанию высоколобых эстетов и знатоков музыки. Как же все эти люди напоминают мне птиц. Скачут вокруг, прыгают с места на место, словно стайка воробьев или коноплянок. А рядом вертлявые юнко, малиновки

копошатся в кустах, а на ветках абрикосовых деревьев расселись сойки и весело перекликаются друг с другом. Гости разделились на множество группок: соседи, какие-то незнакомые люди, представители музыкального мира. Вот как раз вокруг последних и вьется наша Сью. Она делает пригласительный жест Каминскому, и тот, медленно огибая подкидную доску для прыжков в воду, идет к ним. Ну что, инкубаторное создание? Неблагодарный кукушонок! Сейчас примешься по своему обыкновению заглатывать то, что принесла тебе в клювике любящая мамаша, да еще и будешь при этом недовольно фыркать.

Кто-то из сидевших поднимается со своего места, уступая ему стул. Сью продолжает о чем-то мило щебетать, стоя рядом. Она необычайно возбуждена и с готовностью расточает улыбки направо и налево. Поведение Каминского тоже претерпело кардинальную метаморфозу. Он само воплощение любезности, от него разит вежливостью за целую милю, как от дешевого парфюма. Он даже снисходит до общих разговоров, обнажая в улыбке свои крупные зубы. Маленькая учительница музыки с готовностью подается вперед, завороженно внемля его речам.

Расторопный официант, между тем, продолжает ублажать мою жену: он ставит перед ней роскошную вазу с фруктами.

Я откусываю кусочек эклера и закатываю глаза от восторга. Как вкусно! Бил при виде моего выражения лица заходится веселым смехом. Я даже осиливаю несколько ложек восхитительного фруктового пюре и перехожу к мороженому. Змий-искуситель вместе со своей тележкой отъезжает прочь от нашего стола. Появляется Джерри с чашками кофе. Я выуживаю из кармана пару сигар.

И продолжаю свое наблюдение за столиком, за которым сконцентрировалась музыкальная общественность. Правда, мой интерес к ним значительно поубавился: несколько стаканов виски, обильная закуска, изысканный десерт, кофе, табачный дым сделали свое черное дело. Мой желудок тяжело урчит, словно перекормленный питон. Пожалуй, единственное, что сдерживает меня от того, чтобы вольготно развалиться на стуле и почувствовать себя совсем комфортно, это Каминский. Он сидит так, что может отлично наблюдать за мной. Конечно же, я не дам ему повода позлорадствовать над видом человека, который испытывает наслаждение от вкусной еды. Пусть лучше приготовится к испытаниям сам! Я-то буду слушать его в четыре уха, фиксируя, подобно детектору лжи, малейшие погрешности. Придираться, конечно, не стану, но и спуску не дам. Пусть не рассчитывает на мою снисходительность!

Проклятый Каминский! Мысль о нем снова отравляет мое благодушное расположение духа, в которое я впал после такой роскошной трапезы. Будь она неладна, его пресловутая восточная духовность и лелеемое им Искусство с большой буквы. И его отчаянное сопротивление бывшего узника гетто, и его колючая непримиримость беженца ко всему и вся. Я снова прислушиваюсь к удовлетворенному похрюкиванию своего желудка. Ху-ху! — играет у меня в животе.

— Ну, как вам мой бренди, Джо? — пристает ко мне с расспросами Бил. — А кальвадос? У меня очень хороший кальвадос. Вам обязательно нужно попробовать. Уверен, стоит вам только пригубить и сделать несколько глотков, и вы сразу же поймете, что лучше просто не бывает.

Бил уже готов снова в который раз взмахнуть рукой, призывая на помощь официанта, но бдительная Сью, которая издали наблюдает за нами, не спуская глаз с мужа, оказывается возле нас раньше, чем официант.

— Дорогой! Окажи мне одну любезность.

— Проси что хочешь.

— Тогда прикажи Джерри закрыть бар. Скажи ему, что спиртное снова надо будет подать уже после концерта, ладно?

— Ну вот! Вечно ты все испортишь! А я только собрался угостить Джо своим кальвадосом. С его сигарой это был бы просто блеск.

— Бил, прошу тебя! И Джо, я думаю, не станет возражать, если вы отложите дегустацию на час-другой.

Моего мнения никто не спрашивает, но в общем-то я не против.

— О’кей! — соглашается Бил. — Будь по-твоему. Тебе виднее. А сама-то ты хоть успела перекусить? Я все выискивал тебя в этой толпе.

— Не волнуйся! Успею потом. Как только гости поднимутся с мест, Джерри сразу же начнет переносить стулья на площадку к роялю. Мы еще днем все с ним обговорили.

— Но ты все же проследи сама за порядком! — ласково улыбается жене Бил и провожает ее влюбленным взглядом, следя за тем, как она снова возвращается к музыкальному столику. — Волнуется, бедняжка! Она всегда так. Если за что берется, то выкладывается без остатка. Всю душу отдает. Этому парню следовало бы ценить такое отношение.

Мы, немного осоловевшие от столь обильной трапезы, молчим. Я попыхиваю сигарой и немного сонно продолжаю следить за тем, что творится вокруг. Полное ощущение, что я в кино. Вот только декорации немного раздражают чрезмерным излишеством. Я продолжаю мысленный спор со своим бывшим клиентом Мерфи. Ну да! Тот тоже бывал временами резок и крайне нетерпим. Говорил, что люди живут не ради того, чтобы набить желудок. В Индии, рассказывал он мне, сытого человека можно встретить только среди менял и помещиков, которые жируют за счет бедняков, что, впрочем, совсем не удивительно, ибо богачи всегда и везде наживаются на бедных. Тут я выходил из себя, начинал спорить, пытался объяснить, что наши богатые или просто состоятельные люди — это совсем иное. Они не принадлежат ни к менялам, ни к землевладельцам. Да и вообще, богатый человек в богатой стране — это совсем не то же самое, что богатый человек в бедной стране. У нас богатые люди правильно понимают свой долг перед страной, они не пытаются отгородиться от остального общества и жить в башне из слоновой кости. Они даже готовы вносить свой посильный вклад в то, что считают разумным и нужным. И многие из них жертвуют на благотворительность огромные суммы. И при этом предпочитают не устраивать спектакли наподобие того, что мы наблюдаем сегодня. Многие вообще стараются не привлекать к себе внимания и обходиться без излишней шумихи вокруг очередной благотворительной акции, даже если в глубине души они снедаемы обычным человеческим тщеславием. Да и наши сегодняшние хозяева вовсе не хотели пустить пыль в глаза своим гостям. Они вполне искренне полагали, что, ублажив их по полной программе, они тем самым наилучшим образом помогут начинающему артисту, борющемуся за место под солнцем.

Я почти физически слышу, как Мерфи бьет мои аргументы гневной филиппикой: «Вам это ничего не стоит. Вам все достается слишком просто. Вот если бы ваша щедрость была результатом тяжелых испытаний, голода, лишений. А вы — добренькие, потому что у вас всего много. Ваша филантропия замешена на изобилии. Вы просто потакаете собственным слабостям. Имейте в виду, Джо, богатство разрушает духовность и уничтожает духовную жизнь как таковую. В тенетах изобилия время летит очень быстро».

Сегодня я точно переел и слишком сыт, чтобы продолжать с ним свои заочные споры. Странно, но я вдруг ощущаю во всем теле такую легкость, что почти готов воспарить над нашей бренной землей. А заодно прихватить с собой и это патио, накрытое, словно зонтиком, лунным светом искусственного освещения. Пусть бы взлетели вместе со мной и все эти люди вместе со столиками, и эта сверкающая стеклом вилла, и рояль вместе с маэстро, собирающимся продемонстрировать всем нам, что есть настоящее искусство. Вот было бы смешно, если бы мы всей гурьбой взмыли в небо и понеслись над лесами и долами. Почти как в тех комиксах, которые любит публиковать на своих страницах «Нью-Йоркер». И среди этой толпы — я в своих сандалиях с загнутыми на восточный манер носками и мешковатых штанах, смахивающих издали на шаровары. Ни дать ни взять настоящий падишах из сказок «Тысячи и одной ночи» на волшебном ковре-самолете последней модели. Уж на этом ковре точно есть все что душе угодно:

фонтаны, водоемы, мягкий, не режущий глаза свет и прочие удобства современной жизни. И плюс еще Музыка!

Так, ничего не забыл? Я бросаю взгляд на собственные ноги, склоняюсь и украдкой трогаю цемент. Ага! Здесь пол с подогревом! Да, надо обязательно оборудовать мой волшебный ковер постоянной отопительной системой.

V

Каминский бьет копытом, словно норовистая лошадь в предвкушении забега. Слушатели сконцентрировались на свободном пространстве между домом и бассейном. Освещение выключено. Воздух прохладный и влажный, но ногам тепло. На импровизированной сцене, оборудованной в нише между двумя крыльями дома, возвышается рояль, над ним горит одна яркая лампа, выхватывая из темноты белый смокинг Каминского. Он сидит за инструментом и сосредоточенно подкручивает сиденье, регулируя нужную для себя высоту. Голова его тонет в густой тени от открытой крышки рояля. Игра света и тени. Дега плавно трансформируется в Рембрандта.

Мы трое, Сью, Руфь и я, устроились на удобной софе. Старый Джо Олстон усажен между двумя дамами. Он после всего съеденного приклеился к сидению, словно муха, попавшая на сладкое. Бил снова куда-то исчез, видно, носится, отдавая очередную порцию распоряжений. Площадка, на которой еще каких-то полчаса тому назад клубились толпы народа, поделена легкой переносной перегородкой на две части, и когда немного спадает шум голосов, то из-за нее отчетливо доносится гул посудомоечных машин.

— Как вы думаете, наши слушатели не разнежатся на этих оттоманках? — интересуется у меня Сью. — Может быть, надо было вынести сюда не кушетки, а стулья?

Я отвечаю, что по части комфорта для гостей она сделала немыслимое: все что можно и нельзя. И любой в этой обожравшейся толпе с радостью подтвердит мои слова.

— И потом, что такое удобство? — продолжаю я размышлять вслух. — Как известно, комфорта много не бывает. Его, как виски, с готовностью принимают в любых количествах.

Сью весело хихикает, словно молоденькая девчонка. Я вижу, как ее руки нервно теребят платье на коленях. Но вот смех ее тает в темноте, а вместе с ним замирают и руки, оставаясь лежать неподвижными на коленях.

— Что он собирается играть? — спрашиваю я.

— Не знаю! — восклицает она громко. — Он мне ничего не сказал.

Пару голов поворачиваются в темноте в нашу сторону. Каминский тоже начинает напряженно вглядываться в импровизированный зал, пытаясь обнаружить источник шумовых помех. Густые тени ложатся на его лицо, полностью скрадывая его выражение.

Но мы сидим достаточно далеко от сцены, почти возле самого бассейна.

— Как же вам удалось уговорить его, в конце концов? — шепчет хозяйке Руфь.

Можно только догадываться, как скривились в презрительной усмешке ее губы. Зато нам видно, какая безобразная гримаса исказила ее лицо.

— Повалялась у него в ногах! — отвечает она с небрежностью человека, только что пережившего немалое унижение.

Руфь снова откидывается на подушки, и они издают легкий звук — пуф!

— Но зачем? — недоумеваю я, оставаясь сидеть на краешке софы. Подобным объяснением не удовлетворишь моего любопытства.

— Потому что он — большой артист!

— Вот как? — я тоже откидываюсь на спинку дивана. — Дай бог! — говорю я, и, кажется, впервые за весь вечер мои слова звучат вполне искренне.

Лицо Каминского снова выныривает из темноты. Но выражения глаз попрежнему невозможно прочитать. Он говорит, не разжимая губ.

— Вначале я исполню три ноктюрна Шопена. Думаю, они как нельзя лучше соответствуют настроению этого вечера. Я буду играть их в честь миссис Кейсмент.

Я чувствую, как вздрагивает всем телом Сью, сидящая рядом. Уверен, она вспыхнула от смущения. Впрочем, слишком темно, чтобы проверить свою догадку. Раздается одобрительный гул голосов. Публика по достоинству оценила красивый жест маэстро. Это действительно приятный и очень изысканный комплимент хозяйке дома. Сью молча рассматривает свои руки.

Каминский поворачивается к роялю и с минуту энергично растирает костяшки пальцев, не сводя глаз с клавиатуры. Какое-то время он сидит без движения, ожидая, пока в «зале» наступит абсолютная тишина, что, учитывая количество выпитого спиртного, представляется маловероятным. И мне отчетливо слышно, как то тут, то там раздается чей-то негромкий голос, комментирующий происходящее. Но вот его руки ложатся на клавиши, переливчатой трелью звучат первые аккорды, и он с головой погружается в музыку. Начало хорошее! Сью инстинктивно хватает меня за руку и крепко сжимает ее. Сейчас она так похожа на влюбленную до беспамятства старшеклассницу, которая обмирает в присутствии своего героя, готовящегося к прыжку с вышки. Она даже не в силах открыть глаза, чтобы самой увидеть момент прыжка. Так он прыгнет удачно? Или все же нет?

Два выступающих крыла дома образовали некое подобие створок раковины. И акустика на удивление хороша. Слышны даже самые нежнейшие пианиссимо. Надо признаться, мясистые руки порхают над клавишами, словно бабочки. За нами едва слышно журчит фильтрующая система бассейна, постоянно очищающая воду в нем. Как ни странно, но эти ночные звуки воды гармонируют с музыкой Шопена, создавая ей соответствующий фон.

Боже упаси меня от того, что на официальном языке именуется «музыкальной критикой». Пожалуй, я даже не принадлежу к разряду изощренных ценителей. Я — просто слушатель. Как и большинство таких же непрофессиональных слушателей, я, тем не менее, могу с легкостью отличить неумелого исполнителя от профессионала. А потому мне уже с первых тактов делается понятным, что Каминский — профессионал. Другое дело — уровень профессионализма, его класс, его, так сказать, оттенки. То, что обычно называют вдохновением или умением вложить в игру душу. Впрочем, я всегда с подозрительностью отношусь к тем, кто готов выставить собственную душу на всеобщее обозрение. Да и душа Каминского для меня пока остается загадкой. Не мне о ней судить. Вполне возможно, это одна из тех душ, которые посылаются в наш мир раз в сотни лет, подобно звукам, прилетающим на землю из необъятного космоса. А может быть, у него всего лишь подлая душонка мелкого гения, которых я сотнями перевидал на своем веку на Мэдисон Авеню и в других местах.

Впрочем, думается мне, я сумею отличить подлинное от фальши, даже в музыке. Особенно, если это подлинное действительно подлинно. Каминский завершает первый ноктюрн: секундная пауза, и следует каскад громких аккордов, гневно прерывающий тех неподготовленных слушателей, которые поторопились начать аплодировать. Нет, парень! Что-то ты здесь мудришь! Уж не пытаешься ли ты сделать карикатуру на шопеновские ноктюрны? Разыгрываешь перед нами пародию, да? Понимаю, они для тебя чересчур сентиментальны. Как-никак девятнадцатый век. Зато ноктюрны дают неограниченные возможности для демонстрации техники владения инструментом. Да и потом, ведь Сью любит Шопена. Не здесь ли собака зарыта? Неужели у маэстро такой изощренно грязный ум, что он специально выбрал музыку Шопена и посвятил ее Сью, чтобы своим исполнением не столько польстить ей, сколько публично нанести утонченное оскорбление?

У меня нет ответа на собственные вопросы. К концу исполнения третьего ноктюрна ничего не проясняется. Все три сыграны с безукоризненной точнос-

тью, хотя и расцвечены мастерски исполненными бравурными пассажами. Мне хочется поинтересоваться у Руфи, что думает она по поводу игры Каминского. Ее понимание музыки и ее чутье на всяческую фальшь все же получше моих скромных возможностей. Однако сейчас спрашивать об этом неудобно. А потому я остаюсь при своем мнении, что Каминский попросту самым наглым образом разыгрывает подвыпивших обывателей, собравшихся на его концерт. Руфь подсказывает мне на ухо, что пора присоединиться к аплодисментам. Публика аплодирует долго, громко и вполне сердечно. Так, понятно! Наши обыватели, похоже, не в курсе, что их надули. Рядом со мною громко хлопает Сью, высоко вскидывая руки вверх. Лицо ее сияет от радости.

— Ну, что скажете? *Красивое* исполнение, да? И публике понравилось, правда? Я же говорила, что так, как Арнольд, Шопена не исполняет *никто*.

Во втором ряду на мягких креслах расположились знатоки музыки. Они тоже аплодируют и о чем-то удовлетворенно переговариваются друг с другом. Я вижу, как на большом всегда унылом лице мистера Акермана, когда он поворачивается к свету, появляется выражение торжественной сосредоточенности. Каминский кланяется и снова садится к роялю, терпеливо ждет, когда стихнут аплодисменты и восторженные возгласы. Но вот шум постепенно замирает, растворяясь в звездном небе, раскинувшемся необъятным шатром над окружающей долиной и Черной горой, виднеющейся на горизонте. В темноте вспыхивают краснобелые огни самолета, проносящегося высоко над нами. Наконец устанавливается полная тишина, и Каминский объявляет свой следующий номер.

— Сейчас я исполню «Чакону» Баха в переложении для фортепьяно Бузони.

— Что это? — удивляется Сью. — Я и не знала, что он собирается играть Баха.

Руфь бросает на меня через голову Сью свой хитроватый взгляд енота. Я внутренне торжествую. Уж на сей раз мой детектор лжи сработает безотказно! На своем веку я переслушал не меньше дюжины великих пианистов, игравших «Чакону». В моей фонотеке имеются практически все стоящие записи этого произведения. С моей, естественно, дилетантской точки зрения, это — самое великое музыкальное произведение, когда-либо созданное человеком. В нем поражает не только сама музыка, но и концентрация мысли, заложенная в каждой ее фразе. Если Каминский сумеет сыграть «Чакону» и сыграет ее хорошо, я прощу ему все: плохие манеры, там-тарарам, который он закатил всем нам, и его слишком «польское» исполнение Шопена, в котором чувствуется хитрый подвох. Что ж, с Бахом ему не удастся подурачиться. И одной польской души для того, чтобы сыграть его, тоже будет мало. Здесь нужно все, что есть за душой у хорошего человека. Нет, у сотен хороших людей!

Вполне возможно, все это есть и у Каминского. Он величаво обозначает главную, торжественно скорбную тему «Чаконы» и ведет ее, как сказали бы маститые критики, уверенно и четко. Громогласные аккорды, как всегда, действуют на меня, словно неподвластная человеку сила, которая обрушивается на тебя и сметает всего целиком. Нет, он все же велик, этот Каминский! Великолепное исполнение! Успех! Полнейший триумф! Да, вот на таком языке и разговаривают посвященные с Богом. Баховские аккорды рассыпаются под его руками легко и непринужденно. Музыка ведет все выше и выше, но что это?

В самый судьбоносный момент мастерство Каминского дает сбой. Или просто ловкости не хватило? Мясник! Жирный кусок мяса! Разве можно было именно здесь сорваться на такой сокрушительный, на такой непозволительно заметный диссонанс?

К чести Каминского, он тут же спохватывается. Вполне возможно, погрешность осталась незамеченной большинством слушателей. Но только не мной! Все! На меня он может впредь не рассчитывать! Через пару минут я прихожу в себя от пережитого разочарования и чувствую, что даже готов позлорадствовать. Мальчишка взялся за то, что пока ему не под силу. Бах слишком велик для него! Правда, чуть позже его исполнение снова почти захватывает меня. Корот-

кий лирический пассаж звучит у него, словно весенняя песня, рассыпающаяся среди горных скал. И все же ему уже никогда не приобрести надо мной той власти, которую я ощутил с первых тактов «Чаконы». Он проиграл!

Каминский заканчивает, и публика завороженно молчит, впечатленная его вдохновенной интерпретацией Баха. А следом разражается громовая овация. Да, Бах есть Бах. Ты прав, старый Олстон! Это — самая великая музыка, которая когда-либо была написана. Она заслуживает таких громовых аплодисментов. И все-таки в паре мест она взяла над пианистом верх. Не далась ему! И он это прекрасно понимает. Как понимает и то, что его сбой не ускользнул от внимания строгих знатоков музыки. Он встает, чтобы поклониться. На минуту свет лампы выхватывает его лицо из темноты. Густые темно-зеленые тени на землистом лице, испещренном глубокими бороздами. Не лицо, а страшная маска. Маска трупа, изуродованная многочисленными синяками и подтеками. Он кланяется с видимым усилием. Напряженно, словно приветствует злейшего врага. Но вот аплодисменты смолкают, и в установившейся тишине я отчетливо слышу насмешливое журчание воды в водосточных трубах бассейна. Я даже улавливаю слабый запах хлорки, еще один резкий диссонанс на фоне ароматов дорогих духов и сигар.

Сью наклоняется ко мне и восторженно шепчет на ухо:

— Ну, что я вам говорила?

— В завершение концерта, — звучит голос Каминского, — я сыграю несколько фортепьянных пьес Арнольда Шёнберга. Опус девятнадцатый.

У меня есть записи Шёнберга. В свое время его поклонники даже пытались затащить меня в свой лагерь. Пространно объясняли, что именно он имел в виду, когда писал свои сочинения, как он велик и все такое. Особенно массированными были их атаки при встречах на всевозможных приемах и коктейль-пати. Мне говорили, что невыразимый шум, которым полнится его музыка, — это тоже, так сказать, необходимое условие гения. Потому что шум создает *напряжение*. Последнее слово произносилось поклонниками австрийца с величайшим почтением: для них оно имело какой-то особый, почти сакральный смысл. Ну и бог с ними, думал я всегда в таких случаях. Пусть себе наслаждаются своим Шёнбергом, коль скоро он так мил их сердцу. А я уж как-нибудь сам по себе, без *напряжения*.

Начало меня снова удивляет. Неужели эти звуки, выпархивающие из-под пальцев Каминского, могут издаваться роялем? Такое впечатление, что человек, извлекающий их наружу, только что встал после хорошего сна, принял теплую ванну и сейчас весьма своеобразно расслабляется. Или же он только что прошел курс шоковой терапии.

Нет, решительно никто не убедит меня в том, что вся эта какофония звуков и есть музыка. Конечно, если слушать такое долго, то, вероятно, можно привыкнуть и к такой музыке. И даже со временем найти в ней какие-то зачатки гармонии. Но это ровным счетом ничего не доказывает. Человек может привыкнуть к чему угодно. Человеческая раса обладает необыкновенной эластичностью в борьбе за выживание. Мы привыкли к правлению королей, президентов, священников, диктаторов, генералов, коммун, комитетов и прочее. Мы можем питаться сырой рыбой, осьминогами, змеями, неродившимися цыплятами, кровоточащими сердцами наших врагов и собственными фекалиями. Мы научились не вскрикивать при звуках экзотических струнных инструментов, таких, как сямисэн, корейская арфа или индийская вина, не пугаться пароходных гудков, гонгов и певцов калипсо. Мы воспринимаем звуки на полтона, на четверть тона, на целую октаву. Мы привыкаем ко всему и вся: длинные юбки, короткие юбки, стрижки ёжиком и пудреные парики, элегантные бачки и длинные пушистые бакенбарды, бородки клинышком и бритые подбородки, замки и бумажные домики, стойки баров и бомбоубежища. Впрочем, выживание расы зависит от ее умения приспосабливаться к меняющимся условиям жизни. А мы и в самом деле

можем приспособиться к чему угодно. Более того, с течением времени это «что угодно» даже начинает нам нравиться. И вот в результате формируется извращенный вкус. Но зачем?! — спрашиваю я себя. Зачем, к примеру, мне стараться полюбить Шёнберга? Находить в его музыке какие-то красоты, если она откровенно режет мне слух?

И, наверное, не только мне одному, я так думаю. Публика, безропотно заглотившая Шопена, музыка которого привела ее в полуобморочное состояние, публика, смиренно внимавшая великому Баху, сейчас испытывает замешательство, близкое к раздражению. Такое впечатление, что кто-то рвет человека на части или распиливает его пилой на куски. Я снова теряюсь в догадках. А может быть, этот хитрый бестия Каминский спланировал все заранее? Бросил всем нам для затравки Шопена: дескать, пусть эти обыватели налопаются от пуза, затем запудрил мозги Бахом (только Бах и ему оказался не по зубам), а на закуску решил угостить Шёнбергом. Низвергнуть зажравшихся мещан, так сказать, с духовных высот, куда они вознамерились взобраться, на бренную землю. Туда их, мордой в грязь, чтобы невежественные свиньи не воображали о себе слишком много. Пусть под этот оглушительный грохот назойливо повторяющихся пассажей подумают, кто они есть на самом деле. Хорошая шутка, ничего не скажешь! Да, но чего он этим добивается? В конце концов, на карту поставлено его будущее, его карьера музыканта. А для этого он должен заручиться симпатией и поддержкой музыкальной общественности, собравшейся на сегодняшний концерт. Ему ведь надо во что бы то ни стало понравиться меломанам, усевшимся во втором ряду. Или он решил послать все к чертям и поломать правила игры? А может быть, я просто наделяю пианиста средней руки интеллектуальными глубинами, которых в нем отродясь не водилось?

Музыка медленно наплывает на меня, затягивая в свою воронку. Я скрежещу зубами, я готов взвыть, как собака, ибо нутром чую: Каминский именно так и понимает Шёнберга. Он отдается исполнению его музыки целиком, без остатка. На наших глазах творится его борьба с Невыразимым, с тем, что нельзя высказать или облечь в обычные слова. Трудно сказать, на те ли клавиши он нажимает, те ли ноты он берет. Пожалуй, и сам Шёнберг не сумел бы ответить на этот вопрос. Вполне возможно, фальшивые ноты даже звучат выразительнее, и в них больше того самого напряжения, которое ищут в музыке Шёнберга его почитатели. Каминский предельно собран: его концентрация на исполнении кажется всеобъемлющей. Такое впечатление, что все его нервы собраны в один сноп и перепоясаны исполняемым произведением. На какую-то секунду наступает проблеск, и даже появляется нечто, отдаленно похожее на мелодию. Но следом снова какофония, вой мартовских котов. Вот он, истинный язык экспрессионизма, под воздействием которого сжимается пространство и время. Да, вот в чем состоит истинное напряжение. Зажми свои пальцы в тиски, а потом слегка отпусти, и ты поймешь, что такое настоящее блаженство. Такая музыка прекрасно подходит для исполнения на тёрке для мускатных орехов, на кактусах или на струнных с оборванными струнами. Этакая гирлянда из оборванных концов.

Каминский по-прежнему весь в игре. В сущности, он и есть сейчас Шёнберг. Я вспоминаю портрет композитора на одной из обложек старых пластинок. Напряженный взгляд, голый череп, взбугрившиеся вены на висках, впалые щеки. Глубокие складки возле губ. Общая печать невыразимой боли и страданий. Арнольд Шёнберг. Разрушитель и хранитель традиций. Посмотришь на такое лицо и подумаешь: да у него во рту пылает огонь, который он не может ни проглотить, ни выплюнуть.

Узкий луч света от лампы, под которой Каминский продолжает истязать себя и всех нас, выхватывает его нос, и я вижу каплю, повисшую на самом кончике. Что это? Пот? Или испарина от переживаемого напряжения? В любом случае никто не посмеет сказать, что пианист не старался.

Рояль замолкает, икая на прощание. Впрочем, этот звук больше похож на предсмертный хрип. Несколько человек не выдерживают и начинают смеяться. Каминский сидит неподвижно. Остальная публика оглушенно молчит, боясь попасть впросак. Напряжение нарастает. Наконец все понимают, что Каминский действительно закончил играть, и начинают аплодировать. Аплодируют шумно, словно пытаясь компенсировать собственную некомпетентность вымученным энтузиазмом, но не долго. Дольше всех аплодируют в музыкальном ряду. Особенно старается аккомпаниатор: он хлопает, не жалея ладоней.

Сью тоже аплодирует, поднося руки почти к самому лицу.

— Ну, как вам? — спрашивает она у меня. — Последнее время он особенно много трудился над этой вещью. По-моему, такое вообще невозможно разучить. А уж сыграть…

— А почему такое нужно играть? — не выдерживаю я, вежливо присоединяясь к ее аплодисментам. Каминский сидит, не поднимая головы. Он совершенно опустошен. Ну же! Вставай! Поднимайся со своего места и кланяйся публике! Хотя бы ради Сью. Мы хлопаем и хлопаем, мои руки начинают уже гореть от хлопков, а он продолжает сидеть. Наконец, почти после минутной паузы, Сью отвечает на мой вопрос.

— Знаете, я скажу вам так. Если я сама не понимаю сложную музыку, если, скажем, я не доросла до нее или чересчур невежественна, то это еще не повод запретить ее вовсе или отбросить в сторону за ненадобностью.

Вот! Меня только что устыдили, правда, предельно корректно и по-женски мило! Сью — чистая душа, благородное создание. Эта женщина не посчитала для себя зазорным унизиться перед Каминским ради гостей, она с готовностью распахнет двери своего дома для Шёнберга. И все это ради бескорыстной любви к искусству. Что ж, помоги ей бог. И слава ему за то, что вся эта тягомотина, наконец, почти закончилась. Вполне возможно, хозяйке концерт показался успешным. Может быть, она даже расценивает его как самый настоящий триумф своего протеже. Что ж, позднее, когда все ее попытки и потраченные деньги обернутся ничем, она может утешать себя хотя бы мыслью о том, что в мире музыки существует жесточайший заговор признанных мэтров против молодых гениев. И уж они-то точно никогда не протянут руку тонущему на их глазах юному дарованию, чтобы помочь ему выбраться на сушу. Напротив! Еще и постараются оттолкнуть его подальше от берега.

— Во всяком случае, он впечатляет! — говорю я весьма двусмысленный комплимент. Оказывается, при случае я могу быть искусным лжецом. И Сью моментально вознаграждает меня благодарной улыбкой за эту наглую ложь. Я снова откидываюсь на спинку софы в ожидании продолжения концерта. Что сейчас? Может, он сыграет нам музыку еще какого-нибудь психа в духе Шёнберга?

Но нет! Я вижу, как Каминский решительно встает из-за рояля с явным намерением покинуть сцену. Возможно, наши аплодисменты показались ему достаточно жидкими для того, чтобы играть на бис. И тут же в темноте вспыхивают десятки спичек, потянулись струйки сигаретного дыма. А потом включается освещение. Невесть откуда появляется Бил Кейсмент в сопровождении целой свиты официантов. И вот уже отодвигается в сторону перегородка, и мы видим, что бар снова призывно открыл нам свои объятия.

VI

Кажется, весь вечер я обречен отвечать на одни и те же вопросы Сью. Сегодня она навязчива, словно молодой выпускник Принстонского университета, возомнивший себя литератором и явившийся ко мне с рукописью своего первого шедевра. *«Получилось, как вы находите? Вам нравится? Я могу стать настоящим писателем?»*

— Ну, так что вы думаете? — пристает ко мне Сью с очередной порцией вопросов. — Я права?

— Он — хороший пианист.

— И только? — недовольно оттопыривает она нижнюю губку. Она великолепна в своем возмущении. Ни дать ни взять настоящая немезида в гневе. — Я и сама это прекрасно знаю! Вы мне скажите другое! У него есть шанс? Достаточно ли у него таланта, чтобы им не удалось затереть его? Ведь говорят же, что на вершину музыкального Олимпа удается подняться лишь одному из ста пианистов, а остальные …

— Шансы вообще очень трудно прогнозировать. В известной степени, это лотерея, обыкновенное везение. Если ему улыбнется удача, то…

— Его удачей буду я!

Публика поднимается с мест и начинает оживленно перемещаться по лужайке. Мы оказываемся в невольном плену, зажатые на софе с двух сторон потоками людей, устремляющихся к бару. Я откидываюсь на спинку и замечаю, как завихрилась над нашими головами белая дымка, подсвеченная огнями вспыхнувших ламп и подгоняемая невидимым ветерком. Стало заметно прохладнее, и в воздухе запахло сыростью. Туман сгущается буквально на глазах. Руфь тоже встает и бросает на меня многозначительный взгляд, зябко поводя плечами. Я поднимаюсь следом. Последней встает Сью, упорно не желающая отпускать меня от себя.

— Что ж! — подвожу я черту в нашем разговоре. — Если вы — его удача, тогда у него есть все шансы.

И тотчас же получаю в ответ еще одну благодарственную улыбку, исполненную такой материнской гордости за своего протеже, что я невольно поеживаюсь, чувствуя, как на меня снова накатывает беспричинная грусть.

— Но вам не следует обольщаться! — поспешно добавляю я. — В любом случае, шансы еще ни о чем не говорят. Для молодого человека было бы гораздо лучше, в том числе и с материальной точки зрения, если бы он с самого начала избрал для себя иную стезю. Скажем, занялся бы преподавательской деятельностью, вместо того чтобы грезить о карьере концертирующего музыканта.

— Но именно об этом он и мечтает. Всю свою жизнь он стремился к карьере профессионального пианиста.

— Да они все об этом мечтают! А толку-то? Потом, когда карьера не задается, они превращаются в мрачных неврастеников. А ведь если подумать как следует, то что такого они потеряли? Бесконечные, утомительные, однообразные гастроли по провинциальным городам Америки с такой же бесконечной чередой концертов перед местными меломанами. Так не лучше ли сидеть дома, давать уроки музыки юным дарованиям, учить их игре на фортепьяно, а раз в году радовать родную публику своими сольными концертами в сопровождении какого-нибудь провинциального оркестрика?

— Ах, Джо! Полноте! Ну разве можно представить себе Арнольда обучающим сопливых сорванцов премудростям игры на фортепьяно или объясняющим, как именно надо исполнять детские сонаты Моцарта? Не думаю, что такая перспектива его обрадует. Натаскивать учеников для выступлений на благотворительных концертах! Тоже мне занятие для талантливого пианиста!

Вот-вот! Лучшего ответа для того, чтобы вывести меня из себя, и не придумаешь. Я чувствую, как во мне снова закипает злость. Конечно же, я с трудом могу представить себе Каминского в роли учителя музыки для подрастающего поколения. Что, кстати, характеризует не столько меня, сколько самого маэстро. К тому же, всю жизнь я вполне сознательно и последовательно выступаю в роли защитника доброй старой Америки. Той самой Америки провинциальных городков, в которых преимущественно и проживает наш пресловутый средний класс. Да, я не скрываю своей симпатии к американской провинции и к тому образу жизни, который там сложился. И мне ненавистны те из моих соотечественников, кто предпочитает пользоваться райскими благами сельско-

го жителя и в то же время не имеет в запасе ни единого доброго слова в защиту провинции. Иногда у меня вообще складывается впечатление, что американцы принадлежат к той странной породе людей, которые в любом споре никогда не станут защищать своих.

— Так, по-вашему, Арнольд выше Моцарта? — роняю я раздраженно. — И что, хотел бы я знать, он имеет против благотворительных концертов? Или благотворительность для него тоже слишком низка?

Сью бросает на меня внимательный взгляд, словно желая убедиться, что я говорю серьезно.

— Вы как всегда полны остроумия! — комментирует она осторожно мою реплику и смотрит влюбленными глазами идиотки в сторону Каминского, а потом внезапно срывается с места и присоединяется к толпе, окружившей пианиста. Между прочим, я вижу в его руке стакан с коктейлем. Что ж, простим ему сей грех! В конце концов, любой артист, даже если это — гений, он ведь тоже человек. Если мы потолчемся здесь еще час-другой, то вполне возможно, нам представится случай лицезреть, как маэстро снисходит до бутерброда с ветчиной.

— А не пора ли нам домой? — говорю я Руфи.

— Еще не время.

— Почему?

— Надо соблюсти все приличия, дорогой. Но тебя, как всегда, это совершенно не волнует. Пошли в дом! Здесь стало чересчур прохладно.

Да, действительно! От ощущения зябкости не спасает даже пол с подогревом. Вот тебе и волшебный ковер с печкой! Молочно-белая пелена над головой стала еще гуще. Среди опустевшей лужайки, на которой валяются разбросанные стулья, зловеще поблескивает водная поверхность бассейна, подсвеченная снизу электрическими лампочками. Издали она похожа на разверзнувшуюся пропасть в преисподнюю. И вообще, я ни капельки не удивлюсь, если сию же минуту на эту лужайку приземлится летающая тарелка и начнет хватать всех без разбора. Или прямо из бассейна всплывут какие-нибудь чудища в аквалангах, сбросят с себя все эти трубки-маски и разбредутся по патио, растворившись в толпе остальных гостей.

Впрочем, в доме я не обнаруживаю никаких аквалангистов. Зато вижу, как Каминский ставит на поднос пустой стакан и берет очередную порцию виски. Маститый критик, любезно склонив свою седовласую голову, внимательно слушает то, что изрекает ему гений. Среди гостей, сгрудившихся возле этих двоих, я замечаю аккомпаниатора в бархатном пиджаке. Мистер Будапест! Рядом чета Акерманов, Сью и еще несколько неизвестных мне персон. А! И наша учительница музыки тоже здесь! Колоритная компания подобралась, ничего не скажешь! Каминский замолкает, пережидая взрыв смеха, которым сопровождалась его последняя реплика. Судя по всему, эти люди относятся к нему не столь предвзято, как я. Он им даже нравится, в отличие, опять же, от меня. Молодой человек смотрит в нашу с Руфью сторону, словно прочитав мои мысли. Руфь вскидывает руки вверх и начинает аплодировать. Вот что значит соблюсти все приличия. Я вынужден присоединиться к овациям супруги. Правда, у меня это получается не столь изысканно.

Мимо нас пробирается к выходу Сэм Шилдс. Его жена парализована, и он всегда уходит с вечеринок в числе первых. Сегодня — в сопровождении еще пяти или шести гостей. Я смотрю, как мужчины на выходе обмениваются прощальными рукопожатиями с Билом Кейсментом. А к нам подходит Энни Уильямсон, экспансивная дама весьма крепкого телосложения, и начинает зычным голосом вопрошать, почему это мы до сих пор не вступили в общество охотников. На сегодняшний день у них уже насчитывается целых четырнадцать членов, следовательно, они уже могут охотиться в пределах четырнадцати миль. И даже имеется специальное разрешение для проведения охоты с гончими. Мы же еще совсем не старые для подобных упражнений на свежем воздухе. Берите пример, Джо,

с Германа Дайра. Тот еще носится на своем скакуне как угорелый и с легкостью сигает вместе с лошадью через любые препятствия. А ведь будет постарше самого господа! А не хотим мчаться по пересеченной местности за собаками, можем сами возглавить охоту: бежать первыми с дохлой крысой или еще какой-нибудь лакомой приманкой для запаха. Одним словом, мистер Олстон, приходите, и мы сделаем для вас все что пожелаете. Дадим любую самую почетную должность. Хотите быть руководителем соревнований? Пожалуйста!

— Ах, Энни! — с печалью в голосе восклицаю я. — К сожалению, я уже слишком стар для подобных развлечений на пленэре. И буду смотреться просто жалко на фоне всех остальных. Эдакий согбенный, немощный старик! Я ведь перебрался в ваши места исключительно ради того, чтобы здесь, на лоне природы, в уединении, так сказать, завершить свои мемуары. Боюсь, что охотничьи забавы могут раньше времени поставить точку в этой работе. Даже вот такие вечеринки, как нынче, и то с большим трудом заставляют меня оторваться от письменного стола. Я вообще предпочитаю коротать дни в своей жалкой хижине наедине с собственными мыслями.

— Неужели вам не понравилась вечеринка? А я так просто в восторге. Правда, последнее произведение… сплошное мяуканье, а не музыка! И, тем не менее, мальчишка играл хорошо! Разве не так?

— Да! — вынужденно соглашаюсь я. — Очень мастерское исполнение.

— Ах вы, старый лицемер! Такие, как вы, никому спуску не дают. Я уже заранее боюсь читать ваши мемуары. Представляю себе, какие оценки вы припасили для всех тех знаменитостей, с кем когда-то работали.

— Да они вам будут просто не интересны. Тем более что там нет ни слова о лошадях или о скачках.

— Вот же старая язва! — смеется Энни и, ласково потрепав Руфь за руку, удаляется прочь. Она присоединяется к плотному кольцу почитателей Каминского и с ходу вклинивается в разговор, перебивая самого виновника торжества. Я вижу, как она открывает рот. Наверняка для того, чтобы сказать: «Благодарю вас! Вы доставили мне такое удовольствие!» и так далее, в том же духе. К пианисту все время подходят новые и новые люди: соседи, какие-то незнакомцы, которых я вижу здесь впервые. Ах, как замечательно! Можно только позавидовать Сью, которая имеет такую счастливую возможность наслаждаться подобной игрой каждый день. Какое наслаждение! Восторг! Нет слов! Чьи-то комплименты звучат более уклончиво, но все предельно корректны и преисполнены уважения и к хозяйке, и к ее протеже. Наверняка в глубине души Каминский потешается над обожравшейся пьяной толпой, но вот поди ж ты! Стоит и учтиво выслушивает всех. Да, эту публику собрали намеренно, и они слушали его не по своей воле, и хлопали громче, чем того требовали приличия, и даже иногда позволяли себе пренебрежительные смешки, когда уж начисто не понимали того, что он исполняет. Пожалуй, если бы он играл им только Шопена, их восторги были бы еще более прочувствованными. В любом случае, ему придется сильно постараться, даже с учетом своего вздорного характера, чтобы настроить всех этих весьма милых и доброжелательных людей против себя. Да и то едва ли это будет ему под силу! Что ж, все к лучшему! Имей в виду, парень! Они, если понадобится, еще и благотворительные билеты купят в твою пользу.

— Мадам! — обращаюсь я к своей предельно не любящей шума жене. — Разве вы забыли, что искусство требует жертв, а жизнь так коротка! Пошли домой!

Но вместо ответа она тянет меня к музыкальному кружку. Собственно, это уже даже и не кружок. За исключением четверки гостей, сосредоточенно обсуждающих что-то свое в уголке гостиной, а также бесчисленных официантов, бесшумно снующих в своих белых пиджаках по всему дому с подносами, на которых высятся пока еще невостребованные коктейли, все остальные гости сгрудились вокруг Каминского. Подойдя ближе, мы понимаем, что он — не только главная достопримечательность компании, но и главный оратор. Совсем не трудно дога-

даться, о чем он так пылко витийствует. Конечно, художник! Роль художника в обществе. Еще точнее, роль художника в американском обществе.

Чтобы погасить свое раздражение, я хватаю с подноса, оказавшегося рядом, еще один коктейль. Я уже заранее знаю все основные тезисы его лекции. В свое время Мерфи не раз озвучивал их мне. Если этот сосунок сейчас начнет рассуждать в духе Бодлера о тех цивилизованных варварах, которые в свое время погубили Эдгара По, то, клянусь, я прихлопну его прямо на месте собственной рукой.

Однако, к моему удивлению, рассуждения Каминского после первых нескольких минут прослушивания, абсолютно идентичных тому, что я слышал сотни раз в сотнях других мест, неожиданно потекли по иному руслу. Да и говорил он весьма здраво и даже не без чувства юмора, чего уж я, по правде говоря, никак от него не ожидал. И мгновенно усмотрел в этом позитивное влияние двух коктейлей, которые он уже успел принять на грудь. Спиртное, судя по всему, не только развязало ему язык, но и подняло настроение. Безо всякого нытья по собственному адресу он говорил о том, сколь трудна и непредсказуема карьера любого музыканта. Двадцать лет каторжного труда. Годы, в буквальном смысле слова вычеркнутые из жизни, когда не видишь белого света, часами упражняясь в игре на фортепьяно. Практика, практика, практика! Череда сменяющих друг друга наставников. Бостон, Нью-Йорк, Рим. Всепоглощающая власть инструмента. Ни дня без рояля! Даже в поезде, даже в автомобиле рядом с тобой бумажная клавиатура, на которой ты продолжаешь свои бесконечные экзерсисы. Губы Каминского скривились в скорбной улыбке. Да, в этой профессии непросто чего-то добиться. Пожалуй, легче продвинуться на государственной службе. Он и сам удивляется, почему в свое время не выбрал для себя именно такое поприще. Дружный смех слушателей. Впрочем, продолжает он, не трудно догадаться, почему все новые и новые музыканты из числа молодых попадают в одну и ту же западню и не могут выбраться из нее. Все просто! Известные дирижеры, фирмы грамзаписи, арт-студии и рекламные агентства, все они категорически отказываются иметь дело с новым, будь то новое для них имя исполнителя или композитора. Все боятся рисковать. Все делают ставку только на то, что уже известно и что приносит сиюминутную прибыль. Если бы вы только знали, сколько замечательной музыки вообще пропадает втуне, просто лежит несыгранной. Никогда и никем!

Так что в его мытарствах (равнодушное пожатие плеч) нет ничего удивительного. И господин музыкальный критик, и чета меломанов Акерманов, они-то уж прекрасно осведомлены, как все происходит. Проблема номер один для любого музыканта — это публика. А публика, в свою очередь, желает знать, за кого ей предлагают выложить денежки. Настоящих знатоков и ценителей музыки во все времена и везде было очень мало. Не стало их больше и в наше время, несмотря на все оптимистичные заявления чиновников от культуры о том, сколь велика образовательная роль радио и грамзаписей в деле образования масс. Те, которые хорошо знают и любят хорошую, серьезную музыку, сосредоточены преимущественно в больших городах. Тут Каминский бросает выразительный взгляд в сторону Сью. Да еще в нескольких местах, наподобие вот этого ранчо. Ах ты, боже мой! Какой, однако, тонкий льстец! Учительница музыки норовисто, словно молодая лошадка, вскидывает голову в знак полной и абсолютной поддержки. А так, что говорить? Большинство слушателей — это симулянты. Они имитируют знатоков музыки, они имитируют понимание того, что им исполняют. Пробиться к квалифицированной аудитории, способной по-настоящему оценить твое исполнение, практически невозможно. Над всей музыкальной жизнью страны довлеет диктат двух или трех агентств, которых интересуют только деньги. Доллары, доллары, доллары.

— Так им! Заклеймить их позором! — не выдерживает старый Джо Олстон, подавая свой голос сзади. И видит, как прячут улыбки некоторые гости. Каминский смотрит на него с легкой иронией. Уже второй раз в течение сего вечера.

— О, среди нас объявился защитник агентств! — восклицает маститый критик, поворачивая свою седовласую голову в мою сторону.

— Ну, во-первых, только литературных агентств. А во-вторых, прошу заметить, что перед вами уже бывший литературный агент. Ныне пенсионер. Хотя и полноправный член Ассоциации по защите агентских прав. Между прочим, и взносы все уплачены самым добросовестным образом. Итак, вот он я, единственный бастион на пути художника (с большой буквы, разумеется!) к своему зрителю, слушателю, читателю. Кому там еще?

— Ах, право же! И зачем только нужны агенты? — несколько экзальтированно восклицает Сью. — Неужели артисту невозможно пробиться наверх самостоятельно, не попадая в лапы к этим чудовищам?

— Лапы?! — искренне возмущаюсь я. — Моя дорогая! Пощадите мои чувства!

Руфь смотрит на меня прозрачно чистым и незамутненным взглядом младенца. Но в глубине ее глаз я отчетливо читаю плохо скрываемое недовольство. Да пошли они все! С какой стати я должен сдерживаться, если какая-то провинциальная дамочка одной репликой отправляет коту под хвост всю мою прежнюю жизнь? И работу, кстати, тоже!

— А вам не кажется, мистер Олстон, — говорит Каминский, и ядовитая улыбка скользит по его губам, — что любой агент без художника-творца — это все равно, что виноградная лоза без опоры дуба?

Маленькая учительница музыки торжествует. Она хлопает в ладошки, глаза ее горят, крохотный острый подбородок воинственно выпячен вперед и слегка подрагивает, слово только что отрубленная голова у индюка. О, как же она сейчас ринется в атаку, в защиту великого музыкального искусства от всех этих происков мерзких коммерсантов. Да она сейчас такое скажет! Недаром она в самой гуще диспута и все правильно понимает насчет того, кто есть кто. Внезапно Каминский оборачивается. Смотрит на нее и подмигивает. А потом хватает у проходящего мимо официанта третий стакан и залпом осушает его. А почему бы старому Джо Олстону не последовать примеру талантливого юноши? Я тоже успеваю ухватить порцию бурбона.

Велеречивый критик шутливо тычет в меня пальцем.

— Что скажете, старина? Ассоциация — это вещь. И вместе все вы — сила! Ну, а если придется стоять поодиночке?

— Знаете, метафора нашего молодого друга, по-моему, чересчур прямолинейна. Лично я все годы своей работы ощущал себя не столько лозой, которой обязательно нужен дуб, чтобы вокруг него обвиться, сколько всевидящим оком. Точнее, я бы сказал, что агент — это собака-поводырь при слепом человеке.

Вокруг меня раздаются протестующие возгласы, звучит смех.

— С вами все понятно, Джо! — примирительно говорит мне Сью. — Вы будете отстреливаться до последнего патрона, но своих не сдадите. Вы нам лучше скажите другое! Можно ли выиграть в этой игре? Объясните, к примеру, как агент сумеет помочь Арнольду? Как он организует для него прослушивание или дебютный концерт?

— Да любое хорошее агентство с легкостью обеспечит ему необходимый аудион. В любое время.

— Ну да! Наряду с еще парой сотен таких же, как он, новичков.

— Нет! Только для него одного!

— Хорошо! Его прослушают, а что дальше? — бормочет мистер Акерман недовольным тоном.

Румяное лицо в обрамлении белоснежных волос, казалось, должно излучать благодушие. Однако никакой лицеприятности, особенно на фоне критика. Возможно, виной тому обвислые рыхлые щеки, крючковатый длинный нос, нависший над верхней губой, и толстый влажный рот. Да и испещренный глубокими морщинами лоб не добавляет ему приветливости. Почему-то мистер Акерман вдруг напомнил мне одного маленького, вечно озабоченного сценариста, которо-

го я знавал в былые времена. Бедняга страдал каким-то тяжким недугом: его врач называл это «потерей мышцами тонуса». Все его тело было настолько дряблым и обвислым, что нос даже не удерживал тяжести очков. Плоть в буквальном смысле слова распадалась на части, словно ее подвергли воздействию некого страшного лучевого оружия, которым обычно изобиловали сценарии этого мастера пера. Голос мистера Акермана как нельзя больше соответствовал его внешности. Вот он одарил меня тяжелым бульдожьим взглядом покрасневших глаз, полузакрытых припухлыми веками.

Ага! А им, судя по всему, нравится кусать меня! Они даже готовы напасть на меня всей сворой и растерзать прямо на месте. Вишь, как растявкались. Еще бы! Вот он, враг! Злой гений коммерциализации искусства. Ведь именно такие, как он, и разрушают их благословенное чистое искусство, низводя его до уровня товара. Ситуация начинает забавлять меня.

— А вот что с ним будет дальше — это уже не дело агента! — парирую я с вызовом. — И не вина агента, если у молодого человека карьера не задастся. Все дело в предложении и спросе. Что ни год в Нью-Йорк прибывает не менее сотни молодых одаренных пианистов, и каждый из них полон самых радужных надежд. Они надуты этими своими надеждами, словно разноцветные воздушные шарики. Всех их доброжелательно встречают в агентствах, прослушивают. Потом агенты стараются изо всех сил, лезут из кожи вон, чтобы устроить им концерты. Некоторые даже снимают для этой цели Карнеги-холл. И они зазывают на эти концерты массу критиков, всячески их ублажают и старательно коллекционируют все вырезки из газет, в которых упомянуто имя их продвиженца. И если вдруг случается чудо и молодого человека хоть как-то заметили, ему немедленно организуют гастрольное турне. Но! Заверяю вас, что в девяноста девяти случаях из ста молодые люди уезжают из Нью-Йорка, имея в своем багаже всего лишь связку выцветших вырезок из газет. И нет там никаких восторженных рецензий, и никаких аншлагов или повсеместных заказов на его гастроли. Так в чем тут вина агента?

— Тогда кто виноват? — вдруг срывается на крик Сью. — Я же просто уверена, что миллионы людей придут в восторг от игры Арнольда. Но где они могут его услышать? Как им попасть на его концерты? Между ним и его потенциальными зрителями словно каменная стена стоит.

— А что делать, моя дорогая? — подзуживаю я и, отхлебнув из стакана, глубокомысленно изрекаю: — Перепроизводство! И в искусстве тоже.

Мистер Акерман прилагает титанические усилия для того, чтобы разгладить свое лицо. Критик бросает на нас ироничный взгляд, исполненный глубокого скепсиса. Каминский молча изучает меня через стекло своего бокала. Его глаза горят, лицо покраснело. Густой, темно-бурый румянец полыхает на его щеках, скрывая нечистую кожу. Такое впечатление, что в глубине души он вынашивает нечто такое, что пока известно только ему одному. Но я нутром чую, что он еще удивит нас, это точно! Учительница музыки нервно прижимается к его локтю, презрительно кривит рот и одаривает прожженного коммерсанта Олстона откровенно неприязненным взглядом. Какие-то слова вот-вот готовы сорваться с ее уст, но в самую последнюю минуту она благоразумно закрывает рот. И подбородок ее опять начинает мелко дрожать.

— Вот так вот, друзья мои! Перепроизводство! — снова повторяю я свой диагноз. — Между прочим, когда такое случается в автомобильной промышленности, так вы немедленно бросаетесь обвинять руководство компаний, правительство. Выискиваете недостатки в экономике классического капитализма или даже усматриваете в случившемся происки социализма. Но вот подобное происходит в музыке, и тут уже, по-вашему, виноват во всем только один несчастный агент. Но бедняга импресарио — всего лишь посредник. А посредник, как известно, не отвечает за то, что завод наштамповал слишком много машин. Его задача — продать столько, сколько он сможет. И на этом все!

— Боюсь, мистер Олстон просто разыгрывает нас! — добродушно восклицает критик. — Ведь ясно же как божий день, что мы ведем речь не о производственных процессах. Знаете ли, мой дорогой мистер агент, гении не штампуются на конвейерах подобно шевроле или бьюику. Вы согласны со мной, мистер Кейсмент?

Судя по всему, вопрос застает Била врасплох. Да и вообще он не любитель рассуждать о высоких материях, в то время как критик явно рассчитывает на его поддержку. И напрасно! Тот слегка откашливается, словно его что-то душит, и энергично машет рукой.

— Нет-нет! Этот вопрос не ко мне! Я ничего не смыслю в вашем искусстве, ей-богу! — он издает короткий смешок и стоит, слегка оттопырив нижнюю губу, весело подмигивая остальным гостям.

— То есть, по-вашему, концерт в Нью-Йорке — это не выход, да? — упорно продолжает развивать свою тему Сью. Ее последовательность восхищает. В конце концов, а ради чего она затеяла весь этот сыр-бор? Шикарный пикник на берегу океана! Собрала в одном месте и критиков, и меценатов, и даже агентов. И вот теперь мы все у нее под колпаком! И она не отпустит нас до тех пор, пока не выяснит все до последней мелочи. В самом деле! Если от концерта в нью-йоркском зале пользы нет, то зачем понапрасну стараться?

— Ну, я бы не стал утверждать такое со всей категоричностью! — даю я задний ход, глядя на ее расстроенное лицо.

— Тогда что нам делать, Джо?

— Особой пользы в сольных концертах я тоже не вижу, — задумчиво роняет критик. — Хотя, с другой стороны, без дебютного концерта музыкальную карьеру невозможно начать.

— Вы хотите сказать, что все же иногда от сольных концертов бывает польза, да?

— Иногда такие концерты могут решить в твоей карьере всё! Вспомните хотя бы Уильяма Кейпеля. Кстати, его самолет разбился неподалеку отсюда. Впрочем, Кейпель — это все же скорее исключение из правил. Весьма редкое, причем.

Я не могу расшифровать выражение лица Каминского. По всей вероятности, именно это меня и злит больше всего: я не в состоянии понять, что творится у него внутри. Зато мысли Сью Кейсмент я читаю, как свои собственные. Взгляд, который она бросает на своего протеже, должен сообщить ему следующее. Во-первых, то, что в паре метров от нее толчется еще одно редкое исключение из правил. Пожалуй, даже редчайшее. А во-вторых, коль скоро Кейпель погиб в самом начале своей блестящей карьеры и его больше нет в живых, то место гения вакантно, и у них есть все шансы занять его.

— Сольный концерт стоит огромных денег. Наверное, не всякий музыкант может позволить себе такое? — с надеждой в голосе вопрошает она критика.

Тот многозначительно разводит руками.

— Ну да! Аренда столичного зала — удовольствие не из дешевых! За Карнеги-холл придется выложить порядка двух тысяч долларов. Тем не менее, многие идут на такие огромные траты и даже умудряются найти деньги. Найти и поставить их на карту.

Розовое личико Сью преисполнено решимости.

— А концерт сложно устроить?

— Да любой хороший агент сделает это для вас в два счета! — снова не выдерживаю я и получаю в ответ еще одну благодарную улыбку. Ах ты, старый черт! Вечно ты…

— Сделать-то он сделает! — говорит критик и бросает сочувственный взгляд на хозяйку дома и на Каминского. — Вот только ни один агент в мире не возьмется предсказать вам исход всего мероприятия.

Молодец! Я внутренне восхищаюсь его благородством. Ведь старик, несмотря на свою профессию, пытается быть предельно добрым. Его последние слова нельзя расценить иначе, как очень тактичное предостережение.

Атмосфера вокруг меня все больше и больше напоминает романы Вирджинии Вулф. А я, не будучи глубоким знатоком музыкального мира, не берусь пророчествовать, что и как будет потом, а потому начинаю чувствовать себя немного не в своей тарелке. Впрочем, от моего внимания не ускользает то напряжение, которое разливается в воздухе вокруг нас. За какую-то долю секунды я замечаю все: молчаливое неодобрение Руфью поведения своего старого спорщика-мужа, воинственную решимость Сью идти до конца любой ценой, о чем она сигнализирует взглядами Каминскому. А рядом Каминский с глазами молодого оленя, большими и чистыми, легкая вежливо безразличная улыбка скользит по его губам. Сплошная загадка, а не человек! И мне никогда не узнать, что скрывается за этой улыбкой. И тут же маститый критик, у которого вся затея с предстоящим концертом наверняка вызывает большие сомнения в глубине души. Лицо Акермана, завешенное тяжелыми складками щек, как всегда непроницаемо. У миссис Акерман выражение человека, которого допекли больные ноги, и потому ей хочется как можно скорее уехать домой. Учительница музыки брызжет восторгом.

— Представляете, вы на сцене Карнеги-холл! — восхищенно восклицает она, обращаясь к Каминскому. — С большим симфоническим оркестром! А в зале…

И, наконец, Бил Кейсмент! Он напоминает мне в этот момент Гарри Купера, когда тот по ходу фильма изображает невозмутимость, тщательно скрывая свои истинные чувства. Его длинное, испещренное морщинами лицо внешне спокойно. Интересно, о чем он думает? Наверное, мысленно прощается со своими кровными двумя тысячами долларов. Не уверен, что прощание получается веселым. А может быть, его сейчас просто распирает от чувства гордости за свою жену? Вон ведь какая умница! Ничего не скажешь, весьма образованная и инициативная дама! Организовать такой прием! Впрочем, вполне возможно, он просто бездумно рассматривает гостей, копошащихся в его доме, и искренне удивляется тому, в какой бедлам можно превратить при желании нормальное человеческое жилье.

Но одно мне ясно как никогда! Сью поволочет своего Каминского в Нью-Йорк и организует там для него концерт. Понять не могу, почему это открытие так угнетает меня. Ведь это же было понятно с самого начала. Собственно, ради этого она и затеяла свое грандиозное шоу. Наверное, меня расстраивает полное безразличие Каминского к той возне, которая ведется вокруг него. Ну, давай же, дуралей! Вот он, твой счастливый билет! Так хватай его обеими руками!

Лицо мистера Акермана начало постепенно разглаживаться, на нем даже появился небольшой кусочек абсолютно ровной кожи. Вот он с трудом подавляет зевок, и его жена моментально реагирует на этот знак.

— Дорогой, нам пора! Дорога дальняя! Нам ведь надо возвращаться в город.

Наш кружок начинает распадаться и таять буквально на глазах. Гости обступают Сью с трех сторон, торопясь высказать последние слова благодарности на прощание. Аккомпаниатор и мистер Будапест в своем бархатном пиджаке о чем-то оживленно толкуют с Каминским. До меня долетают обрывки их фраз: «Да, разумеется! Буду рад встретиться! Да, его заинтересует такой состав… Конечно, они с удовольствием прослушают вас… Да, великолепная идея… Надо подумать…»

Каминский молчит и только вежливо раскланивается. Кажется, он всецело передоверил свою будущую карьеру чужим людям. Вот и сейчас он, улыбаясь, раскланивается с аккомпаниатором, посулившим ему какое-то содействие. Но выражение лица по-прежнему отрешенное, и невооруженным глазом видно, что мысли молодого человека витают далеко отсюда. Ну конечно! Куда нам, грешным, до этого избранника судьбы! Он может позволить себе роскошь, снисходительно посмеиваясь, взирать со своих заоблачных далей, куда его вознесли музы, на нас, невежественных варваров, копошащихся внизу. И зачем ему эти пустые разговоры о карьере? Разве вся эта чепуха имеет какое-то отношение к искусству? Тому искусству, которому он служит? Нет, честное слово! Еще никогда

в своей жизни я не наблюдал столь выгодной сделки, заключаемой прямо на моих глазах. Парень сорвал джек-пот и даже глазом не моргнул.

Вот он прочувствованно пожимает руку мистеру Будапесту, внезапно вспоминает о том, что надо пожелать всем уходящим не только доброго пути, но и доброй ночи. И тут до меня, наконец, доходит: то, что кажется обычной светской любезностью, на самом деле есть обычный паралич, вызванный опьянением. Наш гений ведь не верит в силу спиртного. Он считает, что напиться как свиньи могут только такие, как мы. Вот и хватанул за неполные двадцать минут целых четыре стакана. А уж мне-то отлично известно, буфетчик в доме Била Кейсмента не скупится на виски, когда мешает свои коктейли.

VII

Дамы удаляются в поисках своих палантинов и манто, а Каминский, с трудом удерживая равновесие, начинает нарочито бравурно заигрывать с учительницей музыки. Безобидное домашнее создание, жалкая серая мышка. Вот он осторожно наклоняется к ней и тихо шепчет ей на ухо нечто такое, отчего она вся вспыхивает, начинает громко смеяться и протестующе трясти головой.

— Ну почему? — недоумевает он в пьяном угаре. — Разве это не так?

Он со всего размаха плюхается на стул в полуметре от меня, закидывает ногу за ногу и начинает энергично массировать свои лодыжки. Я вижу, как по лицу учительницы медленно разливается удивление. Она смотрит краешком глаза по сторонам, не наблюдает ли кто из гостей за ее странным тет-а-тет с маэстро. Так она и знала! Этот противный старикашка Джо Олстон, готовый продать все на свете, лишь бы ему платили, внимательнейшим образом рассматривает сладкую парочку. Девушка моментально цепенеет, глаза ее делаются стеклянными, она тут же напускает на себя равнодушный вид и демонстративно поворачивается ко мне спиной. О, да ты, старина, по всей видимости, воспринимаешься со стороны, как консервная банка, которую привязывают к выхлопной трубе машины новобрачных. Много шумишь! И ненавидишь молодежь. Вылитый антихрист, одним словом.

— Перестаньте! — говорит она Каминскому. — Я ведь вполне серьезно. Конечно, всем нам далеко до вашего уровня исполнения. Но мы не так уж и плохи. Право! И название у нас хорошее: «Общество любителей камерной музыки». Приходите и сами убедитесь. А не то вот возьму и впишу вашу фамилию сама, а потом скажу, что вы сами согласились участвовать в наших вечерах. И тогда вам точно никуда не деться: придется играть вместе с нами. Так что, если не знаете, то и не говорите!

— А я никогда не говорю того, чего не знаю! — весело ухмыляется Каминский. — Буду счастлив помузицировать вместе с вами. Надеюсь, в составе все дамы?

— Да, за исключением виолончелиста. Это — наш учитель математики, преподает в старших классах.

— Ужас! — закатывает глаза Каминский, и девушка весело хихикает, снова украдкой оглядывается по сторонам, снова замечает меня на прежнем месте и буквально припечатывает к стенке испепеляющим взглядом. Стоит тут, высматривает, выслеживает! Интересно, а почему я не ушел? Да потому и не ушел, что мне интересно, что же будет дальше.

— Итак, три дамы и один джентльмен! — широко улыбается Каминский, пытается придвинуться поближе к учительнице, но теряет равновесие. — Он, случайно, не мормон? А остальные дамы такие, как вы? Или хуже?

Я уже заранее знаю, что Руфь не поверит ни единому моему слову, если я вознамерюсь пересказать этот диалог. И, тем не менее, я старательно вслушиваюсь в пьяный вздор, который несет юный наглец. Я вижу, как бедняжка, слегка

заискивающе, шарит по его лицу растерянным взглядом, потом она бросает отчаянный взгляд уже в сторону группы мужчин, стоящих возле двери. А Каминского уже понесло в пьяном угаре.

— Знаете, что вам надо сделать, и незамедлительно? — почти кричит он ей на ухо. — Трансформировать свое общество любителей камерной музыки в общество любителей камерных развлечений! Ха-ха-ха! Забавно, да? Пусть ваш мормон развлекается с теми двумя, а мы будем музицировать с вами. Естественно, наедине! Готов начать в любое время!

Оскорбительно жестокие слова срываются с его губ легко и непринужденно, словно он ведет речь о погоде. В первое мгновение я даже решил, что ослышался. Не мог же он, в самом деле, говорить подобные гадости молоденькой девушке! Но нет! Все так! Стоя в полутора метрах от него, я не мог ослышаться! Я вижу, как учительница вся сжимается, словно ее ударили плетью, и начинает отрешенно изучать ножки соседнего стула. Краска стыда снова заливает ее некрасивое личико, подбородок слегка выпячивается вперед, но не дрожит. Она испепеляет меня очередным ненавидящим взглядом, но я стойко выдерживаю этот взгляд. Конечно, если бы не я, она бы уже сорвалась с места и опрометью бросилась бежать. А так приходится делать красивую мину, делать вид, что ничего не произошло. И никаких оскорбительных слов ей сказано не было. И снова мне приходит на память кино. Теперь уже Гарольд Ллойд. Как в одной из старых комедий он бесшабашно заигрывал с девушкой, выглядывая из-под стола, потому что спрятался туда по причине отсутствия брюк. То ли он напоролся на что-то и разорвал штаны, то ли они разошлись по швам, уж и не помню. Только помню, что в решающий момент скатерть сползает со стола. И перед взором девушки предстает бедный Гарольд, демонстрируя ей свои волосатые ноги и изящные французские подвязки. О Господи! Когда же я сам сдвинусь с этого заколдованного места!

Каминский снова наклоняется к своей жертве, что-то пылко шепчет ей в покрасневшее ухо. Наверное, что-то грязное. Потому что она вдруг отстраняется от молодого человека, решительно отталкивает его прочь и пулей проносится мимо меня и дам, возвращающихся из гардеробной. Кажется, подобная реакция озадачивает Каминского. Во всяком случае, я не ожидал, что он так округлит свои противные глазки. Он перехватывает мой взгляд, улыбается во весь рот, пожалуй, слишком широкая улыбка для подобной развязки, и неожиданно весело подмигивает мне. Видно, все произошедшее ужасно позабавило его. Ну да! Встретил в лесу живую белочку и вырвал у нее все четыре лапки. Шутник! Зато учительница, пробегая мимо, смотрит на меня совсем иным взглядом. На ее лице, в центре каждой щеки, выступило белое пятно, и такое же белое бешенство застыло в ее глазах, устремленных на меня. Вот она, ненависть в ее чистом виде, так сказать, квинтэссенция ненависти. Вся она без остатка предназначена мне, и только за то, что я оказался случайным свидетелем ее унижения, ее вселенского позора.

Некоторое время Каминский молча смотрит в пустое пространство и иронично улыбается. У него довольное выражение лица человека, только что опробовавшего нечто очень вкусное. Потом нетвердой походкой он направляется в сторону бара, и какой-то японец за стойкой начинает услужливо швырять кусочки льда в стакан, приготавливая ему очередную порцию спиртного.

Нет, пора выметаться из этого дома! Шикарная вилла все больше начинает напоминать мне дешевый кабак. Нет, все же элегантный ресторан, но на следующее утро после шумного банкета. Огни в бассейне уже отключены, и при свете луны видно, как над поверхностью воды клубятся потоки теплого воздуха, смешиваясь с белым, как молоко, туманом. Створки раздвижных дверей слегка разведены в разные стороны, и через этот проем тянется нескончаемая вереница покидающих дом гостей. А вот и сама хозяйка. Сью тащит Каминского за руку, уцепившись за его рукав уж слишком, как мне кажется, по-матерински. Или все

же по-сестрински? Они останавливаются на пороге, и я вижу, как над ними тоже струятся потоки тумана, обволакивая их со всех сторон.

— Буду рад видеть вас у себя в доме! — говорит Акерман, прощаясь с ними. — Кто знает, кто знает, как все обернется. Я вас познакомлю кое с кем, обещаю. А может быть, даже устрою у себя небольшой вечер. И приглашу только истинных ценителей музыки.

— Замечательная мысль! — подхватывает критик. — А я в ближайшее же время постараюсь написать благожелательный отзыв на ваше сегодняшнее выступление. И вообще, о вас.

— Ах, как *чюдесно*! — слюнявит мистер Будапест, смягчая все гласные. — Вы просто *чюдесный* пианист! Я получил огромное удовольствие от вашей игры. И передайте мои приветы синьору Вителли, если будете писать ему. Было время, когда мы с ним знались.

— Не стоит, не стоит! Это мы были рады видеть вас! — слышу я голос Била Кейсмента, обихаживающего следующую порцию уходящих гостей.

— Как хорошо, что вы приехали! — восклицает Сью. — Вы даже представить себе не можете, какое благое дело вы сегодня сделали! Вы все! Проявили настоящее великодушие, предложили свою помощь! Уверена, все это не пройдет для Арнольда даром. У него такой огромный талант. Даже такие невежественные люди, как я, и то чувствуют это. Понимают и готовы идти до победного конца, чтобы… — голос ее срывается. — До свидания, мои хорошие! До свидания!

Женщины, зябко кутающиеся в легкие меховые палантины и манто, одна за одной тянутся во двор и тут же растворяются в густой пелене тумана. А вот и учительница! Вид у нее самый удрученный. Бедная-бедная девочка! Она сухо прощается, на одном дыхании выдавая дежурный набор комплиментов хозяйке. Она не смотрит по сторонам, она даже не глядит на Сью. Взгляд ее устремлен куда-то вдаль, поверх головы Сью. Доброй ночи! Прекрасный вечер! У вас замечательный дом! Благодарю! И все, ушла.

Ее поспешность озадачивает Сью. Она обычно любит немного поболтать с гостями в момент прощания с ними. Каминский молча смотрит вслед училке, облаченной в строгий костюм из твида, прощаясь высоко поднятым стаканом. Девушка торопливо бежит к воротам. Одно плечо выдвинуто вперед, пальто небрежно наброшено на плечи, словно пелерина. Да, ее уход похож скорее на поспешное бегство. Уже за воротами она бросает еще один ненавидящий взгляд в нашу сторону, а уже в следующее мгновение туман поглощает ее целиком.

— Что это с ней? — недоумевает Сью. — Очень странная особа!

Бил возвращает всех нас в дом и задвигает за нами стеклянные двери. Каминский поворачивается спиной к дверям и начинает сосредоточенно разглядывать кубики льда в своем пятом стакане. Его настроение успело самым разительным образом поменяться, и сейчас он мрачен, словно грозовая туча.

— Это я довел ее до такого состояния, — внезапно признается он. — Я оскорбил ее.

— Ты *что*?

— Оскорбил ее. Наговорил ей кучу непристойностей.

— Ах, Арнольд! Полноте! — смеется Сью.

— Но это правда! Вот и ваш агент может подтвердить. Он все видел! Я шептал ей на ухо всякие гадости и даже сделал вполне конкретное предложение, и тоже в самой грязной форме.

Сью смотрит на молодого человека долгим пронзительным взглядом.

— Но *зачем*?! Ради всех святых, объясни мне, зачем ты это сделал?

— Затем! — невозмутимо парирует Каминский. — Эта засушенная вобла, старая дева, из которой брызжут в разные стороны невежество и энтузиазм. Она раздражала меня весь вечер. Не мог же я упустить случай. Она ведь принадлежит к тому сорту людей, которые сами напрашиваются на оскорбления.

В комнате повисает неловкое молчание. Нам слышно, как отъезжают машины, сигналя на прощание.

— Разве я мог не оскорбить ее? — вдруг взвизгивает Каминский. — Если бы я не оскорблял подобных людишек, то, как, по-вашему, я смог бы сохранить самоуважение, а? — Все ошарашенно молчат. — Да, вот поэтому вы и не любите меня! Все! — Музыкант начинает оглядываться по сторонам в поисках официанта. Но многочисленные белые смокинги тоже, судя по всему, растворились без остатка в тумане. Сью машинально забирает из его рук пустой стакан.

— Сью, нам тоже пора! — неожиданно громко говорит над моим ухом жена. — Вечер прошел прекрасно! И вы, мистер Каминский, превосходно исполнили свою программу.

Молодой человек смотрит на Руфь с холодным вызовом.

— Я был ужасен, мадам! Акерман и все эти знатоки-профессионалы потом повторят вам то же самое! Возможно, они уже прямо сейчас перемывают мне косточки в своих автомобилях. То, как я сегодня играл, и в этом я заранее согласен с ними, тянет лишь на уровень учителя средней школы. Такое исполнение годится разве что для общества любителей камерной музыки, куда с такой настойчивостью зазывала меня наша мисс старая дева. Да, здесь все кончено! Из этой затеи не вышло ничего хорошего! Я снова все испортил!

— Кончено? — взвивается Сью. — Да как ты можешь говорить такое? У тебя еще все только начинается!

— Нет! Все кончено! Финита ля комедия!

— Хорошо! Ты оскорбил эту, как там ее? Пусть так! Но что мешает тебе завтра же утром поехать к ней и извиниться? А в остальном… Ведь самое важное — это твоя игра, а сегодня ты действительно играл просто превосходно.

Бил, опершись на дверной косяк, сосредоточенно трет рукой правую щеку, отчего его рот пребывает в непрерывном движении: вверх-вниз, вверх-вниз. Он бросает на меня многозначительный взгляд. Я уже почти готов к тому, что сейчас он поднимет руку к виску и покрутит там пальцем.

— Что ж, пора на покой! Доброй всем ночи! — говорю я. — Что-то я сегодня подустал. Да и вы все тоже валитесь с ног от усталости.

Бил слегка раздвигает двери, но Сью не обращает на меня ни малейшего внимания. Она со злостью пялится на своего протеже.

— Как ты только можешь *так* говорить? Еще раз повторяю, твое исполнение сегодня было превосходным. Спроси любого, и любой подтвердит мои слова. А ведь ты делаешь только первые шаги в своей карьере! Многообещающее начало! И не забывай, я сказала, что помогу тебе, и помогу!

Я еще ни разу не видел человека, который жует свой язык. Но именно этим, кажется, занимается сейчас Каминский. Он всецело поглощен чавканьем, и его багровые щеки сотрясаются от энергичной работы мускулатуры лица.

И само лицо глупеет буквально на наших глазах. Идиотское выражение, так не гармонирующее с парадным концертным костюмом, выдержанным в строгих черно-белых тонах.

— Вы невыносимо добры ко мне, мадам! — говорит он хрипло, и я не могу определить, ирония ли это или прочувствованная благодарность. Но вот он оставляет в покое свой язык и начинает изъясняться уже более понятно. — Я знаю, вы меня любите. Вы — единственный человек на свете, кто меня любит. Меня никто и никогда не любил. Только вы! И в Голливуде меня все ненавидели. А вы знали, что я какое-то время подвизался в Голливуде? Записывал там музыку для саундтрека в фильме Чарльза Бойера. Ну, и чем все это закончилось, знаете? Я разругался с режиссером в пух и прах, и он нашел другого пианиста. Только и всего.

Руфь решительной походкой направляется к дверям. Я плетусь следом. Насыщенный влагой воздух щиплет лицо, и кожу начинает приятно покалывать. Мне слышно, как Сью продолжает за дверью уговаривать Каминского.

— Арнольд! Для тебя это уже много! Прекрати! Говорю же тебе еще раз, сегодня ты имел настоящий успех! Настоящий, понимаешь?

— Да! И так всякий раз! За что я ни берусь, везде — неудача! — канючит с отчаянием в голосе Каминский. Он уже больше не похож на злого гения-Мефистофеля. Пьяный мальчишка, готовый поплакаться в жилетку первому встречному. Он вымаливает глазами жалость, рот безвольно обвис, а руки все время хватаются за Сью, словно ему нужна опора для того, чтобы устоять на ногах. Сью и в самом деле поддерживает его за толстое запястье.

— Да! И так всякий раз! — повторяет он, и вдруг его мутный взгляд проясняется, и он с откровенной неприязнью смотрит на свою благодетельницу. — Всякий раз! А знаете, почему? Потому что я сам этого хочу! Я изначально нацеливаю себя на провал! Двадцать лет я работал как каторжный, а вот теперь могу позволить себе роскошь наслаждаться собственными провалами. Такие экземпляры вам не встречались еще, миссис Кейсмент, да? А я ведь очень хитер и изобретателен! Я все планирую наперед. И себя дурачу до самой последней минуты! А потом наступает время «Ч», и я понимаю, насколько я изворотлив в своей хитрости. И как все точно я спланировал. Я — вечный неудачник, вот я кто! И так будет до конца моих дней!

Пожалуй, тут я готов согласиться с ним. Но я стар и слишком устал сегодня, да плюс еще объелся. А еще я почти готов поспорить, что этому юному гению уготовано будущее самого заурядного алкоголика. Да, этот великий артист, который выше таких примитивных вещей, как бутерброд с колбасой или стакан вина, уже на пути к тому, чтобы превратиться в горького пьяницу. Для этого у него имеется достаточное количество жалости к самому себе. Потому что когда жалеешь себя так, как он, всегда отыщешь веский повод для того, чтобы осушить бутылочку-другую. Дескать, это помогает снять напряжение, успокаивает и примиряет с окружающим миром. А заодно и губит. Этот Каминский из тех, кто пьет исключительно ради того, чтобы напиться. Ему нравится эта сладостная пытка опьянением, слезливая жалость к себе, несчастному, хмельные откровения и порицания собственных пороков. Что ж, плачущий пьяница — не менее забавное зрелище, чем хороший пианист или откровенно хамоватый юноша.

Но вот он снова садится на коня.

— Почему нужно унижаться, валяться в ногах, и все ради только того, чтобы сыграть музыку к кинофильму какого-то Бойера? Вот как ценят истинного художника в этой стране! Музыкант играет за кадром, а в это время какой-то гребаный киноактер выламывается перед камерой и мотает нервы всей съемочной группе. Почему я должен мириться со всем этим? Я — художник! А если ты артист, если ты — настоящий артист, так и занимайся своим делом как положено! Да уж лучше я пойду тапером в какой-нибудь коктейль-бар и стану развлекать тамошнюю публику, чем наигрывать их гребаную музыку где-то за кадром.

— Конечно-конечно! — поспешно соглашается с ним Сью. — Завтра мы поговорим о твоей будущей карьере. Ты — художник, и ты добьешься всего, о чем мечтаешь. Тебя ждет блестящее будущее, поверь мне! Но для этого надо много работать. Очень много! И еще ты должен *верить* в себя! Понимаешь? Ты меня слышишь, Арнольд? Ты должен иметь такую веру в себя, чтобы ничто на свете не могло остановить тебя на пути к цели. И тогда тебя действительно ничто не остановит.

— Вера! Уверенность в себе! — нечленораздельно бормочет Каминский, едва стоя на ногах. Он с сомнением качает головой. На какую-то долю секунды у меня даже появляется надежда, что еще немного и наш маэстро свалится на пол и отключится. И тогда мы с Билом все же сумеем кое-как дотащить его до кровати. Но нет! Уже в следующее мгновение Каминский выпрямляется и снова начинает контролировать каждое свое движение. Причем, координация действий настолько четкая, что у меня закрадывается сомнение, так ли уж он пьян на самом деле. Может быть, снова ломает очередную комедию.

Он просовывает голову в полуоткрытую дверь и смотрит на меня, презрительно кривя рот.

— А ведь я вам не нравлюсь! Признайтесь, вы меня невзлюбили с первой же минуты, как только увидели. И весь вечер следили за мной. Хотите знать, почему?

— Честно говоря, не очень. Отправляйтесь-ка лучше спать. А утром мы снова встретимся друзьями.

— Друзьями? Вы мне — не друг! — орет Каминский, и Сью в ужасе восклицает:

— Арнольд! Прошу тебя, успокойся!

— Он мне — не друг! И сейчас я скажу вам, почему он — мне не друг. Потому что он с самого начала понял, что я — фальшивка! Вы же увидели меня насквозь, не так ли? Разве такого умного человека, как вы, может провести какой-то прохиндей, всего лишь выучившийся дрынькать на фортепьянах? Ну, и в какой момент вы догадались, что я — не поляк, а? Говорите!

Я молча пожимаю плечами. А ведь он прав. Сейчас, когда он сам заговорил об этом, я тоже замечаю, что легкий акцент, с которым он разговаривал весь вечер, вдруг куда-то исчез. Даже пьяный в стельку, даже теперь, когда он снова принялся жевать свой язык, Каминский заговорил, как…

— Так вы из Южного Бостона, не так ли?

— Ну, что я вам говорил! — и он круто поворачивается к Сью и почти падает на нее. Женщина вынуждена обхватить его обеими руками, чтобы удержать на ногах. Ее лицо покраснело от напряжения, но одновременно на нем появляется выражение легкой брезгливости. И впервые за весь вечер она смотрит на Била так, как смотрит жена на мужа, попав в трудную ситуацию и нуждаясь в немедленной помощи. — Вот! Что и требовалось доказать! Такого, как он, не проведешь! Вы все тут купились на мою сказочку, а он — нет. Сразу же узнал говор обитателей Южного Бостона!

Он снова выпрямляется, подносит к самому носу свою мясистую лапищу и начинает пристально рассматривать ее.

— Так я — поляк из Египта, да? Много страдал, прошел через ад. А потому у меня трудный характер. И вообще я — странный, да?

Он по очереди обводит нас взглядом и держит эффектную паузу, как самый заправский актер.

— Так вот, докладываю! Никогда не был в Египте! И даже не смогу показать на карте, где находится Польша. И мать моя не пошла на мыло в печах крематория. Она и по сей день торгует духовыми инструментами в своем магазинчике в Бостоне возле Северного вокзала. Ах, вы хотите знать, почему меня все так ненавидят? Да потому, что я — фальшивка! Обманщик! Шулер! Истинная правда. Спасибо, что организовали для меня весь этот ад. Но я все же предпочитаю идти туда своим путем. Я-то лучше знаю, какие дороги ведут в ад. Ну, что скажете теперь, а?

Я в жизни не знавал более добродушного человека, чем Бил Кейсмент. Заботливый муж, щедрый друг, он готов принять и ублажить любого, даже такого малосимпатичного субъекта, как Каминский. И при этом простить тому все его слабости. Но вот я наблюдаю за его лицом сейчас, когда он видит, что пьяный увалень вот-вот свалится на Сью и погребет ее под своей тяжестью, несмотря на все отчаянные попытки женщины вернуть его в вертикальное положение. Я смотрю на лицо Била и понимаю: нет, он не из тех, кто станет швыряться своими денежками просто так, за здорово живешь. Он уже все для себя решил. Еще тогда, когда в задумчивости растирал щеку во время суаре. Это дома он — хороший и любящий муж, но в глубине души он — прежде всего делец, причем, весьма решительный в своих поступках. Не удивлюсь, если уже в следующую минуту он схватит Каминского за шиворот и вышвырнет его вон с такой силой, что беднягу только и видели.

Но пока я рисую в своем воображении сцену изгнания гения с виллы, Бил подходит к молодому человеку, хорошенько встряхивает его и крепко хватает за руку.

— Ну, хватит! Поговорили и хватит! А сейчас марш спать!

— И вы тоже! — тянет свою прежнюю канитель Каминский. — Вы тоже ненавидите меня! О, с какой радостью вы сейчас умоете руки. Какой Карнеги-холл? Какой сольный концерт? После того, что вы обо мне только что узнали. Отныне и навсегда я — ваш злейший враг.

— Так вот чего ты добиваешься, Арнольд! Ты этого *хочешь*? — с горечью восклицает Сью. Она уже на грани слез.

— Вы все тут только и мечтали, чтобы я провалился!

Но, боже мой! Его пьяный взгляд снова становится вполне осмысленным, и я безошибочно читаю в глубине его блестящих глаз подлый расчет, помноженный на незаурядный интеллект.

— Твой единственный враг — это твой собственный язык, парень! — спокойно отвечает ему Бил.

— Господи, господи, господи! — неистово восклицает Каминский. По его лицу струится пот. Впрочем, может быть, это конденсировалась влага из тумана, заполнившего все вокруг. Нет, наверное, это все же пот, размышляю я, припоминая, как точно такая же огромная капля пота повисла на его носу, когда он играл нам Шёнберга. — Господи, как же я устал! — повторяет он потухшим голосом, и его массивная ручища кажется почти хрупкой в железной хватке Била. Слишком большая голова, большие руки, все это мешает увидеть, что он в принципе очень худ и костляв. — Я вам еще не все сказал. Вы так и не поняли, дурачил ли я вас понарошку или с тайным умыслом. Даже вот этот умник, — он тыкает в меня пальцем, — не возьмется ответить на мой вопрос. Да, вы так и не поняли, зачем я все это делал. Какая сумасшедшая идея толкала меня на подобные безумства! — голос его падает до шепота. Он озирается по сторонам и с ухмылкой заканчивает. — А может, ваш гений и в самом деле безумен? Обычный псих, только и всего!

— Пошли! — командует ему Бил и тащит его на выход. Но Каминский отчаянно сопротивляется, ноги его заплетаются. Он, шатаясь, выходит во двор и едва не падает среди расставленных стульев. Отвратительное, омерзительно убогое зрелище постепенно трансформируется в самый обычный, но вульгарный донельзя бурлеск. Мне абсолютно ясно, что вульгарным его делают намеренно, специально, чтобы еще больше разозлить всех нас. О, я уже успел разобраться в подленькой натуре парня.

— Не беспокойтесь обо мне! — кричит Каминский и ногой переворачивает первый попавшийся на его пути стул. — Какое вам дело до нищего пианиста из пригородов Бостона? И какая вам разница, был я в Египте или нет? Главное, что я умею играть на фоно. И при желании я могу через клавиши вытрясти из него всю душу.

Он снова поворачивается к нам лицом, делает шаг вперед и начинает в упор разглядывать Сью, уцепившись за спинку подвернувшегося под руку стула.

— Не беспокойтесь! Я вижу, вы переживаете, и сильно. Не стоит! Утром я выметусь из вашего чертового летнего домика и больше не буду обременять вас своим присутствием. И благодарю вас за все. Большое спасибо! Хотя, собственно, благодарить не за что. Довольны?

Он рывком отбрасывает стул в сторону, и тот с грохотом падает на пол.

Бил Кейсмент делает легкое движение в сторону Каминского, и порыв ярости у того моментально угасает. Трагедия плавно переходит в фарс и вот-вот закончится полным балаганом. Потому что пианист вдруг издает слабый писк, словно мышь, попавшая в капкан, и со всех ног мчится прочь от Била. Отбежав на безопасное, по его мнению, расстояние, он прячется за стул, поворачивается к нам и скалит зубы, но Бил снова делает движение вперед, давая ему понять, что бросится за ним вдогонку, и тот снова бежит прочь. Какое-то время мы еще можем различать в густом тумане его колышущуюся в разные стороны фигуру. Он бежит, высоко вскидывая ноги, словно кот, случайно попавший в лужу.

А потом мы слышим слабый всплеск, и тишина. Туман накрывает все вокруг, и нам не видно, как там он барахтается в бассейне, куда свалился прямо не бегу.

А что, если он не умеет плавать? Убегая в ужасе от своего преследователя, он, скорее всего, начисто забыл о существовании бассейна. Вполне возможно, очутившись в воде, он даже не осознал, что свалился в воду. Или сразу же потерял сознание. Но возможен и другой вариант. А вдруг он и в самом деле вознамерился свести счеты с жизнью прямо на наших глазах? Вот взял и утонул.

Если мое последнее предположение правильно, тогда могу с уверенностью сказать, что его снова ждет неудача. Бил уже успел включить подсветку в бассейне, туман над водой немного рассеялся, и нам видно, куда именно упало тело, облаченное в белый смокинг. Каминский лежит неподвижно. Женщины в ужасе вскрикивают, и Бил со всего размаху сигает в воду. А в следующую минуту он уже тащит обмякшее тело к бортику. Возле ступенек он начинает отчаянно тормошить Каминского, наклоняет его голову в разные стороны, чтобы из него вылилась вся вода. Руки молодого человека безвольно падают на облицовочную плитку, ноги тоже висят, как плети.

— О господи! — шепчет Сью. — Неужели он мертв?

Бил с отвращением смотрит на пианиста. С какой стати ему умирать, если он находился под водой не более минуты? Бил осторожно кладет молодого человека на пол. Голова Каминского повернута к стенке, и нам не видно его лица. Но вот он вздрагивает и начинает кашлять, отчаянно хватаясь руками за цементный пол. Из окна кухни выглядывает мажордом Джерри, видит все происходящее и моментально исчезает. А в следующую минуту уже стремглав несется к нам, в одной рубашке, волоча под мышкой одеяло.

Едва ли Каминскому нужно одеяло. И, кажется, впервые за весь вечер он может обойтись и без публики тоже. Мы стоим еще некоторое время, до тех пор, пока не убеждаемся в том, что Бил и Джерри взяли ситуацию под полный контроль, а потом собираемся домой. До ворот нас провожает Сью. Мы идем молча, да и о чем, собственно, говорить? Один раз бедняжка осмеливается поднять глаза и посмотреть на нас. Судя по всему, ей очень стыдно. Вид у нее такой несчастный, такой униженный, что у меня возникает спонтанное желание вернуться назад и собственными руками задушить этого олуха прямо там, на месте, где он еще наверняка продолжает корчиться в рвотных спазмах, пытаясь выдавить из себя воду. Но вот мы с Руфью остаемся одни на фоне почти сюрреалистического пейзажа. Ватные хлопья тумана накрыли все пространство парковки. Мы садимся в машину и пару минут сидим молча. Потом я включаю двигатель, давая ему возможность прогреться. Заработали дворники, прочерчивая на стеклах два чистых полукруга, через которые, впрочем, виден был все тот же туман.

— Не понимаю, зачем, — начала было Руфь, но я тут же закрываю ей рот рукой.

— Прошу тебя! Я — всего лишь старый, усталый обыватель, которому и так сегодня изрядно досталось. Мне хватило удовольствий с лихвой. И сейчас я предпочел бы не распространяться на тему о том, что гложет этого парня и почему он повел себя так, а не иначе. Я и так уделил ему гораздо больше внимания, чем он того заслуживает.

Я отнимаю руку, и Руфь тихо произносит:

— Но ведь самое ужасное во всей этой истории — это то, что он действительно превосходный пианист.

Мы уже выехали на трассу. Впереди стелется ровной полосой туман. По обе стороны дороги мелькают стройные ряды молодых сосенок.

— Что? Неужели ты и в самом деле так считаешь?

— Конечно! А ты разве иного мнения?

— Да уж! Во время исполнения «Чаконы» он дал такого петуха!

— Это может случиться с кем угодно. Особенно, когда музыкант еще молод. К тому же, он очень волновался. Но вот интерпретация произведения — это уже

совсем другое дело. Вспомни, как он буквально вгрызся в первую часть, да и вторая прозвучала совсем иначе, чем у других исполнителей. И общее настроение, акценты, все стало совершенно иным. А как он властно держался, полностью подчинив себе и инструмент, и исполняемую им музыку. Нет, не говори! Большинство пианистов умеют просто играть Моцарта или Бетховена. Или Брамса. А этот может сыграть кого угодно, и в равной степени хорошо. Кстати, мистер Арпад точно такого же мнения.

— Мистер Арпад? Это кто?

— Это тот джентльмен, который аккомпанирует певцам.

— Так он считает, что парень играл хорошо?

— Он сказал мне, что ехал к Кейсментам всего лишь из вежливости, ни на что не надеясь. Дескать, услышит еще одного пианиста: одним больше, одним меньше. А тут такой сюрприз. По его словам, у молодого человека есть все данные для блестящей пианистической карьеры.

Из тумана неожиданно выныривают высокие стволы эвкалиптов, похожие на привидения. Свет фар скользнул по их оголенным белым стволам и тут же выхватил из темноты кромку забора. Я резко сбрасываю скорость, тормозя. Не хватало еще только аварии!

— Хорошо! Может, вы оба и правы! И он — гений, — восклицаю я с нескрываемым раздражением. — Тогда какого черта он…

Итак, мы снова возвращаемся на круги своя. Зачем он это сделал? Что его толкнуло? Когда он врал? Вначале? Потом? Или он все время говорил неправду? А еще для меня принципиально важно знать, с кем он, черт бы его побрал! И с кем он останется в итоге. И что могут сделать сотни таких меценаток, как Сью Кейсмент, для всех Арнольдов Каминских в мире? И с какого боку станут участвовать в подобных затеях их мужья? А еще, какую помощь, если вообще можно толковать о помощи в такой ситуации, могут оказать все эти самодовольные люди, которые перебрались из больших городов сюда, на побережье Тихого океана, и поселились среди калифорнийских скал? И теперь живут всласть, наслаждаются жизнью, развлекая себя то на собачьих бегах, то на охоте, то на барбекю, то на вечеринках, которые они поочередно устраивают на своих роскошных виллах с изысканными патио. И может ли в изящном гнездышке малиновки прижиться подброшенный кукушонок? И как этот дикарь, у которого никогда не было собственного дома, разве что того, который он захватывал силой, как он станет вести себя в этом милом гнездышке? А если, к несчастью, у этого кукушонка чувствительная душа, или если он — духовно богатая натура, или, паче чаяния, беззащитен и сир? О Боже, спаси и сохрани!

На нас стремительно надвигаются огни. Вначале они только слабо просвечивают сквозь сизый мрак, потом делаются ярче, почти слепят. Это свет фар от едва различимой в тумане встречной машины. Вот она проносится мимо, и все вокруг снова погружается в темноту. Я еще никогда не видел такого густого тумана. Белая толстая пелена, напоминающая пушистое одеяло, сплошным покровом опустилась на все побережье, отгородив всех нас, живущих здесь, от остального мира. Такое впечатление, что Тихий океан вышел из берегов и конденсировался в воздухе. Я ползу как черепаха, со скоростью не более десяти миль в час, и все время пристально вглядываюсь в ветровое стекло, боясь пропустить нужный нам поворот. Ведь на этих деревенских дорогах большинство из них даже не помечено знаками.

Вот мы въезжаем на мост. Я чувствую, как под нами гремит настил и гудят опоры моста. Слава богу, почти приехали. Я сворачиваю на дорогу, ведущую к нашему дому. Еще полмили при почти полном отсутствии видимости, и вот он, наш дом. Встречает темными окнами, занавешенными толстым слоем тумана, который издали похож на белые охапки хлопка-сырца. Мой кабинет под террасой тоже полностью съеден туманом. И дуб, который я рассматривал сегодня днем, наблюдая за жизнью птиц, тоже исчез, растворился в молоке: ни кроны, ни тени

от ствола, ни птиц. Я снова включаю дворники, пытаясь определить через стекло, с какой стороны лучше подъехать к воротам, и начинаю осторожно спускаться с холма. Справа пробивается коричневатая кромка берега, слева — фары выхватывают из темноты верхушки деревьев в лощине, которые колышутся в безбрежном море тумана, словно морские водоросли. Кромешная темнота и полный мрак. Полный мрак во всем! Во рту невкусно от выпитых бурбонов. Сколько я их сегодня опрокинул? Разгулялся, чертов старикашка! Кажется, впервые я начинаю ощущать свой возраст, все шестьдесят шесть лет до последнего денечка.

Что ж, доживем до утра! А там, глядишь, к моему окну снова прибьется неизвестная мне птица, тауи, или как там ее? И снова затеет свой нескончаемый бой с собственным отражением в стекле, воинственно распушая перья при виде недружелюбного облика своего двойника. Вот только, обещаю я себе со всей твердостью, если этот забияка возобновит свои сражения на заре, то я уж точно повырываю ему все перья и оторву хвост, а потом развею трофеи по всем шести акрам своего имения. И даже одолжу для этой цели дробовик у какого-нибудь соседа.

Разумеется, ничего этого не будет. И я уже заранее знаю, что будет. Я буду снова, как приклеенный, сидеть и часами наблюдать за этим дуралеем. И размышлять о том, сколь безумны порой бывают и люди, и птицы, а еще стану изо всех сил убеждать себя, что такие странности в их поведении в общем-то ни о чем не говорят. Мало ли что кому взбредет в голову? Частный случай, временное помрачнение ума, не более того. А потом, когда мне надоест наблюдать за бесконечными упражнениями тауи, я вернусь в кабинет. Устроюсь возле письменного стола и начну вглядываться в тенистую крону дуба, в которой копошатся вполне довольные жизнью бурые поползни, деловито извлекающие насекомых из коры ствола. Но даже через закрытую дверь до меня будут долетать неистовые крики тауи с веранды. Тот все еще отчаянно пробивается в гостиную, за окнами которой прячется его враг.

Наконец мы въезжаем в гараж, и машина, плавно замедляя ход, останавливается. Мы молча смотрим друг на друга.

— Устал? — ласково шепчет мне Руфь. Ее родное лицо матово белеет в темноте, подсвеченное тусклым светом приборного щитка. Ласковая улыбка трогает ее губы, и я вижу, как внимательно всматривается жена уже в мое лицо. И я вдруг, словно впервые, замечаю усталые тени вокруг глаз и складочки возле рта. Волна нежности поднимается у меня в груди. Нежности и благодарности за те сорок лет, в течение которых она так мужественно спасала меня от меня же самого.

— Сам не знаю! — отвечаю я задумчиво, целую жену и откидываюсь на спинку сиденья. — Сам не знаю, устал ли я, или мне грустно, или я сбит с толку. А может быть, я просто зол на весь мир за то, что жизнь прошла так быстро. И она такая короткая, что не успеваешь толком разобраться, что в ней к чему.

Перевод с английского Зинаиды Красневской.



Датский Да Винчи двадцатого века

Не одни только датчане убеждены в этом. Похоже, что все, кто знает о жизни и деятельности этого человека, совершенно единодушны в оценках: уроженцу Дании по имени Пит Хейн надо было присудить Нобелевскую премию. Престижной премии этот ученый, писатель, изобретатель, художник и инженер так и не получил, но знаменит он сегодня не меньше, чем другие великие датчане — сказочник Андерсен или принц Гамлет, воспетый Шекспиром.

Русскоязычному читателю, особенно тому, кто помоложе, имя это человека скажет немного. Пит Хейн, потомок легендарного народного героя, знаменитого датского путешественника, родился в 1905 году. Будучи из семьи вполне респектабельной, юноша в девятнадцать лет окончил столичный университет.

Затем начались годы исканий, главным образом, как сегодня говорят, виртуальных: юный интеллектуал то изучает искусствоведение, то вдруг всерьез начинает интересоваться теоретической физикой. И уже в те первые годы становления проявилась оригинальность воззрений Хейна: для него субъективный мир художника и объективный мир ученого были неразрывно связаны, поскольку во всем он пытался увидеть, в первую очередь, некую универсальную форму.

Именно поиски формы привели строго рациональный ум Хейна к математическим открытиям и дизайнерским проектам, упрочившим его славу. Скажем, после Второй мировой войны (в годы оккупации Хейн активно участвовал в движении Сопротивления) всему миру стала известна построенная по его проекту оригинальная транспортная развязка в самом центре Стокгольма. И совсем не случайно, что среди друзей Хейна — и выдающиеся ученые двадцатого века Нильс Бор и Альберт Эйнштейн, и великий художник кино Чарльз Чаплин…

Ничуть не удивительно поэтому, что первыми на просторах бывшего СССР обратили внимание на поэтические сочинения Пита Хейна вовсе не лирики, а — физики. Первые русские переводы коротких, афористических стихотворений Хейна (их он написал около семи тысяч!) были опубликованы не где-нибудь, а в серьезном журнале «Наука и жизнь». Наверное, это даже символично, потому что стихотворения Хейна — так называемые *груки* — говорят с чисто научной точностью о том, что такое наша полная парадоксов жизнь.

В одних стихотворениях это получается лучше, в других — еще лучше. Хейн одинаково хорошо писал и на родном, и на английском языке. Вот почему возможно использовать *груки* в целях обучения английскому языку. Авторы одного из национальных учебников по английскому языку для старших классов средней школы (среди которых и автор этих строк. — *Ред.*) поместили в него несколько стихотворений Хейна.

В сегодняшней подборке — несколько переводов стихов, написанных по-английски (всего их около четырехсот). В разное время они переводились на немецкий, французский, японский, китайский языки и даже эсперанто. Некоторые ранее уже печатались на русском языке. Но хорошее афористичное стихотворение тем и примечательно, что переводить его можно — и нужно! — множество раз. Делать это надо для того, чтобы с максимально возможной точностью передать поэтическими средствами гармоничное сочетание науки иронии и строгого искусства, которое делает *груки* Пита Хейна совершенно неповторимыми.

Юрий Маслов

ПИТ ХЕЙН

Что видно с высоты

О звездах

Нет мудрее красоты
Звезд! Им видно с высоты,
Сколь малы и я, и ты.

Кто ищет, тот не всегда

В стогу искать иголку
Морока из морок,
И поиск оказаться может долог,
В особенности, если
Объектом служит стог,
В котором сроду не было иголок.

Есть к чему стремиться

Одна меж людьми
потаенная сладость,
не принято вслух
про такие дела:
не в радость заделать
знакомому гадость;
а радость, чтоб гадость
нам в радость была!

О любви

Любовь подобна вкусу авокадо:
Приятно, но еще чего-то надо…

Жить надеждой

Жить надеждой нам дано,
Но секрет открою:
Жить надеждой надо, но —
Но не ей одною!

Ars brevis

В искусстве есть закон.
Пусть повторюсь, но
Скажу: будь искушен,
Но — безыскусно.

Верь глазам своим

Что видит взор?
Не все. Но спор-
ных случаев не счесть.
Вон тот, провор-
ный, словно вор —
Глядишь, он вор и есть.

О всезнайстве

У кого всезнайский зуд —
Тот зануда из зануд!

Человек — это звучит

Что за прелесть человек! —
Молвил Дьявол. — Вечно хочет
От соблазнов уберечь
Не себя — всех прочих!

Вопрос или ответ?

Умен, кто ответ на вопросы дает
Без всяких шпаргалок и правил.
Но истинный ум — это все-таки тот,
Кто эти вопросы *поставил.*

Учиться, учиться и учиться

Хоть много правил золотых,
Увы, ошибки — те же.
Вся мудрость в том, чтоб делать их
Как можно реже.

Недостижимый идеал

Учат нас: живи, чтоб день был прожит
так, как будто дальше — ничего.
Если б я так жил — прости мне, боже! —
Я б не прожил дольше одного!

Ну, вы меня понимаете

Поэзия — таинство и
бормотанье невнятное…
Но если мой стих
вдруг случится кому-то понять,

зовите меня, объясню,
как его трактовать —
чтоб чуткий читатель,
ясней недопонял понятное!

Философское

Системолюбцам — не дано
Понять (при всей дрессуре),
Что мир не плод единства, но
Борьба ума и дури.
Системоборцам — тем давно
Ясна дилемма ложная:
Враг дури суть единственно —
Дурь. Противоположная.

По поводу борзописцев

Нельзя читать
труды иных писак:
тома тачают, перьями скользя…
Мне дайте тех, кто не спешить мастак,
кому писанье — трудная стезя,
кому творить мучительно, да так
что книги эти
не читать — нельзя!

Как надо писать

Мне жаль тебя, автор.
Ты в книге своей
Так хочешь казаться
Как можно умней.
Но опыт нас учит,
Хоть многим не впрок,
Умнее — казаться
Глупее чуток.

Поучение

Вот совет тебе
(цени!):
Все советы —
Прочь гони!

Перевод с английского Юрия Маслова.



«Она была первым читателем всех произведений Мележа»

Лидии Яковлевны Петровой-Мележ не стало 2 января 2004 года. Она пережила своего мужа, знаменитого белорусского писателя Ивана Мележа, почти на три десятилетия. Это была замечательная пара, об истории любви которой можно написать целую книгу. Но с уходом верной спутницы классика стало ясно, что в этой книге многие страницы уже навсегда останутся чистыми. Ведь немало из того, что могла рассказать Лидия Яковлевна, не расскажет никто.

И вдруг оказалось, что в свое время она писала воспоминания, оригинал которых сегодня хранится у Миколы Метлицкого, известного поэта, ныне — главного редактора журнала «Полымя», человека, на протяжении нескольких десятилетий дружившего с этой замечательной женщиной.

— С Лидией Яковлевной я познакомился в 1978 году, когда, работая в «ЛіМе», писал о Мележе очерк «Есть на Полесье Курани» и необходимо было уточнить у нее некоторые факты биографии Ивана Павловича. Постепенно наше знакомство переросло в настоящую дружбу. Она была бесконечно влюблена в творчество Мележа и при встречах иногда рассказывала о том, как он работал, как создавались «Люди на болоте». Рассказывала и как они познакомились в далеком, а для нее родном Бугуруслане, как она решилась стать его женой, хотя у нее уже был парень, который потом, правда, погиб на войне. И тогда я предложил Лидии Яковлевне понемногу записывать эти воспоминания. Она согласилась. Время шло, я уже даже не напоминал ей о том нашем разговоре. Но однажды Лидия Яковлевна позвонила, пригласила домой, протянула мне рукопись и сказала: «Это все, что я смогла из себя выдохнуть. Об Иване Павловиче написано много, а я посчитала нужным сказать то, чего никто не знает»…

— Каким человеком была Лидия Яковлевна? Она играла какую-то роль в творчестве Мележа или, как это часто бывает в писательской среде, он не считал обязательным прислушиваться к мнению родных и близких?

— Знаю точно, что она была первым читателем всех его произведений. И присутствовала на всех его творческих вечерах. Мое первое студенческое впечатление: по купаловскому скверику под руку идут Мележ в болоньевом плаще и Лидия Яковлевна. Они были всегда рядом, всегда неразлучны. Надо сказать, что Лидия Яковлевна была очень интеллигентной женщиной, начитанной, хорошо разбирающейся не только в литературе, но и искусстве. Но хотя многие ходили в ее друзьях-подругах, она чувствовала себя здесь несколько изолированной. Ей очень хотелось вернуться на тропинки своей юности. Предлагала нам вместе съездить в Бугуруслан. Но ее болезнь и возраст помешали этому осуществиться.

— Лидия Яковлевна понимала, что живет с классиком?

— Абсолютно! О Мележе говорила: «Работал на износ». А когда он работал, то вся квартира была в напряжении, все было подчинено этому творчеству. Для Мележа писательский труд никогда не был легким занятием.

— Они же познакомились, когда Мележ поправлялся после тяжелого ранения?..

— Да, и это случилось 22 октября 1942 года в Бугуруслане. 21-летний юноша, измученный госпиталями и войной, встретил свою будущую жену — 19-летнюю дочь хозяйки квартиры, в которой он временно проживал. И Мележ тогда и признался девушке, что хочет стать писателем. Чем, наверное, и заинтриговал ее. И какое счастье, что она согласилась бросить все и уехать с ним в далекую и незнакомую ей Беларусь, а не уговорила его остаться в Бугуруслане. Ведь тогда белорусская литература, скорее всего, не имела бы ни «Полесской хроники», ни других мележевских произведений.

— Воспоминания ограничиваются только бугурусланским периодом их жизни…

— Очень жаль, что это так. Если бы она проследила многие годы их жизни, это были бы бесценнейшие воспоминания. Вспомнить же было что. Как он работал, как сам смотрел на созданное им. Но мы всегда будем безмерно благодарны ей и за то, что она сделала. А сделала, я считаю, немало. И с публикацией этих страниц далекий российский город Бугуруслан станет для нас значительно ближе.

— Не секрет, многие воспоминания, особенно, если за перо берутся коллеги по цеху, грешат субъективностью. Конечно, творческие люди способны подметить то, что порой не могут, на что не обращают внимания другие, а вот что касается оценок… Начинаешь сравнивать с тем, как об одном и том же пишут разные люди, и поражаешься, насколько по-разному они его оценивают. Но, читая воспоминания Лидии Яковлевны, меньше всего возникает подозрений в их субъективности…

— Эти воспоминания написаны силой глубоких чувств, которые, возможно, к Лидии Яковлевне по отношению к классику белорусской литературы пришли не сразу. Возможно, вначале было сострадание, когда она увидела перед собой израненного войной юношу. Но свою любовь к нему впоследствии она пронесла через всю жизнь. У нее не было разочарований, не было горьких упреков, а было терпение, понимание того, что рядом с ней человек, делающий то, что ему дано небом. И было ее соучастие в этом. Она давала этому человеку силы. А сама, благодаря ему, благодаря его замечательным произведениям, влюбилась в Беларусь. Конечно, ей очень хотелось написать о нем. И Лидия Яковлевна писала, выверяя каждую фразу. У нее ведь тоже были явные литературные задатки. Этими воспоминаниями она хотела дать нам возможность почувствовать то, что было у нее в душе. И, я думаю, благодаря им еще больше прибавится света в облике самого Мележа.

Беседовал Алесь Малиновский.

ЛИДИЯ ПЕТРОВА-МЕЛЕЖ

Начало пути

По страницам дневников и писем

Решив писать свои воспоминания об Иване Павловиче Мележе, я не пыталась ставить перед собой задачу создать цельный образ этого сложного человека. Даже книга «Воспоминаний об Иване Мележе», где от чистого сердца помянули его добрым словом сорок с лишним товарищей и друзей, не отражает всей внутренней культуры, широты познаний, самостоятельности мышления, глубокого протеста по отношению ко многим явлениям в жизни, литературе, науке, культуре и т. д.

Когда Иван Павлович над чем-нибудь работал, ходил хмурый, внутренне чем-то мучился, углублялся в себя, рассеянно слушал, молчал, я смотрела на него и думала: что происходит в его душе, какой же это тяжкий труд, и как мало он дает обычной человеческой радости и радости творческой — всего несколько удачных строк, да и те порой переделываются, перечеркиваются, рождаются новые тяжким трудом в бессонной ночи.

Иногда я проклинала этот талант-муку. Не желала никому из своих ближних такого, не хотела талантливых мужей своим дочерям.

Но для Ивана Павловича было великим счастьем то, что он стал писателем, что он мог на бумаге оставить свои, пусть не все и не всегда так, как бы этого хотел, но все же свои мысли о бедах, радостях, счастье и горе. Этот адский труд давал одновременно и великое облегчение, иначе было бы просто невозможно жить такому человеку, как он.

Не случайно после работы за письменным столом Иван Павлович выходил из кабинета совсем другим человеком: веселым, доброжелательно настроенным, шутил, а иногда напевал, словно сбросил пудовый груз со своих плеч. Но этого хватало ненадолго. Вскоре снова замыкался, сосредотачивался и уходил в себя.

Несмотря на все это, Иван Павлович, не будучи большим оптимистом, считал себя человеком счастливым, благодарил судьбу за то, что не погиб на войне, за то, что смог, успел сделать кое-что для людей, для литературы. Умел он ценить нашу короткую жизнь. Ее духовное наполнение.

Многое из лучшего, что было в Иване Павловиче, в его характере, в его любви к человеку, к природе, к земле, вошло в его рассказы, романы, статьи. Любые воспоминания субъективны, больше говорят об их авторе, и лишь в отдельных деталях о жизни и творчестве, о встречах, разговорах того, о ком пишут. Они, как говорится, лишь дополняют образ отдельными штрихами. Трудно описать человека, даже лицо которого порой меняется ежеминутно, в зависимости от смены мыслей и чувств, раздумий, желаний, протестов. То нежность и внимание, то вдруг укор и суровость.

Мои воспоминания — всего лишь отдельные картинки из жизни Ивана Павловича Мележа. Это не обзор творчества, что является задачей литературоведов и не по силам мне. Хочется просто описать условия жизни, окружающую обстановку, отдельные, может быть, не всем известные черты характера. Возможно, это поможет читателям лучше представить себе создателя «Полесской хроники».

Встретились мы с Иваном Павловичем осенью 1942 г. в городе Бугуруслане. В свои 20 с небольшим лет он успел пройти страшные версты войны от самых

границ страны, от Молдавии, через голые степи Украины до Кавказа, пройти не победным маршем, а горькой бедой отступлений, обороны, окружений.

После ранения осколком авиабомбы в плечо, тяжелой операции с ампутацией всего плечевого сустава, правая рука его держалась на одних сухожилиях с помощью марлевой повязки. Кроме ранения при взрыве бомбы он получил контузию с потерей сознания и последующим снижением слуха и зрения.

После лечения в госпиталях Ессентуков и Тбилиси Иван Павлович получил шестимесячный отпуск для поправки здоровья, какое-то пособие и документ на право получения временной пенсии по месту жительства. Но места жительства не было. Родная Белоруссия в оккупации. По словам Ивана Павловича, он поехал посмотреть Россию — родину классиков русской литературы. Трудности пути, позже описанные в рассказе «Побывка сержанта», скрашивала радость тишины, отсутствие стрельбы, ужасов войны. Передвигаться по стране в то время приходилось не куда хочешь, а куда можно, поэтому его путь с Кавказа лежал через Баку, Каспийское море, Гурьев, Куйбышев. Я думаю, что только в дороге он решил заехать в г. Бугуруслан, где было открыто Московским главным управлением милиции при НКВД СССР Центральное справочное бюро на эвакуированных. Туда, как и он, ехали многие, надеявшиеся найти родных или знакомых, связь с которыми была разорвана войной. Туда должны были приехать и его новые знакомые по теплоходу, приглянувшаяся Лиля с матерью.

Мне было известно, как мало шансов на успех давало это только что созданное бюро. Я там работала со дня открытия в течение года картотетчицей. В большом холодном зале, заставленном стеллажами с ящиками, заполненными карточками с фамилиями, именами, отчествами, сидели и работали уставшие, полуголодные женщины. Те же эвакуированные, девочки, только что закончившие школу, молодые одинокие матери, мужья которых были на фронте. На рабочий день, длившийся 12—14 часов, выдавалась пачка писем, на которые нужно было ответить, сверив по картотеке подчеркнутые фамилии. В счастливый день находилось два-три адреса, да и те частенько были уже устаревшими, так как люди переезжали с места на место, искали работы, пристанища.

Свое впечатление о Бугуруслане Иван Павлович записал в дневник от 16 октября 1942 г. так: «Первое желание скорее повернуть назад, пока не отошел поезд. Ухватиться на ходу за поручни и мчать куда угодно, лишь бы не оставаться здесь. Стоя во дворике станции, осматриваюсь. На сером склоне горы — поодаль — маленькие домики, тоже серые, невзрачные. Лишь два-три дома да колокольня белеет утешительно».

Иван Павлович остался. Как говорится, «от судьбы не уйдешь». Некуда было ему уходить.

Бугуруслан — город своеобразный. С трех сторон его окружают крутые холмы (горы, как говорят у нас). Одни покрыты лиственным лесом, другие — зеленые весной и летом от травы и выгоревшие рыжие осенью. В октябре, когда он писал о городе, вся природа готовилась к зиме, все было действительно серым. С четвертой стороны города, со стороны железной дороги, протекает река Кинель, входящая в бассейн Волги. Берег здесь обрывистый, и с вокзала город кажется расположенным на относительно ровной, приподнятой над поймой реки площадке. Правда, дома его не серые, как показалось Ивану Павловичу издали. Одноэтажные деревянные дома города покрашены в самые разнообразные цвета, с резными разнофигурными наличниками на окнах, только в центре белые кирпичные двухэтажные. Улицы вымощены булыжником, а тротуары — плоским камнем, добываемым тут же, в горах.

Бугуруслан возник как уездный город Уфимской губернии в 1781 г. и имел свой герб. Позже поменял административную принадлежность и стал относиться к Самарской губернии (после революции к Куйбышевской области, после Отечественной войны — к Оренбургской области). Станция Бугуруслан расположена на железной дороге между Уфой и Куйбышевом, ближе к Куйбышеву и в трех километрах от города, за широкой поймой реки, которая помешала под-

вести дорогу к городу. Малые города — это наша история, наши памятники прошлого России.

Иван Павлович попал в город, заселенный очень разными людьми как по национальности (русские, мордва, чуваши, татары), так и по социальному положению и вере. Я думаю, для него это было небезынтересно. Условно можно поделить всю площадь города на три основные части: на русскую, большую, с несколькими старинными православными церквами. Здесь кроме добровольных поселенцев жили и политические ссыльные, в основном интеллигенция из больших городов. Так, к примеру, моим крестным отцом был по случайному совпадению переселенец-белорус, а учительницей по немецкому — немка, высланная перед войной из Москвы.

Вторую часть города с разрушенной мечетью заселяли татары, а в стороне за притоком реки, разделяющим город поперек, отдельной группой жили староверы. И те, и другие общались с русскими не всегда доброжелательно. Открытой вражды в годы Советской власти между районами не было, но и особой дружбы не замечалось. Город становился одним из центров нефтегазового района «второго Баку». Грани стирались.

В небольшом городе с 40 тысячами жителей было все необходимое для жизни и культурного развития населения, начиная с нескольких начальных школ, разбросанных по всему городу, что очень удобно для малышей и родителей (близко к дому, нет хулиганистых старшеклассников), средняя школа-десятилетка с массой самых разнообразных кружков. Из-за отсутствия телевизоров можно было успеть и в литературный, и в драматический, и в планерный. После семи классов можно было пойти продолжить учебу в педтехникум, сельскохозяйственный техникум, медучилище, после десятого — в свой Учительный институт, летное училище или любой вуз страны. Тогда еще не требовалось специальной подготовки, блата и знакомств.

В городе есть старинный краеведческий музей, свой драматический театр, куда часто приезжали театры других городов, чаще оперетты Украины. Клубы «Учителя» и «Нефтяников», кинотеатры, и даже редкий по тому времени джаз-оркестр в подражание Утесову. Ну, естественно, было несколько магазинов, больниц, роддом, за городом, около большого фруктового сада, находился детский костно-туберкулезный санаторий. Там много лет работала заведующей учебной частью моя мать, а после окончания средней школы и я, в должности медицинской сестры, с трудными, лежащими годами в гипсе больными детьми.

Пишу об этом потому, что Иван Павлович все это видел, везде бывал, и потому что он говорил: «Человек без истории, без традиций — что дерево без корня». Моими «корнями» он тоже интересовался.

Уильям Фолкнер писал: «Человек является суммой прошлого… Оно является частью каждого мужчины, каждой женщины, каждого момента».

Я росла в доме бабушки, в большой семье, на пять человек взрослых нас было трое детей. Так как я была самой младшей, а моя мать, оставшаяся вдовой в 26 лет, отдала всю себя воспитанию дочери, племянницы, племянника и общественной работе, считалась почему-то главой семьи, все лучшее перепадало обычно мне. Это лучшее было ценностью голодных 30—40-х годов в виде конфетки, булки, кусочка сахара, сушеной груши и т. п.

Бабушка была совсем неграмотной женщиной, очень религиозной, все остальные — ярыми атеистами, и потому она часто плакала и молила Бога заступиться за наши грешные души, молилась сначала на иконы, а потом, когда их выбросили из дома, — на пустой угол, где они висели.

В бабушкин дом собрала всех революция, раньше каждый жил своей жизнью. Дед умер от холеры еще до революции, старший сын — белый офицер — уехал в Сибирь и долгие годы не забывал присылать матери письма и деньги, чего остальные вечно пугались (могли за связь пострадать). Лет через 15—20 после революции, в 30-е годы, письма и переводы перестали приходить, и чтобы успокоить горевавшую больную бабушку, ей показывали старые бланки, выдавая

их за только что пришедшие, бабушка, несмотря на ее безграмотность, качала головой и плакала. Не признавала «ложь во благо».

Отец мой — начальник политотдела 37-й стрелковой дивизии Северо-Кавказского военного округа — умер в Пятигорске в конце 1922 года в свои 37 лет. «Смерть на посту», — так писала газета «За мир и труд» («Красный кавалерист»), ежедневный орган Политического Управления СКВО и Первой конной. Мать вернулась в родительский дом.

Об остальных членах семьи Иван Павлович писал: «Они вообще поразительно не похожи друг на друга — родные люди…» и очень достоверно описал в дневнике каждого, пробыв в доме всего пять дней. К сожалению, о себе его первого впечатления не знаю. В дневнике от того же 27 октября записано: «Я пока что ничего не написал про дочку хозяйки. О ней речь особая. Молодое поколение!.. Нужно поосновательнее…» Поосновательнее написано многое, но часто без названия моего и его имени. Описана в записных книжках моя первая любовь, выпускной вечер и начало войны, уход в армию моих друзей и наша с ним любовь и разногласия, и многое-многое другое.

Жизнь в такой семье, конечно, сказалась и на моем характере, потому и пишу о своей родословной, хотя мы с И. П. ей в те годы мало интересовались и не могли оглянуться дальше родителей и дедушек. Жизнь среди столь разнообразных людей сформировала черты характера, которые помогли мне в жизни с Иваном Павловичем. Это терпимость к чужим взглядам и поступкам, допустимость права каждого поступать так, как он считает нужным, то есть умение не вмешиваться и не мешать. Для Ивана Павловича это оказалось нужным. Помех было достаточно и без меня.

В городе Бугуруслан, где Иван Павлович прожил почти год, интересовала его и окружающая среда. Рядом лес, река, луга, горы. Даже зимой мы не знали скуки. Лыжи, коньки, «Суворовские горки», с которых катались и дети, и взрослые.

Еще в прошлые годы мой дядя, работник краеведческого музея, всегда брал меня с собой на охоту, рыбалку, в ночное, по грибы, по ягоды, обучал стрельбе, и потому привычка тянула на природу, за мной шел и Иван Павлович.

Прекрасные черноземы в окрестностях города давали хорошие урожаи, и жизнь даже в нашей безотцовской семье была волне терпимой, не считая, конечно, засушливые и неурожайные годы. Еще со времен бабушки сохранился закон гостеприимства. Он-то и собрал в годы войны в нашем доме множество эвакуированных, с которых никто не брал плату за квартиру, за чай, за свет.

Несмотря на видимую заброшенность города в лесостепье Заволжья, мы жили общей жизнью со всей страной. Свято хранили память о приезде в город Фрунзе в годы Гражданской войны, имели своих Героев Советского Союза, близких, родных челюскинцев. Мой брат воевал на Халхин-Голе, потом учился в Минске в танковом училище, сестра — в Тимирязевской сельскохозяйственной академии в Москве, родные были разбросаны по всей стране. Жили в Куйбышеве, Саранске, Новосибирске, Москве…

За все время жизни в Бугуруслане, да и никогда после, я не слышала от Ивана Павловича плохого слова о городе, и не раз он собирался съездить туда. «В нашу молодость», — так он говорил. Возможно, здесь подойдет запись из дневника И. П.: «Многие места нам кажутся красивыми не потому, что они действительно красивы, а потому что мы в них провели красивое время жизни».

Многое изменилось в городе за годы войны. Тихий ранее город в первые же месяцы войны до отказа наполнился эвакуированными. В основном это были люди из больших городов — Москвы, Ленинграда, Одессы, Минска, Витебска и других. Из деревень мало кто эвакуировался. Население города быстро увеличивалось, город едва справлялся с тем, чтобы обеспечить всех жильем, продуктами, работой. Цены на базаре возрастали на глазах, в 2—4 раза в течение недели. Расселение шло в основном по частным домам. У нас поселилось 9 человек: две семьи и курсанты летного училища, затем их сменяли каждые два-три месяца офицеры-связисты. После подготовки все они уезжали на фронт. В одну из таких «пересменок» пришел Иван Павлович.

В первые дни я не обратила на него особого внимания. Единственное, что заметила, это то, что он не такой, как все. Сравнение его с другими квартирантами скорее было не в его пользу. Только что уехавшие ребята были еще не обожженные войной молодые офицеры (лейтенанты и капитаны), с хорошей выправкой, туго затянутые широкими ремнями с портупеей, с планшетами и наганами на боку.

Иван Павлович обратил на себя внимание своей бледностью, худобой, странной одеждой — широкие черные матросские брюки и солдатская гимнастерка были явно не с того плеча. Рука, согнутая в локте, лежала на марлевой повязке. Светлые, выгоревшие волосы слегка вились и требовали стрижки. Полупустой вещмешок за плечами. Потом я узнала, что там были всего лишь три тома «Тихого Дона». Ходил он всегда быстро, несколько наклонившись вперед из-за больной руки. Куда он спешил, тогда мне было неясно, ведь в отпуске человек. Вечерами что-то писал левой рукой, отмечал на карте СССР сводки Информбюро «В последний час».

Несмотря на нашу молодость — ему 21 год, мне 19 лет, — мы жили каждый своей жизнью и своими мечтами, чувствовали себя взрослыми и самостоятельными людьми. И планы, и мечты наши были очень разными, и никакая компьютерная сваха нас не объединила бы. Иван Павлович грезил своей Белоруссией, Полесьем, где остались родные и первая любовь. Для меня Белоруссия была чем-то вроде заграницы. Так она далеко от нас.

Моей школьной мечтой было поступить в Московский авиационный институт, но, получив оттуда вызов, я не смогла поехать из-за материальных условий и уговоров матери, из-за ее просьбы не оставлять ее одну в такое тяжелое время. Брат и сестра были на фронте. Володя — первая школьная любовь — погиб где-то далеко-далеко. Последнее письмо было из-под Новороссийска. Оставшись дома, я поступила в пединститут на физико-математическое отделение. Похожие мечты и планы разрушила война и у Ивана Павловича. Только в этом и было у нас с И. П. общее, что нас сближало. В этом была некоторая созвучность.

Вскоре после приезда у Ивана Павловича появилось много друзей среди местного населения и среди эвакуированных. Понравилась ему и моя мама — энергичная, деятельная, всегда приглашавшая его «попить чайку». Этот обычай — не выпускать человека из дома голодным — бытовал в семье со времен хозяйствования бабушки, которая говорила: «Идешь на день — бери еды на неделю».

Среди наших знакомых были и белорусы. В одной из маленьких комнат нашего дома жила жена военного из Витебска — Женя, в доме напротив — учительница музыки из Минска, которая из-за отсутствия работы по ее специальности была сторожем на огородах у реки. Однажды она угостила нас белорусскими драниками, которые у нас не делают. Было, я думаю, немало и других белорусов. Позже, как мы узнали, на соседней улице жили жена и дочь К. Заслонова. Знакомыми Ивана Павловича стали и наши соседи и мои одноклассники.

Привлекала людей в Иване Павловиче его заинтересованность всем и всеми, и прежде всего делами на фронте, в жизни каждого, с кем знакомился, будь то ребенок, взрослый или старик. Всех он рассматривал, расспрашивал, всем сочувствовал в беде, смеялся, шутил, объяснял и, как я узнала позднее, записывал в своих записных книжках. Там оказались и образы людей, и мелкие детали, события… Да и было что записывать. Уж очень разных людей собрала и в ранее пестром городе война. И совсем всего лишенных, и беспомощных, и таких, что везли с собой и свое и чужое, вплоть до рояля, наживались на чужом горе и растущей дороговизне. Особенно трогали душу худенькие, повзрослевшие раньше времени дети. Часть из этих записей 1943 г. приведу здесь.

«С маленькой Иринкой шутят. Она какая-то по-взрослому серьезная. Когда я пошутил, что ей уже давно пора учиться, она ответила: «Дядя шутит со мной. Он думает, что я не знаю, что мне только четыре года, а в школу принимают только когда мне будет восемь лет. Он думает, что я маленькая и не знаю».

Иринка знала уже многое, она была вывезена из Ленинграда, через бледную кожу у нее просвечивали голубые жилки от худобы, жила она с пожилым муж-

чиной по соседству с нами, звала его папой, по внешнему виду скорее всего это был ее дедушка…»

«Неопределенность — хуже всего. Предпочитаю ясность, пусть тяжелую. А жизнь почти сплошь состоит из неопределенностей. Люди боятся говорить прямо, создают неопределенность».

«Есть у многих людей страсть причислять к друзьям знаменитых, особенно москвичи, одесситы, люди больших городов. «Лемешев. Сережа-то? Да мы с ним выпивали сколько раз!»

«Волкомич рассказывал, что от эвакуации у него осталось одно впечатление — холод. Он был легко одет — а ночами было чертовски холодно, и он за все время не мог нагреться. Самое сильное желание — согреться. Ему удалось забраться под брезент какой-то платформы, нагруженной неизвестными деталями. Это было блаженство. Ночью объявляли тревогу, бежали люди, стреляли зенитки, но он был так счастлив, что не вылез из-под брезента!»

«Мужик спекулирует. Деньги, добытые спекуляцией, сдает государству на танковую колонну».

«Еврейский разговор: «Я хотел черствый хлеб и попросил черствый хлеб. И что вы думаете? Мне не дали черствый хлеб, а дали свежий хлеб. Говорят, ешь, Янкель, свежий хлеб…»

«Кац. Проходимец. Он ходил с удостоверением, которое давно потеряло силу, но ему принесло много пользы. Получив соль на учреждение, он не сообщил никому, а продал, получив неслыханные деньги. Будучи заместителем, много обещал (послать машину и пр.), но никогда не выполнял. Поскольку он редко бывал в учреждении, отдуваться приходилось директору. С ним говорили, накладывали взыскания, он в душе смеялся. Это продолжалось долго. Когда все степени взысканий были применены, его сняли с работы. Оказалось, что он уже пять дней работает в другом учреждении, на более ответственной работе, с более высокой оплатой».

В дневниках и записных книжках Ивана Павловича много записей о евреях не случайно. До войны в нашем городе было всего две еврейские семьи — известные портниха и сапожник; среди эвакуированных они занимали значительный процент. Большая семья жила в нашем доме. В деревне же и на войне Ивану Павловичу встречался этот своеобразный народ не часто.

Но основные записи в дневнике того времени — военная тема.

«Нам тяжело, но все же легче, чем на фронте».

«Сколько неожиданных встреч впереди. Многие, которых похоронили, воскреснут, и многие, которые теперь живут, не вернутся. Покойники воскреснут».

При более близком знакомстве с Иваном Павловичем удивляла уже, конечно, не его внешность, а внутренняя чистота, внутренний свет, какое-то вдохновение в его серых глазах, необыкновенная любовь и вера в человека, в великую силу литературы. Такая одухотворенность восхищала людей и одновременно озадачивала. Откуда это? Уж очень она не соответствовала тяготам того времени. Он казался человеком из другого мира.

При встречах со мной, человеком по своей натуре замкнутым и молчаливым, Иван Павлович мало говорил о войне. Возможно, не хотел лишний раз бередить себе душу, а возможно, считал это для меня слишком далеким и непонятным. Больше говорил о своем детстве, о Полесье, своих родных и друзьях. Вспоминалась ему родина как сказочный край с бесконечными лесами, лугами, болотами, трясинами, необыкновенно вкусными антоновскими яблоками, ягодами, грибами, добрыми людьми, прекрасными песнями, которые он тут же с удовольствием пел. С грустью вспоминал тяжелые годы учебы в Хойниках. В дневнике за 30 октября записано: «…Жизнь… Вспоминаю 35-й год, когда я всю ночь напролет стоял в угловом магазине на Советской, чтобы, получив килограмм сахара, спешить в школу. Полусознательное состояние от недоедания, когда глаза переставали видеть. Холодная постель возле замерзшего окна, напяленное с головой пальто».

Рассказывал, что жил на квартире у дальних родственников, спал на жесткой лавке то ли в кухне, то ли в коридоре под холодным окном, зарабатывал деньги

тем, что помогал сыну учителя выполнять домашние уроки, был репетитором, как сейчас говорят. И это в 14—15 лет. Счастлив был прийти пешком за 15 км домой на выходной или в каникулы. Отдохнуть, согреться, поесть. Мать из его рассказов представлялась женщиной веселой, певуньей, человеком, полным народной мудрости, но вспыльчивой и быстрой на шлепки своим детям. Рассказывал историю о том, как, обидевшись на мать, ушел из дома к деду Денису в Кореневку. Пятилетним ребенком нашел дорогу через Алексичи и болото. Пришел вечером. В доме деда спросили: «А где родители?» Ваня сказал, что он один. Не поверили, но убедившись, быстренько увезли домой к напуганной матери. Другой случай из детства И. П. описан в «Людях на болоте», где Володька бежит за телегой и просится на сенокос. Рассказывал о том, как в детстве ухватился за лопасть ветряной мельницы и поднялся высоко в воздух, спрыгнув оттуда долго не мог вдохнуть.

Об отце говорил с уважением, считал его добрым, много знающим еще со времен многолетней службы в армии в должности писаря, вместе с тем, вспоминал, что отец любит погулять, выпить, чем огорчает мать. Про старшую сестру Юлю рассказывал как про будущую артистку. Остальных двух сестер и брата не вспоминал, они еще были детьми, а о рождении младшего брата вообще ничего еще не знал. Много и долго мог Иван Павлович рассказывать о доме, его планировке, о саде. Свои рассказы обычно сопровождал зарисовками, вычерчиванием плана дома. Одним из любимых занятий в то время было рисование карандашом, говорил, что в детстве хотел стать художником, рисовал для школы портреты вождей и писателей. Однажды к ним в дом зашел уполномоченный по коллективизации, приехавший из города, и застал за перерисовкой портрета Ленина (по клеточкам), похвалил, сказал: «Нам нужны хорошие художники. Поедешь в город учиться». Будучи в Бугуруслане Иван Павлович часто заставлял меня ему позировать, чего я терпеть не могла и просто засыпала от усталости тут же, сидя за столом. В награду получала свой «сонный» портрет. В его рисунках было значительное сходство, но не было профессионального мастерства. Иван Павлович это понимал и сам и не придавал большого значения своей работе, не хранил рисунки. Просто в нем жила потребность делать наброски карандашом. У меня их накопилось 5—6 в разных позах, но, к сожалению, ничего не сохранилось. А любовь к живописи, скульптуре, архитектуре жила в нем всю жизнь. Во все времена любил на досуге часами рассматривать альбомы с картинами русских художников, французских импрессионистов, американской архитектуры Корбюзье и др. Видимо, это в некоторой степени помогало и в литературной работе.

В одном из первых разговоров о будущем, чем все мы жили, я спросила Ивана Павловича, кем он думает быть после войны. Он, не задумываясь, твердо ответил, что будет писателем. Для меня это прозвучало несколько самоуверенно и несерьезно. Мне казалось, что никогда нельзя быть уверенным, что станешь писателем. Этому нельзя просто научиться в вузе. Я не знала, что он уже писал рассказы и стихи, а то, что он мне читал, было чем-то простеньким. Не классикой. В школе мы изучали в основном писателей прошлого, у них всегда был год рождения и год смерти, а тут молодой, живой и — будущий. Кроме школьной программы я очень много прочла всякой изданной до революции и запрещенной в наше время литературы, склады которой были на чердаке в ящиках под самой крышей, чтобы никто не видел, не обвинил в хранении запрещенного Достоевского или Драйзера, или кого-либо еще. За это исключали из комсомола.

Читала я в потемках, сидя на чердаке, или ночью при лампе, а иногда и в школе, держа книгу под партой, это когда книга ходила по рукам. Так как читаемые книги шли без выбора и советов старших, многое было непонятным, таинственным, и сами писатели порой не существовали реально. Как же я могла принять его слова всерьез? Правда, у меня были «пишущие» родственники. Все взрослое поколение нашей семьи что-то писало, кто — детские рассказы, кто — стихи. Одна тетка по отцу даже печаталась. Остальные писали для себя, притом, довольно безграмотно. Я тоже писала стихи в 15—16 лет, но это был уже пройденный этап. Надежда на успех, видимо, поддерживалась разговорами о дальних пред-

ках, служивших в поместье писателя С. Т. Аксакова, но, насколько я знаю из разговоров, это была экономка, умевшая варить хорошее варенье.

После слов Ивана Павловича о его писательских планах я рассмеялась и ответила насмешливо фразой, которую он почему-то запомнил на всю жизнь (возможно, обидевшись на недоверие). Я сказала с иронией, что мне как раз не хватает в доме одного писателя.

Несмотря на огромные материальные трудности тех лет, карточную систему снабжения, огромные очереди за хлебом, дороговизну на базаре и т. д., жизнь у нас была радостной, наполненной до краев делами, учебой, и главное, надеждами на лучшее. Было много друзей среди студентов Молдавского пединститута, где работал военруком и учился Иван Павлович, и физмата, где училась я. Была дружба и с преподавателями институтов, приехавшими из Москвы и Кишинева. Иногда возвращались с фронта в отпуск прежние наши квартиранты — уставшие, возмужавшие, и уже не лейтенанты, а капитаны и майоры. Приезжали те, кому не к кому было поехать, у кого родные были в оккупации, ехали, привлекаемые гостеприимством мамы, а не интересом ко мне, как считал порой Иван Павлович.

Иван Павлович был заметным и интересным человеком и пользовался вниманием и, наверное, любовью многих девушек и женщин. В нашем доме стали появляться какие-то новые «мои подруги». Особенно зачастила Надя, с которой раньше мы были едва знакомы. Приходила она всегда якобы ко мне, но уж слишком чистенькой, приятно одетой и причесанной. Приехала и дорожная знакомая Лиля — высокая, сильно загоревшая брюнетка, но вскоре куда-то исчезла. Моя однокурсница москвичка Светлана на вечере под Новый год во время игры в почту прислала И. П. откровенную записку с просьбой проводить ее домой. Но Иван Павлович ушел со мной.

Сотрудницы института решили устроить Ивану Павловичу день рождения в нашем доме, пришли с подарками, какие были возможны в то время (платочки, салфеточки), и показали умение нравиться гораздо большее, чем наши бугурусланки. На всех вечеринках, конечно, всегда было больше девушек, мужская половина — курсанты военного училища. Ребята нашего поколения ушли на фронт в первый год войны.

Однажды мы с Иваном Павловичем попали на свадьбу. Пригласила нас одна моя одноклассница. Она была в армии, не очень давно вернулась домой. Все приглашенные знали, что идут на свадьбу. И только жених, молодой лейтенант, был очень удивлен, когда его стали поздравлять и кричать «горько».

Осень и зима 1942—1943 гг. проходили в учебе, работе, редком посещении кино и театра, танцплощадки. Чаще, за неимением денег, бродили по городу и заснеженному льду реки. Иван Павлович любил кататься на лыжах с окрестных высоких холмов, и страшно было смотреть на его перевязанную руку.

За полгода нашего знакомства не все было гладко в наших взаимоотношениях, порой наша дружба прерывалась без особых на то причин, без споров и скандалов, просто в силу расхождения взглядов. Находила отчужденность, что-то похожее на провалы памяти, нужно было время, чтобы вновь присмотреться друг к другу. Я говорила ему о том, что мы не сможем жить вместе. Я не смогу забыть все свои планы, мечты, у нас не будет ничего общего в жизни. Он говорил, что у нас общая любовь и т. д. Что-то похожее случалось и в более поздние периоды нашей совместной жизни, когда мне казалось, что Ивану Павловичу следовало жениться на белоруске, а мне построить свою жизнь. В чем-то он не понимал меня, в чем-то я не соглашалась с ним. Мне не стала близкой, родной его деревня и его родня, но между тем, он не однажды говорил, что чужие люди, товарищи по работе, единомышленники часто становятся ближе, роднее кровной родни…

Из записной книжки № 3 (40): «Она всегда была откровенной, резкой, прямой, все тяжелое выворачивала, заставляла прямо глядеть. С ней было жутко, больно и вместе с тем радостно. Глядя на нее, он восхищался: вот таким и ему надо быть…» Оба оказались правы. Чеховская «Душечка» из меня не получилась, но любовь помогла преодолевать жизненные трудности на протяжении всех 33 лет совместной жизни.

10 апреля 1943 г., не сказав никому ни слова, мы пошли в загс и расписались. Правда, часа два пробродили вблизи дома, все не решаясь зайти. При оформле-

нии документа нас спросили о фамилиях после брака. Я назвала свою — Петрова, по-другому и не мыслила. Иван Павлович промолчал по этому поводу, а позже, через 13 лет, на подаренной мне книге «Минское направление» сделал такую надпись: «Лиле, которая почему-то называется Петровой, а должна была бы по закону именоваться, как и я — Мележ, от меня, Мележа, на память, в старый костер нашей любви. Мележ 5.4.56. Минск».

Спустя тридцать лет после регистрации брака Иван Павлович как-то спросил меня вдруг: «Почему все-таки ты вышла за меня замуж?» Ответ вроде бы один: «Полюбила». Но все же, что было главным в этом чувстве? Видимо, уверенность в том, что он может меня понять, может сопереживать во всем, умеет быть верным своему слову.

Однажды после окончания сеанса, при выходе из кино, стали проверять документы у всех молодых мужчин. Оказалось, что И. П. забыл их дома, и его вместе с несколькими забывчивыми товарищами повели в милицию. Не размышляя долго, я нашла в планшете его документы и пошла «выручать». Радость его была неожиданно большей, чем я ожидала. Была уже глубокая ночь и тишина, несмотря на это И. П. шумно радовался и шутя переносил меня одной здоровой рукой через малейшую лужу или канаву. И в дальнейшей жизни И. П. умел быть благодарным за все сделанное для него.

Свадьбы у нас не было. Оба считали, что это наше личное дело и незачем еще кого-то к этому приплетать. Тем более, что желающих вмешаться было больше чем достаточно, только не в нашу пользу. Заинтересованные соседи и жильцы нашего дома еще до замужества давали «ценные» советы вроде таких: «Смотри, он чужой, уедет и не вернется», «Выходи, потом найдешь лучше» и т. д.

После загса мы до вечера бродили по улицам города, постояли на мосту через реку Кинель, на реке было половодье, затем спустились вниз по деревянной лестнице и долго сидели на ее нижней ступеньке, глядя на широкую водную гладь и проплывающие льдины. Приходили мы сюда и в другие дни смотреть на ледоход. Позже в дневнике Ивана Павловича появился ряд записей от 14 апреля 1943 г.

«По реке пошел лед. У моста льдины нагромоздились, запрудили реку, напирают на ледорезы. Подталкиваемая снизу льдина забирается на откос ледореза, словно живая, всползает вверх. Нос у нее белый, прозрачный. Потом вздрагивает и замирает. А на реке продолжается движение — скрип, треск. Льдины встают дыбом, обнажая прозрачные низы. Льдины сверху грязные, снизу — чистые, обмытые, светлые… Мост вздрагивает от ударов льдин.

Берег еще в кромке льда. Вода плещется в берег, подмывает кромку льда — обмытую, облизанную, острую.

Несколько дней назад мы шли по льду Кинеля. Теперь там вода, вода, где была незабываемая дорожка.

Река разлилась широко. Противоположного берега не видать в весенней туманной дымке. Едва различаются станционные постройки, элеватор, белый дымок от паровоза, вьющийся по земле. Все затопила вода. Подошла к городу. Домики полуокружены водой, она плещется в стены. Несколько домиков на острове приютились, а вокруг вода, вода. Вдали она прозрачная, светлая, спокойная, а вблизи — мутная, желтая, неудержимая, несет льдины, кусты, доски, прошлогоднюю траву. Вдали она отражает, как в зеркале, дамбу, протянувшуюся от города к станции осинами (тут И. П. ошибся, не осины, а ветлы, ивы. — *Л. П.*), беспрерывно идущими по дамбе. И отражение так четко, нежно и ясно, что иногда легкая прозрачная полоска пересечет его. А вблизи вода шумит, завивается в воронки, пенится. Проносятся льдины — посредине быстро, стремительно, а здесь, у берега, медленно, останавливаясь, цепляясь за берег, скрипя… На льдине куст, вмерзший в нее, сорвало весеннее половодье вместе со льдиной. У берега маслянистые пятна от нефти. Берег этот крутой, высокий, обрывистый. К реке спускается лесенка, нагибаясь. Нижняя ее ступенька в воде, следующая покрыта травой, илом, оставшимся от воды, которая вчера была еще выше, чем сегодня. Через ступеньку от нее сидим мы — я и Лиля.

Лиля в летнем костюме так хороша, что мне становится грустно.

…Мы снова сидели на лесенке, на той ступеньке. Вечерело. Вода была темно-синяя, вдали прозрачная, тихая, ровная. Внизу завивалась воронками, откуда-то из глубины выходила наверх, журча, похоже на «ли-ля». Мы были одни. Издали доносились голоса, далекий шум поезда. На мосту зажегся фонарик. Вниз, в глубь реки, потянулась красная ленточка. Она дрожала, трепетала, и от края ее отделялись звездочки и пропадали. Сгущались сумерки, и ленточка краснела все больше, и ярче вспыхивали звездочки, падающие с ее конца».

Трудно лучше, чем записано в дневнике, передать наше состояние в эти дни. Тут была и радость, и грусть, и умиротворенность, и беспокойство наших душ.

В остальном женитьба мало что изменила в повседневной жизни Ивана Павловича. Днем ходил на работу в Молдавский пединститут, где был военруком, вечерами сидел писал стихи, рассказы, дневники, слушал сообщения по радио о делах на фронте. Два его стихотворения «Без обмана зрения» и «Дорожные знаки» и рассказ «Последняя операция» были напечатаны в «Бугурусланской правде» на русском языке. Никаких отзывов на них не было, так же как и гонорара, только мой дядя Семен, тоже писавший стихи, посчитал вправе поругать за допущенную в стихах грубость. Позже некоторые строчки И. П. изменил — смягчил.

Как и почти все в городе, жили мы трудно. Помощи ждать было неоткуда. Продукты только те, что по карточкам, хлеб — в огромных очередях, на базаре все втридорога, дрова сами рубили в лесу. Ходили в лес по грибы и ягоды, разнообразили наш скудный стол иногда и рыбой, которая еще водилась в реках. Но обычно рыбалкой занималась я, а Иван Павлович сидел поблизости и готовился к очередному экзамену или лекции в институте. Все экзамены он сдавал только на «отлично». Когда начинался клев, он не выдерживал, садился рядом и тоже забрасывал удочку. Порой делал записи в дневнике:

«На берегу реки. 8 мая. Земля покрылась трещинами, свиваясь пластинками в трубки. В трещинах травка. На кустах много соломы, оставшейся после половодья, когда эти кусты были в воде. Черемуха цветет. Идти босиком непривычно. Лиля осторожно ставит ногу, поджимая пальцы. Домой принесли рыбы и огромный букет из сирени и цветов».

«Когда шли утром на рыбу, я слышал, как шумела, опадала роса в стороне от дороги».

Многокилометровая пойма реки после спада воды, после половодья вся покрылась множеством цветов, цвели и кусты. Запах черемухи заставлял учеников школы, расположенной на обрыве реки, удирать с уроков целыми классами. После таких побегов нас обсуждали на всякого рода собраниях и заседаниях, но это ничего не меняло, черемуха оказывалась сильнее.

Приближалось лето. Люди жили надеждами на то, что поможет жить земля. Огороды нарезались всем желающим небольшими полосками в зависимости от количества членов семьи. До войны хватало земли на плодородной пойме. Теперь участки полезли в горы к лесам, но и там были плодородные черноземы. На них росло все — от картошки до арбузов.

Вот картинка из жизни института, касающаяся и нас.

«Вопрос о подсобном хозяйстве один из самых важных вопросов этого года. По воскресеньям все служащие уходят на свои огороды. В перерывах вместо вопроса: «Как поживаете?» — говорят: «Как огород?» После работы садили, пахали. Засаживали всевозможными культурами. Поиски сторожа. У некоторых на второй день посаженную картошку воры вырыли. Картошку резали, оставляли глазок. Прополка и пр. В портфелях картошка…»

«На подсобном хозяйстве морозы все губят. За весну несколько раз приходилось сеять».

«В поле горький запах полыни. Где горька полынь, там сладка картошка. Ветер обжигает губы, хочется пить, губы сухи».

«Померзла рассада. Взошло солнце — листья вдруг опали!»

Трудной была весна 1943 года, но молодость, любовь и надежды оставили в памяти то время светлым и счастливым.

Лето проходило быстро и безоблачно. Пройдя очередное медицинское переосвидетельствование, Иван Павлович получил вторую группу инвалидности по ранению и был освобожден от возвращения в армию…

Однажды, прочитав в газете объявление о возобновлении работы Белорусского государственного университета на станции Сходня под Москвой, Иван Павлович твердо заявил о своем решении поехать туда учиться. Я возразила. Во-первых, он имел возможность продолжать учиться в Молдавском techинституте в Бугуруслане, мог вернуться в Московский институт философии и литературы, откуда был призван в армию, просила не уезжать, не оставлять меня одну, больную и в положении. Но спорить было бесполезно. В своих решениях, особенно в молодости, он был человеком твердым. В Белорусском университете он увидел частичку родины, надеялся встретить белорусов, услышать родную речь. Тоска по родине оказалась сильнее всего.

Осенью, собрав урожай с «наших полей», Иван Павлович уехал в Москву, в Сходню.

Из Подмосковья Иван Павлович часто присылал письма, деньги, фотокарточки, статьи и рассказы на белорусском языке, тексты новых песен.

Писал, что в университет его приняли на третий курс, оказалось, что он еще в Бугуруслане сдал экзамены почти за весь второй курс, недостающие сдает, обучаясь на третьем. Одновременно продолжает работать военруком.

Вернулся в Бугуруслан в дни зимних каникул, когда нашей маленькой дочке едва исполнился месяц. За эти полгода мы оба несколько изменились и снова присматривались друг к другу с некоторой осторожностью и отчужденностью. Нужно было время, чтобы вспомнить друг друга. Вскоре все вернулось на прежние места, и Иван Павлович решил, что нам надо всем вместе, всей семьей поехать жить в Сходню. Решение по тому времени было несколько безрассудным. Сидеть бы мне с маленьким ребенком в теплом мамином доме. На поездку не было денег. Одолжил немного дядя Семен, не было теплой одежды и обуви, да и квартиры в Сходне. Стояли февральские морозы, поезда проходили мимо станции, не останавливаясь, переполненные до отказа военными, — ведь еще шла война, хотя некоторые эвакуированные уже возвращались домой.

Долго прождав на вокзале попутного поезда, мы с трудом проникли в вагон, неосторожно оставленный проводницей с незапертыми дверями. Все остальные двери нашим усилиям не поддались. Появившаяся вскоре проводница пыталась нас вытолкать силой, но это ей не удалось благодаря упорному сопротивлению Ивана Павловича, я же с ребенком на руках стояла в уголке, не надеясь на успех. Вскоре поезд тронулся, и мы остались в тамбуре вагона, дальше пройти не удалось, в вагон нас не пустили. Ехали ночью в темноте, стоя на холоде… Через пару часов заплакала дочка. Вагон оказался санитарным, полным выздоравливающими солдатами, услыхав плач ребенка, они открыли дверь и впустили меня в вагон, усадив на краешек одной из нижних полок. Иван Павлович остался мерзнуть в тамбуре. На наше счастье, поезд шел быстро, почти без остановок до самой Москвы. Взять с собой какой-либо багаж, даже еду, мы не смогли, вещи не успели взять из маминых рук, отправили багажом. В нем было все наше имущество — от детской ванночки до книг, фотографий, писем — тех первых, самых нежных и дорогих. Все затерялось в дороге. В Москву багаж не пришел. Так что мы оказались сами в роли эвакуированных в худшем смысле этого слова.

Сходня

Из Москвы, перебравшись с Казанского вокзала на Ленинградский, пригородным поездом отправились на Сходню. Немного отойдя от станции, Иван Павлович указал мне на небольшое деревянное двухэтажное здание — это и был Белорусский государственный университет. Не заходя в него, мы пошли дальше по узким улочкам дачного поселка к дому, где вместе с группой студентов на



Первый семейный снимок. Иван Мележ с женой Лидией Яковлевной и дочерью Людмилой. 1944 г.

частной квартире жил Иван Павлович. Обычный деревянный дом стоял на тихой улице, уходившей вниз, в овраг. Веранда, затем холодная пустая комната-кухня, затем наша проходная комната, отгороженная простыней. Жизнь значительно тяжелее, чем в Бугуруслане, но здесь, среди белорусов, Иван Павлович чувствовал себя как дома. Был энергичным, может быть, как никогда, веселым, очень деятельным. Работал, учился, вел записные книжки уже на белорусском языке, следил, как всегда, за событиями на фронте. В первую очередь, конечно, за Минским направлением. В дневнике появились записи о форсировании р. Березины, записи рассказов об эвакуации из Минска, о немцах и т. д. Считал их уже темами для рассказов, а возможно, романа. Ездил вместе со студентами на лесозаготовки, на разгрузку вагонов, в свободное время писал рассказы уже на белорусском языке, до этого все записи делал на русском. Начал интересоваться белорусскими писателями, которые жили в Москве. Встретился с К. Чорным, который жил в гостинице с семьей… Всю жизнь хранил в шкатулке с самыми ценными документами письмо К. Чорного. Оно успело пожелтеть от времени. С него началась уверенность в том, что надо писать, что стоит все отдать творчеству.

«Паважаны тав. Мележ!

Я прачытаў Вашы апавяданні. І раю і жадаю Вам не выпускаць з рук пісьменніцкага пяра. У Вас ёсць талент і вы дбайце аб ім. Я пастараюся надрукаваць Вашы апавяданні ў часопісе «Беларусь». Я гавару «пастараюся», бо часопіс не так літаратурны як грамадска-палітычны. Калі вернемся ў Мінск, тады будзем больш друкавацца.

У Вашых апавяданнях правільна дадзен аналіз чалавечай душы і добра нарысована тыповая абстаноўка, у якой дзейнічаюць Вашы персанажы. І надалей сачыце аб псіхалагічным абгрунтаванні чалавечых учынкаў. У гэтым сэнсе ёсць хіб у апавяданні «Апошняя аперацыя». Не пададзена псіхалагічная прычына таго, чаму немец так обышоўся з раненай жанчынай. Толькі таму, што ён немец? Тут трэба яшчэ нейкая псіхалагічная дэталь. Рэдакцыя возьме на сябе пры друкаванні ў гэтым мейсцы зрабіць у апавяданні ўдакладненне.

Сачыце за чыстатой свае мовы. Напр. замест пакой Вы пішаце комната і г. д. Займайцеся заўсёды сваёй беларускай мовай. Ведайце, што мова — гэта аснова літаратуры. Пішыце, працуйце над сабой. Я адчуваю ў Вас талент і жадаю Вам вялікіх поспехаў. Цісну руку.

К. Чорны.

3 лютага 1944 г.».

Благодарность за такую поддержку в начале пути Иван Павлович сохранил на всю жизнь.

После устройства дочки в детские ясли я пошла работать в Белорусский университет секретарем приемной комиссии. Мне следовало читать письма и заявления о приеме в университет и писать на бланках вызовы на учебу, экзаменов в те времена сдавать не нужно было. Бланки шли на подпись Парфену Петровичу Савицкому — ректору университета, в кабинете которого я и сидела. Он меня предупредил, чтобы в первую очередь отвечала на письма белорусов, инвалидов войны и партизан. Сам в кабинете бывал редко, было у него много других дел. Несмотря на работу в одном учреждении, с Иваном Павловичем мы не встречались там. Почти единственным моим было знакомство с М. Ларченко, которого мне представил Иван Павлович, не сказав, кто он, и я его посчитала студентом, так как он разговаривал очень дружески, как с равными, и был очень весел.

«Ларчанка ругае. Ён не можа не смяяцца. Таму смяюцца і тыя, каго ён ругае», — так записал о нем Иван Павлович в записной книжке.

Более обширному знакомству с белорусскими сотрудниками университета мне тогда мешало незнание белорусского языка, маленький ребенок, которого надо было ходить кормить в ясли. Все знакомство сводилось к жильцам дома. Студенты соседней комнаты были все очень разные, но несмотря на это жили дружно и сохранили знакомство с нами и тогда, когда мы уехали на другую квартиру, и по приезде в Минск. Жили дружно, без конфликтов, порой лишь незлобно подсмеивались друг над другом.

«Каган. Нечым напамінае П'ера Бязухава — і акуляры, і такое ж добрае сэрца, і рассеянасць. Толькі то быў граф, а гэта студэнт і таму худы… (стр. 205, том 9).

«Б. — праз меру «практычны» (стр. 207, том 9).

Про этого товарища могу добавить, что, кушая за одним столом со всеми нами, он вынимал из своей запертой на замок тумбочки крынку с маслом, брал ложку для себя, а остальное плотно завязывал тряпочкой и снова ставил под замок. Остальные ели картошку без масла. Одежду для похода в театр одалживали друг у друга, он, конечно, такого не допускал по отношению к себе.

«С. працаваў агентам па снабжэнню, але рабіў столькі шуму, што можна было думаць, што ён у нас самы галоўны» (стр. 207, том 9).

Уже по тону этих записей можно судить об отношении своих соседей к Ивану Павловичу и его снисходительном, не осуждающем взгляде на их недостатки.

Так же с некоторой внутренней улыбкой пишет он и о М. Лобане, с которым учился на одном курсе, но не жил в мире.

«Лобан — «прынцыповы» чалавек. Усе ў тэрмін здалі экзамены, а ён рыхтуецца. Пытаюць — яшчэ не падрыхтаваўся. І усё сядзіць. Здае пасля ўсіх. Ідзе без усякіх паперак на экзамен. Адказвае грунтоўна. Заўсёды пасля ўсіх — студэнты жартуюць над гэтым, але паважаюць».

Самым сердитым человеком в нашем доме был его хозяин. К счастью, его часто не было дома. До его вещей, находящихся в холодной запущенной кухне, нельзя было даже дотрагиваться, а так как ни у кого ничего не было, запрет, конечно, все равно нарушался. Брали то самовар, то тазик, чтобы искупать ребенка. Все неполадки он сразу замечал и делал длинные и нудные выговоры. Их молча выслушивали, кивали согласно головой и снова нарушали. Почему-то более снисходительно относился хозяин к просьбам Ивана Павловича. Он дал нам старый, брошенный на веранде стол, за которым Иван Павлович мог работать, да и то, почему впустил меня с месячным ребенком, осталось для меня неясным, как уговорил его Иван Павлович. Тем более что перед моим приездом

он не хотел пустить на квартиру в общую комнату дядю одного из живущих тут студентов, старого человека.

В нашей проходной комнате все удобства составляли студенческая кровать и голландская печка, в которой мы готовили пищу в старом, погнутом солдатском котелке. Только тогда я и видела иногда Ивана Павловича, занятого домашней работой. Готовить он умел два блюда: кашу и картошку в мундире. Работать дома Иван Павлович почти не мог. Ребенок наш был очень крикливый, скорее всего, от голода. Не было манки и молока, вместо сахара использовали с трудом и незаконно добытый сироп на сахарине, предназначенный для газированной воды…

Однажды Иван Павлович принес мне билет в Большой театр, проводил до станции, познакомил с одной студенткой и поручил ей меня сопровождать от начала до конца спектакля и привезти назад. Москва была тихая, затемненная, суровая, еще шла война. Наши студенческие места в театре находились где-то на самом верху. Было слышно, но совершенно ничего не видно, что происходило на сцене. Конечно, это меня страшно удивило (в нашем бугурусланском театре видимость отовсюду была прекрасная, иначе туда никто бы не пошел). Уйти нам тоже пришлось раньше окончания спектакля, так как надо было успеть на последнюю электричку.

Пока я повышала свой культурный уровень, Иван Павлович выполнял свои отцовские обязанности. Дочка осталась впервые на полном его попечении. Оказалось, что оставленного молока ей не хватило, и он поил ее водой. Когда я спросила, какой, он ответил: из-под крана. То есть сырой и холодной. К счастью, все обошлось благополучно.

Вторая наша поездка в Большой театр тоже была не совсем обычной. Проездом на фронт к нам заехала его сестра. Решили пойти в театр все вместе. Ребенка оставили незнакомой женщине, которая бралась за деньги присматривать за детьми. Достали только два билета. Иван Павлович пропустил нас вперед, сам остался договариваться с контролером, догнал нас уже в зале, сказал, что прорвался нахальством (которое ему не было свойственно). Так и сидели втроем на двух сидениях, благо тогда все были худыми. Вернувшись ночью за ребенком, выслушали причитания бабки, что она уже и не надеялась на то, что мы возьмем ребенка, думала, что мы его подкинули, видимо, наш внешний вид, наша скромная одежда навели ее на такие грустные мысли.

Весной мы переехали на другую квартиру. Заняли половину дачного домика, арендованного для научных работников университета. У нас была своя изолированная комната с одной студенческой кроватью и столом. Дочка спала на чемодане. Была своя кухня, в которой нечего было готовить. Вторую половину дома занимала семья профессора Макушка, люди необыкновенно благородные, добрые, высококультурные. Они всегда были готовы чем могли помочь, постоянно приглашали к чаю и никогда не жаловались на крик ребенка. У нас теперь был свой двор с зеленой травой и засеянной И. П. картошкой. Неподалеку рос молодой лесок.

В Москве мы бывали редко, иногда заезжали к тетке Ивана Павловича, жене шофера дальних перевозок, жившей тоже не роскошно, и порой наши подарки ей представляли собой что-то вроде концентрата пшенной каши. У нее же жил временами Иван Павлович после того, как я вернулась летом в Бугуруслан. Преодолев очередные трудности дороги и жизни в Сходне, я буквально свалилась с ног от усталости и проспала целые сутки. Все заботы о дочке мать взяла на себя, чтобы дать мне возможность отдохнуть.

Иван Павлович в это время готовился к возвращению университета в Минск. С группой студентов, которую он сопровождал и возглавлял, белорусы отправились в освобожденный город.



ТАТЬЯНА ШАМЯКИНА

Природа вошла в его сердце как Родина...

(Деревня в жизни Ивана Шамякина)

Странно начинать воспоминания об отце с анализа его творчества. Однако тут вступает в силу неистребимая привычка исследователя литературы — все подвергать анализу. Сам же Шамякин ее и воспитывал во мне — культивировал самим укладом, организацией нашей семейной жизни, своей наблюдательностью, вниманием к разным необычным вещам. Кроме того, не все читатели «Нёмана» знают или помнят творчество Шамякина, когда-то, и даже еще совсем недавно, чрезвычайно популярного автора, любимого несколькими поколениями белорусов. Поэтому напомнить о его характере письма — прежде чем говорить о личности — вполне уместно.

Условия формирования человека, будущего писателя, многое определяют в его творческих пристрастиях, даже в его стиле. Детство Ивана Шамякина, с одной стороны, проходило в обособленном, фактически патриархальном мире — в деревне 20-х годов, часто просто в лесу (на так называемых «стражах»), а с другой стороны, семье приходилось часто переезжать. Ощущение уютности оседлой жизни время от времени утрачивалось, больно раня душу эмоционально-впечатлительного мальчика. И тем не менее динамизм сюжетов, который определил уникальное место Шамякина в белорусской литературе, можно поставить в зависимость именно от привычки и всегдашней готовности к движению, к перемещению в пространстве, к постоянным изменениям.

Еще одна важная особенность стиля И. Шамякина касается использования им психологического анализа: в процессе создания писателем образов-персонажей не внутренний мир человека подключает к своей работе объективный, внешний мир, а наоборот, — внешний мир, социум детерминирует сознание, жизненные установки, пристрастия героев. Это неслучайно. Отец Шамякина — не крестьянин, не вольный земледелец, деятельность которого гармонически вписана в природные ритмы, а служащий, государственный человек — лесник. Постоянные домашние разговоры о службе, о начальстве, о взаимоотношениях с коллегами и крестьянами, да и необходимость переездов, вызванных зависимостью от ведомственной бюрократии, рано, так сказать, социологизировали талантливого от природы подростка. Шамякин так и вошел в литературу — одним из самых социальных белорусских писателей XX столетия.

С другой стороны, семья все же фактически оставалась полностью крестьянской. Всю работу на поле, в огороде, досмотр за домашней живностью тянула на себе мать, Сынклетия Степановна, выполняя обязанности и за мужчину, и за женщину. Петр Минович, отец будущего писателя, не любил работать на земле, да и времени на земледелие у него не хватало. Маленький Иван всегда помогал матери, особенно летом. Одна из его обязанностей — пастушество: выгонял скот в лес на поляны. А это означает, как писал сам Шамякин, «лежи — читай или смотри в небо, изучай лес, выведывай гнёзда». Замечательный русский поэт Сергей Есенин в своем прозаическом трактате «Ключи Марии» аргументированно доказал, что именно пастухи в древности стали первыми поэтами. Ведь они приучались созерцать разные явления, процессы в природе, а созерцание воспитывало тонкость и обостренность восприятия, умение замечать мелочи, детали и нюансы

природной жизни. В то же время привычное одиночество стимулировало рефлексию, углубление в собственную душу, самонаблюдение. Так формировались, собственно говоря, все художники. Так формировался и Шамякин. Природа вошла в его сердце как Родина, образы природы в его произведениях — проекция Отчизны. Причем, у Шамякина — именно как социального автора — можно заметить стремление переносить природную гармонию на человеческое общество. Шамякин, с моей точки зрения, — идеалист (сложно сказать, в положительном или отрицательном смысле слова — с какой стороны посмотреть) — не только в своих романах, но и в жизни, проще говоря, это органичная особенность. На всех этапах творчества у него можно проследить потаенную тоску по природной красоте и жажду открыть или утвердить ее в социуме. С детства наблюдает он природные ритмы, убеждается в разумности, целесообразности, логической (именно так!) организованности природных явлений и подсознательно переносит бытийную организованность и безусловную разумность на законы развития социума, на государственный строй. Да, строй — социализм, в котором прожил он большую часть жизни, — конечно же, по его мнению, самый справедливый и по существу высший из всех, когда-то бывших и возможных. Вот только отдельные люди не доросли до такого во всем совершенного строя и мешают сплошному движению вперед (хотя конкретных людей все же всегда оправдывал и умел легко прощать им недостатки).

Крах социального строя и разрушение государства — СССР — совпали у писателя с личной трагедией — потерей единственного сына (в сентябре 1991 года), а также ощущением выпадения из общего ритма, предчувствием идейно-нравственной катастрофы общества. В последние тринадцать лет своей жизни (до смерти 14 октября 2004 года) Шамякин написал много, и есть вещи значительные, во всяком случае, не лишенные прежнего мастерства, даже виртуозности, но это — инерция профессионализма, а в целом в других социальных условиях работают иные архетипы, чем в предыдущий период творчества. Негативные архетипы — мрачное восприятие действительности. Я же вспоминаю то время, когда отец творил вдохновенно, радостно, с огромным удовольствием, подъемом, а потому особенно результативно. Оптимистический и одновременно романтическо-сентиментальный пафос его творчества обусловлен как личностными качествами, чертами характера, в целом жизнерадостного человека, так и условиями формирования — постоянным пребыванием на лоне природы, причем, в разных местах богатой разнообразными ландшафтами Гомельщины.

Генетические корни Шамякина — в селе Корма Добрушского района Гомельской области. Отсюда происходят его родители, деды, все предки. Старинная, большая, богатая Корма — это детство, пребывание в родовом гнезде, первые деревенские впечатления. Творческое же свое развитие писатель начинал с села Прокоповки, куда приехал в 1946 году после демобилизации к жене, работавшей здесь фельдшером-акушеркой, и к пятилетней дочери Лине. Впечатления от Прокоповки вылились в пятой повести «Мост» из пенталогии «Тревожное счастье», частично в романах «В добрый час» и «Криницы». У старшей дочери Ивана Петровича Лины осталось впечатление о том времени как очень счастливом: жили страшно бедно, скудно, голодно, но радостно, с надеждой на лучшее. Родители — молодые, энергичные, трудолюбивые, любимые в народе; к Шамякину пришла первая литературная слава.

Упомянутые выше романы, хотя и навеянные Прокоповкой, Шамякин писал уже в селе Терюха Гомельского района. Когда-то он — ученик пятого класса — прожил здесь один год. Удивительная природа окрестностей Терюхи особенно затронула сердце парня, но главное — тут он встретил свою будущую жену — коренную терюшанку Марию Филатовну Кротову.

Большая, хотя и несколько меньше Кормы, деревня Терюха названа по речке — 57-километровому притоку Сожа. В названии, которое на первый взгляд выглядит неславянским, звучит, однако, явный корень «рух», то есть «движение».

Сегодня окрестности села — популярная в Гомельской области зона отдыха местного значения. После взрыва Чернобыльской АЭС значение курортной зоны в Терюхе особенно возросло, поскольку из-за розы ветров сюда не занеслись радиоактивные облака и не выпали на землю смертоносные нуклиды. Притягательное своеобразие этой местности я заметила давно. Скорее всего, — по моей собственной версии — сюда не заходил последний ледник, сползающий с севера, как известно, «языками», между которыми оставались свободные полосы, где, благодаря хорошей инсоляции процветали поселения бореалов — аборигенов Европы. С того времени регион так и остался во многом необычным. Достаточно сказать, что деревня лежит на сплошных и очень глубоких песках, оставшихся как раз от пространства между «языками» ледника или же, что даже более вероятно, являвшихся дюнами на берегу бывшего когда-то на территории Полесья так называемого моря Геродота. Песок в Терюхе мелкий, блестяще-белоснежный, чистый, кварцевый, летом всегда нагретый солнцем, особенно красивый на берегах реки. Мама очень любила постоянно ходить босой, чтобы ноги тонули в горячем песке, и нас приучила. Песок издавна использовался в ремесленном творчестве, производстве стекла — об этом говорят названия близлежащих деревень: Студёная Гута, Новая Гута. Последняя в наше время — таможня, терминал, переезд в соседнюю Украину, граница с которой — в 8 км от Терюхи.

На песках вокруг села повырастали могучие сосновые боры, в которых полно водилось разных зверей и птиц, созревали ягоды и грибы даже еще в 50—60-е годы, а тем более во времена детства Шамякина. Вот почему, хотя почвы региона и неплодородные, тут издавна селились люди, кормившиеся с леса, с исключительно рыбных рек и озер, а также с ремесла, пользуясь близостью к большому и древнему — в эпоху Средневековья — городу Чернигову, а с XIX столетия и к белорусскому Гомелю.

Красота окрестностей Терюхи на всю жизнь вошла в сердце будущего писателя. В 1951 году на деньги Сталинской премии за свой первый роман «Глубокое течение», в котором узнается упомянутая местность, Шамякин строит в Терюхе обычный деревенский дом, куда постоянно приезжает с семьей примерно до середины 60-х годов. Это необычайно плодотворный период в его творчестве. Именно здесь, в Терюхе, написаны романы «В добрый час», «Криницы», «Тревожное счастье», «Сердце на ладони» (названия какие!). Сюда постоянно приезжали гости — коллеги-писатели: русские, ехавшие из Ленинграда отдыхать в Одессу и Крым, и украинские — те путешествовали в Прибалтику, в Ленинград и Москву. Особенно часто заезжали именно украинцы — шумные, говорливые, остроумные. Мне хорошо запомнился Степан Олейник (не путать с Борисом Олейником) — поэт-сатирик и большой юморист в жизни, автор сценария первой, невероятно популярной, киноленты Леонида Гайдая «Пёс Барбос и необычный кросс». Всегда веселый Олейник, удивительно похожий на Тараса Бульбу, особенно любил нашу семью, приезжал в Терюху с женой и приемной дочерью Олесей именно в гости, а не как-то проездом. Мы, в свою очередь, посещая Киев, всегда останавливались у Олейников, которые жили прямо на главном проспекте столицы Украины — Крещатике. Замечу, кстати, что быт украинской литературной элиты был в то время устроен намного лучше, чем быт белорусских литераторов, что связано, конечно же, с почти полным уничтожением в войну минского жилого фонда. Однако и писателям Белоруссии, как я расскажу позже, достаточно быстро создали комфортную жизнь.

В Терюхе для гостей устраивались рыбалки на Соже и на его старицах с удивительными славянскими названиями — Казара, Качча; походы в лес по ягоды и грибы. Шамякины любили «угощать» и экзотикой: возили на одно из озер, где рос тоже, думаю, доледниковый реликт — водяной орех: плоды у него черные, колючие, а вареные, на вкус, очень сходны с пищевыми каштанами.

Белорусские писатели, ездившие на южные курорты, тоже обязательно ночевали в Терюхе. Некоторые просто, как и Олейники, приезжали пожить — Андрей



Иван Шамякин и Степан Александрович. Терюха.

Макаёнок, Алексей Кулаковский, Владимир Карпов — почти всегда с семьями. Все молодые, веселые, шутливые. Помню постоянные розыгрыши, подначки, явную страсть некоторых литераторов к авантюрам. Никаких телевизоров тогда в деревне не водилось, и как же без телевидения красиво и интересно жили!

Размещались на чердаке, всегда заполненном сеном, или спали в машинах. Никто не обращал внимания на отсутствие привычного комфорта. Жили радостно и приязненно — к природе, деревенским людям, друзьям...

Особенно часто заезжал Андрей Макаёнок, родина которого недалеко — на Рогачевщине, и с ним обычно ездили на Сож. Родители обязательно брали меня, Лину и брата. Незабываемые там пейзажи: необъятные луга и дубравы около извилистой — не могучей, но достаточно полноводной и широкой — речки, по которой скоро стали ходить из Гомеля в Киев «Ракеты». Довольно часто выбирались на живописные старицы Сожа. Папины знакомые лесники пропускали его с гостями в такие глухие места, куда в то время ездить запрещалось, — видимо, таились в густых борах какие-то военные объекты. Сегодня, знаю, там сплошные туристические базы и дома отдыха. Тогда — укромные уголки, а в старицах — полно рыбы. Шамякин и Макаёнок пристрастились аристократично ловить на спиннинги — хотя им не очень-то везло, но охоты не отбивало.

В головах Ивана Петровича и Андрея Егоровича постоянно возникали какие-то авантюрные прожекты. С большим энтузиазмом они каждое лето обсуждали, как пешком пойдут в путешествие по Белоруссии. Все ж таки в молодости Шамякина не покидала жажда перемещения — при всей его любви к оседлости, домашней уютности (притом, скромной). Над планами писателей их жены только посмеивались. И правда: друзья собирались тридцать лет, но так и не отважились отправиться в дорогу. Но мы с Сашей всегда с неизменным вниманием, жадным интересом слушали их горячие обсуждения разных маршрутов. Не потому ли и Саша стал геологом — вечным странником, а я вышла замуж за геолога Славу, действительно обошедшего почти всю Беларусь?

Художественные произведения, написанные Шамякиным в 50—60-е годы, словно пронизаны радостью жизни, жаждой творчества, счастьем как гармонией, которую возможно — тогда он искренне верил в это — внести и в человеческое общество. Только в Терюхе, обожаемой отцом, и могла возникнуть такая прелестная повесть о любви, вся проникнутая радостью чувства, как «Неповторимая весна». Здесь, в условиях неспешной, размеренной жизни, и отношения моих родителей как бы воскрешали их юношескую красоту; им постоянно хотелось делать друг другу что-то приятное, хотелось выглядеть в глазах другого и детей лучше, чище, значительнее.

Терюха — это близость к земле, к простым вещам, обычным человеческим радостям, привычным для моих родителей с детства. Мы, дети, живя большую часть года в городе, занимаясь в школе, собирая металлолом, катаясь на коньках, все же постоянно мечтали о летней поездке в Терюху. Но также — и наши родители. Шамякин горел нетерпением: скорее взять летний творческий отпуск, бежать от суеты, от борьбы амбиций и зависти коллег, от требовательности чиновников — к настоящей работе, милым людям, настоящим ценностям. О маме и говорить нечего: она так до конца жизни и не стала по-настоящему городской жительницей, дамой из «высшего столичного общества». В деревне Шамякиным было легко, свободно, психологически комфортно — они намного лучше чувствовали себя среди простых тружеников, чем среди элиты.

Главная особенность жизни в Терюхе — несуетливость. А ощущение счастья возникало буквально от всего — самых обычных явлений. Утро начиналось со стука в окно двух ручных белочек, живших в нашем саду. Шамякин бежал открывать ставни в спальне и отправлялся с полотенцем и мыльницей на речку. С виду — типичный дачник: уже, в 50-е годы, довольно плотный, в белой майке и полосатых пижамных штанах. А речка у нас — всего в шагах тридцати от дома, к ней спускались по песчаному обрыву. На завтрак мама кормила яичницей, оладьями, жареными грибами или рыбой. Мы, дети, после этого отправлялись в сад объедать малину или смородину, а папа садился работать. Я иногда забиралась на выступающий фундамент дома и заглядывала к нему в окно — ни разу не заставала его смотрящим в пространство, обдумывающим, всегда писал — видимо, мысли возникали именно в процессе работы. Заметив меня боковым зрением, он все же отрывался от письма и ласково улыбался мне: я ведь — любимая дочка, и всегда знала об этом. Позже мама с явной обидой за старшую дочь объясняла, что Лину он не растил — был в годы ее раннего детства на войне, потому и не привязался к ней, но зато со мной, особенно лет с двух (тогда как раз родился брат Саша), возился уже много и охотно. Часто мне читал, водил гулять, обращал мое внимание на разные предметы, пейзажи, привозил много подарков из поездок, всегда лучшие, чем другим детям, а много позже, с взрослой, — любил и поговорить, особенно на темы политики, в последние годы жизни именно мне жаловался на одиночество. Впрочем, в детстве он баловал и Сашу, а Лину позволял баловать своей жене, нашей маме.

На терюсском рабочем столе Шамякина стояла большая синяя ваза (другая такая же — на веранде) с цветами, собранными мамой у речки или на лугу; в открытые окна доносилось птичье щебетанье, жужжанье пчел и шмелей, распространялся аромат садовых цветов, травы, листвы. Довольно часто дразнящие запахи расходились по округе со двора, где мы с мамой варили варенье из земляники, черники, малины, вишни — прямо на костре, в большом медном тазу с длинной деревянной ручкой (интересно, где тогда производили такие замечательные тазы?).

Сам терюсский дом необычайно скромный — даже по деревенским меркам. В пристройке — совсем крохотный коридор, из которого налево ведут двери в кладовку, направо — на веранду, помещение, которое тогда отличало именно в этой местности нашу дачу от сельского жилища. Непосредственно в срубе — кухня с печкой, потом зал и он же — кабинет отца, а из него налево — вход

в совсем небольшую узкую комнату — спальню. Общий метраж, я думаю, не превышал 40 квадратных метров, а то и меньше. Интерьер тоже чрезвычайно простой, прямо скажу — бедный. Интересно, что писателей он нисколько не удивлял, не шокировал — по их тогдашнему мнению, так и нужно жить, а вот иная публика — чиновники, врачи — просто поражались и не могли поверить, что такая простая, буквально нищенская, дача у Шамякина. С подобными представлениями — что у популярного автора должна быть какая-то необычная, во всяком случае, обязательно роскошная обстановка, — я сталкивалась потом в жизни много раз, и переубедить людей, что Шамякиных стильный антураж вообще мало интересовал, было невозможно.

В конце 60-х годов дом в Терюхе понравился киносъёмочной группе режиссера Федоровского, который искал натуру для своей новой ленты «Весенние грозы». Деятели кино пристроили к дому еще одну веранду — фактически декорацию, но она так и осталась, выполняя функцию сеней.

А вот усадьба вокруг дома как раз довольно большая — тогда земли для ветерана не жалели — соток пятьдесят. Тесть Шамякина Филат Азарович высадил тут прекрасный сад — его отец когда-то служил садовником у помещика, и садоводство оставалось в традициях семьи. У моего прадеда Азара еще до 1917 года был самый большой в селе и самый богатый сортами плодовых деревьев и цветов сад. На нашей же усадьбе по ее краям росли старые, толстенные, разлапистые вербы, на развилках стволов которых мы, дети, очень любили строить шалаши, представляя себя героями разных сказок и приключенческих книжек. Посредине сада — большой малинник, множество кустов смородины, крыжовника; росли, кроме яблок, груш и даже грецкого ореха, вишни и черешни. Параллельно дому, у его глухой стены, отец высадил три тополя — мамины любимые деревья; они очень быстро поднялись высоко и гордо, став едва ли не основной вертикальной доминантой всей деревни. В противоположном углу сада брат мамы дядя Николай вырыл пруд, по-местному — сажалку, который, правда, быстро обмелел, но привлекал к себе детей таинственностью своей водной жизни.

Мама много занималась садом и огородом, пока мы — в 50—60-е годы — ездили в Терюху ежегодно и на все лето. После смерти Филата Азаровича сад еще поддерживался Николаем Филатовичем, но постепенно зарастал, вырождался, дичал — деградировал тогда не только наш сад, а и все в деревне, в стране... Мы всегда со жгучим нетерпением ожидали летних поездок в Терюху, и они нас никогда не разочаровывали, но все же каждый год нас встречали какие-то не совсем приятные изменения. Помню наше огорчение, когда в конце 50-х дядя Коля разрушил такую уютную печь, на которой мы в дождливые дни и вечера читали «Белого пуделя» Куприна, «Зайку-зазнайку» Михалкова и «Малахитовую шкатулку» Бажова, и соорудил вместо нее небольшую грубку. Кстати, книг в доме было достаточно много — целый книжный шкаф, — родители покупали их в Гомеле, Чернигове, Киеве. Приезжая в Терюху уже в 80-е годы, я с удовольствием перечитывала рассказы и повести Короленко или «В краю непуганых птиц» Пришвина. Но постепенно книги, как и многое другое (тот же пресловутый таз для варенья), растаскивались, исчезали неизвестно куда. Вообще все мельчало, ветшало, никло, а люди вокруг опускались... Я в последнее время мучительно пытаюсь вспомнить, когда, с какого момента началось стремительное движение вниз — под откос, к окончательному нравственному, культурному упадку? Помню, что все происходило очень быстро, но что послужило первотолчком, спусковым крючком, причиной? Если бы я вспомнила год начала падения, я бы, уже хорошо зная историю, вычислила запущенный маховик разложения, исходивший, безусловно, сверху. Но вспомнить не могу... Во всяком случае, самые незабываемые, самые счастливые, полные годы — полные именно незамутненными человеческими отношениями — пятидесятые.

В первую половину дня Шамякин всегда работал. Рабочие дни в Терюхе были необычайно плодотворными. Нередко после обеда папа отправлялся на

двор, располагавшийся через улицу, к своему тестю, нашему дедушке, Филату Азаровичу. Филат тогда уже был на пенсии, но без дела не сидел, а вместе со своим сыном, нашим дядей Колей, инвалидом, лишившимся глаза во время войны, бондарил. Особенно удавались дедушке и дяде бочки самых разных размеров. Шамякин, сидя рядом с работниками и вдыхая такой приятный для сына лесника древесный запах, пытался выудить у тестя разные интересные сведения о его жизни. Ведь Филат прошел ГУЛАГ, строил и Беломорско-Балтийский канал, и канал «Москва—Волга» (вернулся в 1938 году, и по поводу его возвращения моя тетушка Ольга Филатовна рассказывала буквально мистическую историю). Но беда в том, что Филат Азарович отличался, как пишет сам Шамякин, просто «феноменальной молчаливостью». Правда, Николай Филатович о своих военных приключениях рассказывал охотно.

Однако, чаще всего после обеда, посадив полную машину детей, меня с братом, наших двоюродных братьев и сестер, папа обязательно вез нас куда-нибудь в окрестности Терюхи: в лес, на луг, на границу с Украиной (мы любили это место с беседкой, тогда символическое). Иногда шли удить рыбу вместе с дедом Филатом, который удочке предпочитал так называемую топтуху. Мне долго, уже взрослой, снилось, что брожу я по чистой, прозрачной мелкой речке Терюхе, высматриваю под корягами рыбок, собираю на дне ракушки-моллюски. Обычно под вечер, когда вода хорошо прогревалась, купались всей семьей — не напротив нашего дома, где мы, дети, постоянно барахтались днем, а несколько дальше, у плотины маленькой сельской гидроэлектростанции. Нередко вечерами ездили в Новую Гуту к маминым старшим сестрам, Галине и Матрене. Довольно часто в Новой Гуте или в других соседних деревнях — отец знал там заядлых рыболовов-любителей — покупали уже не плотвичку, а выловленную в Соже крупную, матёрую рыбу. По ягоды и грибы тоже ездили едва ли не каждый день. Забирались довольно далеко. Папа ходил около машины, чтобы не оставлять ее без присмотра (но ему и на небольшой площади всегда в сборе грибов почему-то везло — писательская наблюдательность!), а мы с мамой отходили, может, и на километры. Собирать землянику на лесных солнечных полянах в могучих, пахнущих смолой сосновых борах — прекраснее занятия я не знала в жизни!

По вечерам к отцу обычно кто-нибудь приходил: или родственники жены, или председатель сельсовета, или лесники с близкой лесной дачи, где сам Шамякин жил в далеком детстве, бегая по лесу в терюсскую школу, или рыбаки с рыбой на продажу, или учителя. У папы половина деревни, да и ее окрестностей, — знакомые и приятели. Сидели на веранде или на лавочке в саду, вдыхая запах фиалок — «ночных красавиц»; отец с удовольствием слушал рассказы мужчин, часто — ветеранов войны. Я замечала, что папа любил всматриваться в жесты сельчан, их мимику. Шамякина всегда интересовали разные человеческие судьбы, семейное положение людей, жизненные перипетии; он расспрашивал, обращал внимание на подробности, вдавался в детали. Не с прагматическими писательскими намерениями для написания конкретного произведения, а просто ему был органически характерен интерес к людям, потому и стал писателем. Немало услышанного им в Терюхе потом всплывало, входило в его романы. Довольно часто сельчане приходили с просьбами, жалобами. Помогать людям отец считал своей прямой обязанностью. Конкретную помощь ценил больше, чем воспитательное значение своих книг. Возможно, под влиянием мамы. Она считала, что за счастье, полученное ими, Шамякиными, от судьбы, они должны как можно больше дарить людям добра. Так же думаю и я сейчас.

Выслушав очередную просьбу, отец собирался, заводил свою «Победу» и ехал в Гомель, шел к разным чиновникам. Шамякина тогда настолько уважали в республике, в областном центре, что я не помню случая, чтобы ему отказали. Правда, и чиновники довольно часто наведывались в Терюху. Из фактов его реальной помощи запомнился, скажем, такой. Учитель Виктор Ермаков (в Терюхе полно Ермаковых) страдал глазами. Очков, необходимых ему, с какими-то особы-

ми стеклами, тогда в СССР, как оказалось, достать было невозможно. Шамякин писал в разные места, обращался к высоким чинам и в конце концов добился, чтобы из ГДР прислали необходимые очки. Кроме того, заслуга отца — строительство в Терюхе новой современной школы, хотя мне, признаться, было жалко прежнюю, в которой еще учились мои родители, — в бывшем, дореволюционном, доме священника.

Заговорив о домах, я вспомнила, что застала в Терюхе жилье еще без фундаментов, с завалинками, так называемыми «призьбами» (именно с мягким [з]). Мы с мамой часто присаживались на них, гуляя по деревне, и беседовали с жителями, знавшими мою маму еще девчонкой. Перед более новыми, послевоенными, домами обязательно располагались палисадники с цветами — как бы эстетическое «лицо» хозяйки усадьбы. Набор цветов во всех этих огороженных колышками уголках был примерно одинаков: георгины, мальвы, гвоздики, незабудки. Но все равно страсть к красоте деревенских женщин очень трогательна. Потом и палисадники стали исчезать — молодежь строилась по-современному, цветы высаживали во дворе, отгородившись от улицы высокими заборами. Кстати, наша усадьба отличалась от всех тем, что располагалась не на улице, а несколько сбоку, ближе к реке, и была огорожена обычным штакетником, так что просматривалась, собственно говоря, насквозь. Правда, людей вокруг перемещалось все же меньше, чем по улице, но на речку, скажем, все ходили мимо нас.

В 50-е годы еще жила тетя моей мамы — Василиса Парфёновна («баба Вася»), с юности до старости певшая на клиросе. Для меня она тогда — осколок какой-то иной, совершенно удивительной, непостижимой жизни, судя по тому, как и о чем она говорила с мамой (сегодня я легко бы нашла с бабой Васей общий язык). В ее приземистой избушке с очень низким потолком я поражалась огромному количеству икон не просто в красном углу, а на двух стенах сверху донизу. Мне от всего этого богатства досталась позже небольшая бумажная иконка. Дочь бабы Васи, тетя Маня, двоюродная сестра моей мамы, заходила к нам едва ли не каждый день. Ее феноменальное, просто исключительное трудолюбие бессовестно использовали в колхозе, потом в совхозе, нещадно эксплуатируя совершенно безотказную женщину. В промежутке между дойками коров она еще успевала сбегать в лес и принести нам (своей семьи у нее не было) земляники, черники, обязательно букетик лесных цветов и какую-нибудь лесную диковинку — гриб-трутовик, веточку редкого растения. Именно тетя Маня первая рассказала мне о Боге, научила молиться и крестить подушку на ночь. Только просила моему папе — коммунисту — не рассказывать. Но дело в том, что папа обо всех религиозных заходах сестры жены прекрасно знал, однако он никогда не позволил бы себе сделать замечание трудящемуся человеку. Вообще он отличался не приобретенным, а каким-то нутряным аристократизмом — я имею в виду не столько повадки, манеры, бытовые привычки, сколько внутреннюю деликатность, тактичность в обращениях с людьми. Уже будучи взрослой, я иногда шутила, обращаясь к нему и намекая на его якобы аристократическое происхождение: «Не потомок ли ты известного мятежного князя XV века — Дмитрия Шемяки, противника московского князя Василия Темного? А ведь победи тогда Шемяка, история пошла бы совсем другим путем». Шамякин на шутку никогда не откликался, а впрочем, сам не знал происхождения своей фамилии. Кстати, она действительно поначалу звучала как «Шемякин», то есть с «е» после «ш». Но став литератором, отец в конце 40-х годов изменил вторую букву фамилии, посчитав, что «Шамякин» (с «а») — более по-белорусски. Отцу совершенно не было характерно профессиональное чванство: я, мол, писатель, личность высшего сорта. Он даже особенно не гордился своим участием в Великой Отечественной войне. Помню, его друг Андрей Макаёнок в зените своей славы говорил: «Я никому ничего не должен — мне все должны, государство должно, я его спасал». Папа с Андреем Егоровичем не спорил, так как вообще не любил спорить, возражать, утверждать свое мнение, но сам полагал иначе, часто мне повторял: «Прежде всего нужно

накормить людей, а мы, интеллигенция, только на службе у наших кормильцев, им всем обязаны».

Шамякин отличался удивительной терпимостью ко всем проявлениям именно народной жизни, а вот бюрократию в своих произведениях развенчивал. Мне кажется, его любовь к Терюхе проистекала не только от несуетливости тамошней жизни, но и от чувства единения с довольно многочисленными родственниками, целым семейным кланом, богатым своими родовыми традициями — и староверскими, и даже дворянскими, потому что, по семейной легенде, отец Филата — Азар — внебрачный (в конце концов, усыновленный) сын помещика Кротова. Так получилось, что с родными жены, урожденной Кротовой, у Шамякина образовались истинные душевные связи, более крепкие, чем с членами собственной семьи. Конечно, и своих родственников он любил, особенно мать, но душевной близости не сложилось. Мы, кстати, каждый год ездили на родину отца, в поселок Чехов около Кормы, где размещалась усадьба его родителей. По дороге заезжали в Прокоповку, где жители еще помнили молодых Шамякиных, и в Тереховку — там работала тогда на почте мамина старшая сестра Ольга Филатовна. Обязательно хотя бы раз за лето ездили в Чернигов или Киев, каждую неделю — в Гомель. Да только всегда тянуло скорее вернуться в Терюху.

Здесь в то время не было никаких обычных цивилизационных благ. Но, несмотря на отсутствие привычного городского комфорта, Шамякин любил Терюху, как только и любят «родны кут», малую родину, как любят место, дающее могучий стимул для творчества и одновременно дарящее настоящий отдых — не бездумный, а тоже по существу творческий. Уже в конце жизни отец часто повторял, что нигде ему так хорошо не работалось и не отдыхалось, как в Терюхе. Прекрасны здесь были все периоды лета, все часы суток. Цветение трав, сенокос, воробьиные ночи, сбор урожая. Раннее солнечное утро с заливающимися во всех концах деревни петухами; жаркий полдень, который мы проводили на реке, а отец — в прохладном доме за работой; послеобеденный час в густых просмоленных борах или на рыбалке; вечер у костра во дворе за варкой варенья или в дружеских беседах папы с многочисленными приятелями. А мы с мамой примерно в восемь вечера исполняли свой обязательный и любимый ритуал — встречали деревенское стадо коров, возвращающихся с пашни, важно идущих по центральной улице, на которой как раз и стоял дом дяди Коли. Потом я всегда с неизменным интересом смотрела, как жена дядя Коли — тетя Надя — доит корову, процеживает молоко, а мы, дети, его свеженькое, еще теплое, с удовольствием пьем. Жалко было укладываться спать — мама не могла нас загнать: ведь столько всего увлекательного было вокруг нас!

Годы поездок на Гомельщину — буквально каждое лето — были для Шамякина годами полного, абсолютного счастья, какое только может быть в жизни человека. Ощущение счастья возникало от собственных творческих сил, славы, включенности в элиту общества, и от семейных радостей, и от близкого общения с природой. Но в немалой степени оно связывалось с еще непорушенной пуповиной единения с деревней.

Частые разговоры писателей и в Терюхе, и в Минске, кроме политики велись на темы экономики. Творцы понимали значение развития промышленности, но говорили о ней мало и неохотно — объект, абсолютно чужой для них. Зато о проблемах сельского хозяйства рассуждали постоянно, заинтересованно, горячо. Причем, они необычайно ревниво относились к восприятию села людьми из других, так сказать, сфер и корпораций, кроме собственно аграрных. Обобщая сегодня смысл их разговоров, да и произведений, можно сказать, что писатели — Андрей Макаёнок, Алексей Кулаковский, Петр Василевский, Иван Мележ, Янка Брыль, Иван Науменко (те, кто часто бывали у Шамякиных дома — друзья и соседи, и кого я имела возможность постоянно слышать) — отстаивали идею самодостаточности сельской жизни, ее фундаментальной аксиологичности. Андрей Макаёнок, любивший иногда порассуждать над этимологией слов, спе-

циально этим поудивлять мою маму-филолога и меня, говорил: «Запомни, слово «весь» от древнерусского «весь», что означает «вёска, поселение». Это и правда весь мир, все самое ценное; без села и город пропадет». Я тогда, по молодости, довольно скептически воспринимала апологетику деревни, хотя Терюху очень любила, но сегодня сама пишу статьи о сельской цивилизации (именно цивилизации!) и общечеловеческой ценности в белорусской литературе сельской темы. Спасибо родителям и их друзьям!

С течением времени все названные писатели вросли в городскую культуру, хотя не могли обходиться без дач, собственными руками посаженных садов и огородов. Но в 50—60-е годы они еще чувствовали себя деревенскими удачливыми парнями, добившимися потрясающих успехов: ведь это они победили фашизм и создали, собственно, новый мир — как в реальности, так и в творчестве!

Был еще один момент: в прошлом сельчане, они чувствовали свою как бы вину перед деревней, что изменили ей; болели душой за состояние дел в сельском хозяйстве. Так, Шамякин в поисках сюжетов неизменно возвращался к сельскому материалу, не представляя без него ни одно произведение. Он писал уже в начале XXI века в «Ночных воспоминаниях»: «Успешно отстраивали после войны города, заводы, строили новые — гиганты, как Минский тракторный. Но село оставалось в упадке. Вдовы впрягались в плуг, чтобы вспахать себе соток сорок, посеять картошечку — надо было чем-то кормить детей. Одно было достижение: возможность учиться. Всеобуч был законом, для села единственно разумным. Сколько нас, инженеров, ученых, художников, вышло из того послевоенного голодного села!»

Терюха еще долго, когда Шамякин стал уже городским жителем и государственным человеком, связывала его с деревенским миром, давала отдых, импульс для труда, материал для творчества.

В начале 60-х годов отца уговорили купить дом в дачном поселке Ждановичи около Минска — там же предложили дачи, построенные еще в 1957 году, и некоторым другим писателям: Кондрату Крапиве, Петрусю Бровке, Петру Глебке, Ивану Мележу, Пилипу Пестраку. Шамякин дружил с Глебкой, видимо, тот и уговорил. Помню долгие разговоры родителей относительно новой дачи. Главный довод ее приобретения — рождение моей младшей сестры Олеси. С ней тяжело будет ездить некоторое время в Терюху, хотя нас с Сашей начали возить совсем маленькими. А жить постоянно в городе родители тогда органически не могли — тянуло к земле. Большой проблемой оказалось сказать терюсским родственникам о новой даче. Не только мы, но и тамошние родные жили ожиданием наших посещений: с нами их, да и всех деревенских насельников, жизнь приобретала какой-то иной смысл, другое измерение, разнообразие.

Родители стали ездить на Гомельщину все реже, прижились в Ждановичах — близко к столице, комфорт. А мы с Сашей продолжали летом посещать свою, по нашим представлениям, родину, хотя и родились в Минске; особенно часто ездила я. Нередко с сестрой мамы Ольгой Филатовной, которой родители подарили дом в Терюхе, потом уже со своей семьей — мужем, детьми. Причем, мы здесь не просто отдыхали. Всегда помогали своим родным на сенокосе: мой могучий тогда муж хорошо скирдовал сено, я гребла; на машине возили родственников по окрестностям или в Гомель.

Настоящей трагедией не только для меня, но и для моих семейников, тоже «заразившихся» любовью к Терюхе, стала продажа родителями терюсского дома в середине 90-х годов. Как они могли пойти на такой шаг — до сего дня не понимаю! Воистину, 90-е годы — не просто бездарные, но и совершенно безумные, и безумием заражались даже самые здравомыслящие люди. Главное, деньги взяли просто смешные, буквально копейки. Так зачем? Как всегда — уговорили, теперь уже не друзья, а родственники. Правда, человек, купивший дом, пока сохраняет его в прежнем виде, видимо, понимая его ценность. В 2006 году на доме даже повесили мемориальную доску, за что — огромная благодарность местным и гомельским властям.

Довольно часто мы с отцом говорили о деревне, о ее роли в развитии цивилизации, о значении в нашей собственной жизни. Папа считал себя деревенско-городским человеком. Особенно много деревенского оставалось до конца жизни у мамы. Все друзья Шамякина уважали ее за именно народную мудрость и тяговитость деревенской женщины. Однако взгляды Шамякина на деревню были достаточно сложные и даже противоречивые. Скажем, он был решительный сторонник коллективизации. Я же, внучка весьма зажиточного, с претензией на дворянскую родовитость, крестьянина, никогда не вступавшего в колхоз, отстаивала эффективность единоличного хозяйства, а главное, крестьянскую патриархальную культуру, противопоставляя ее городской, индустриальной. Помню, что когда я осуждала Максима Горького за его презрение к крестьянству, за его высказывания про «идиотизм деревенской жизни», папа соглашался как раз с Горьким, а не со мной, говоря мне: «Ты знаешь сельский уклад по Терюхе, деревне культурной, с традициями, да еще в лучший период жизни социалистического общества (хотя сегодня я понимаю, что проблем тогда, под властью недоучки Никиты Хрущева, в деревне хватало. — *Т. Ш.*), а я видел село в 20-е годы: это убожество, нищенская обстановка, совсем не гуманистические отношения между людьми, действительно — идиотизм. По-настоящему зажиточной деревня стала только при полной коллективизации».

Мне кажется, что у Шамякина произошла своеобразная аберрация зрения: на детские воспоминания о бедности собственной семьи наложились впечатления от белорусской классической литературы, действительно, излишне пессимистически воспринимавшей деревню. В то же время сердце писателя болело, когда он, пережив короткий период подъема белорусского села, наблюдал его упадок — не материальный, а нравственный. В Дневниках из книги «Роздум на апошнім перагоне» он пишет: «...Это не просто беда — трагедия, что люди так боятся села. Не просто люди. Молодежь! Будущие хозяева. Кто же в этом виноват? Они? Нет. Мы. Родители. Что мы сотворили с деревней? Как воспитали сыновей своих и дочерей? Где народники? Где подвижники? Романтики? Революционеры? Открыватели? Неужели нет их? А может, они переспевают в наших теплицах и быстро загнивают?»

С другой стороны, Шамякин не сомневался, что урбанизация будет продолжаться — процесс этот закономерный (я так не думаю — вполне возможно массовое возвращение людей назад в деревни), и село в обычном смысле фактически осуждено. Но воспоминания о деревенском детстве и лучшей творческой поре в Терюхе он навсегда сохранил в своей душе как самое дорогое в жизни.

Окончание следует.



ВЛАДИМИР ЛИПСКИЙ

Снег на голове

Дневник

* * *

Придумал заглавие на свою заснеженную голову.
Что это: снег на голове?
Старость?
Мудрость?
Возвращение в молодость?
Если снег на холодную голову — снежный дед. Рядом с ним — такую же бабу. Вместо носов — по морковке. В руки — по метелке. Гуляйте!
Если снег на горячую голову — баня. Если рядом такая женщина — праздник души. Весна!
Какую голову подарит мне Новый год? Об этом знает только Бог.

* * *

Небо и земля.
Космос и корабль.
Взлет и посадка.
Рождение и смерть.
Между ними — жизнь, любовь, ненависть, ревность, зависть, радость, печаль...
Снежная голова просит у неба: «Вознеси меня, земного, на орбиту Любви!»

* * *

Среда — середина.
Середа — как полдень. Солнце над головой.
Сегодня, в среду, зимний день стал на три минуты длиннее, чем был вчера.
Пусть долгим будет полдень!

* * *

Люди — звери. Не верите?
А вы присмотритесь: один — вылитый серый волк, другой — копия хитрой лисы, третий — сытый барсук, четвертый — шустрая белочка, пятый — колючий еж, шестой — испуганный заяц...
Бывает, что заяц пользуется маской волка.
Чего не бывает в мире людей!
Бывает, что и дед бабу разувает...

* * *

Читаю в поэме XV столетия «Рейнеколис»:
«Может, злодей от того и злодействует,

Что кто-то, кто действовать должен, бездействует...»

Как свежо и понятно!

Неужели ничего не изменилость за пятьсот лет?

Выходит, нет. Жаль. Мы продолжаем жить среди воровства, предательства, враждебности, насилия.

А должны жить по-божьему — с Любовью.

* * *

Душа просит Весны!..

* * *

Еду в лифте «Дома книги». И вдруг зажигается мысль, от которой и горячо, и неприятно.

Вот этот лифт вызывает кто хочет. Нажми кнопку — и он твой. И он растопыривается перед каждым.

Служит всем, кто попросит.

Открывается всем кому не лень.

Кто он?..

* * *

Все выходные читал Пушкина: дневники, воспоминания, документальную повесть «История Пугачевского бунта».

Открыл Пушкина.

Открыл Пугачева.

Пушкин — дал урок исторической правды и умения работать с документом, фактом.

Пугачева открыл как человека.

Задумался вновь: кто он — вор, разбойник, герой, патриот, бабник?..

Ему было сорок. Роста среднего. Худой. Борода черная. Взгляд острый. Характер крутой.

Его допрашивал Панин и спросил:

— Как же ты осмелился, вор, назваться государем?

На это Емельян Иванович ответил:

— Я не ворон (как бы не услышав слово «вор». — *В. Л.*), я вороненок. А ворон-то еще летает...

Его казнили прилюдно, в Москве, и было это 10 января 1775 года. Пугачев кланялся во все стороны и повторял:

— Прости, народ православный...

Пушкин послал рукопись царю. Тот благословил ее в печать. Только подправил заглавие. Не «История Пугачева», как было у Пушкина, а «История Пугачевского бунта». И дал 20 тысяч рублей серебром на издание книги.

Купался в чтении томика Пушкина.

Именно в этот день когда-то умирал Пушкин. Ну не сигнал ли с неба моей душе: помни Поэта!

* * *

На проспекте неожиданно встретил Алеся Рязанова. Короткий разговор, но памятный:

— Здорово, Алесь. Целую вечность не виделись.

— А сколько вечностей у человека?

— Бывает, миг — вечность, а бывает жизнь — миг...

— Твоя правда, Владимир, свою жизнь измеряем сами, как кто хочет.

— Напиши, Алесь, что-нибудь для «Вясёлкі».

— Понимаешь, Владимир, у меня две проблемы: не пишу мемуаров и ничего пока не написал для детей.

— А все большие писатели детей не обижали...

— Как стану большим, обязательно напишу. И прежде всего для читателей «Вясёлкі».

Разошлись. На душе — легкая праздничность.

Голове заснеженной некогда гулять, отдыхать.

Сегодня в Театре музкомедии — творческий отчет школы, дети которой играют в моем спектакле «Приключение в замке Алфавит». Они — певцы, танцоры, комедианты, трагики-драмики...

Дети — гении, если с ними работают таланты.

Они только сегодня Дети. Завтра — народ Беларуси.

Сегодня — мы рядом. Завтра — кто-то будет разыскивать нас в архивах.

Надо спешить жить на земле. И постоянно быть в небесах вдохновения.

* * *

«Комсомолка» огорошила новостью: у восемнадцатилетней ереванки на руке два года росли кактусовые колючки.

Тайну разгадали медики и ученые. Когда-то Надина укололась кактусом. В ранку попали споры растения. И прижились. Нахал-кактус прилип к девушке. Не бывает ли так в жизни людей, когда создаются семьи?

* * *

Мои автюковцы утверждают: «Кушай сало, чтобы душа танцевала».

* * *

Афоризмы Петра I, которого учил в детстве наш Симеон Полоцкий:

«Не добро есть брать серебро, а дела делать «свинцовые».

«Если несчастья бояться, то и счастья не будет».

«Когда огонь находит солому, то он ее пожирает, но как дойдет до камня, то сам собою угасает».

Петр I бывал в Минске, Полоцке, Гродно, Орше, Могилеве, Быхове, Кричеве, Чаусах, Слуцке, Каменце...

Вот бы обо всем этом написать!

А еще — о Меншикове. Пушкин о нем: «Меншиков происходит от дворян белорусских — он отыскивал около Орши свое родовое имение...»

* * *

Заметил: часто просыпаюсь в три, четыре ночи. Пройдусь по комнате. Попью воды. Брошу взгляд в темень окна.

Подумаю о Боге, прошу внукам, детям, жене здоровья, себе — терпения и вдохновения.

Говорят, середина ночи — самое короткое расстояние к Богу. Может, Он будит меня для исповеди?

* * *

Был в солигорском детдоме. Читал сиротам сказки, веселил. А в конце этого веселья в детдом нагрянули местные ревизоры из Энергосбыта. Приехали отключить в детдоме свет. За неуплату по счетчику.

Что делать сиротам?
Куда спрятать глаза нам, взрослым?

* * *

В Смолевичской школе имени В. Ф. Купревича познакомился с учительницей Ириной Ларисовной. Отец — Ларис. Редкое имя. Кто придумал?

Она сама рассказала:

— Когда мой отец родился, крестные понесли его, ребенка, в Церковь. И записали — Лариса. То ли подзабыли, что мальчика несли крестить, то ли залишне охмелели?..

Что делать? Не крестить же заново?

В документе подтерли последнюю букву «а», поставили ударение на первом «а». Так получилось редкое имя мальчика — Ларис.

А его дочь — учительница Ирина Ларисовна.

* * *

Имел счастье побывать в Автюках. Увиделся со своим Конем.

Признаюсь: на первом фестивале юмора в Автюках я получил главный приз — вороного необъезженного коня. Подарил его ученикам Великоавтюковской школы.

Дети исполняют мой наказ: фестивальный конь помогает старым, немощным людям. Бабе Варке дрова завезли. Бабе Ольке — шифер. Бабе Анне — навоз на сотки вывезли, огород вспахали...

Автюковцы ласково называют своего помощника — конь Липский.

Однажды конь вырвался на волю. Прибегает первокласник к конюху Мицуле с тревогой:

— Дед, конь Липский на фестиваль убежал.

А у него и действительно одна дорога — к дубам-богатырям, где проходил праздник юмора, где было очень людно и весело.

* * *

Есть люди по гороскопу зороастрийскому — Лисы. Они хитры, льстивы, умеют выйти сухими из воды. Они — актеры, всю жизнь — на сцене.

Гороскоп предупреждает: если вокруг вас завелись «лисы» — будьте с ними осторожны.

* * *

Дома!!!

Хочется спокойствия, тишины, уюта, ненасилия, беззаботности. Что это: усталость, старость, мудрость? Что это: зима весной или снег на зеленом лугу?

Чувство райского наслаждения.

Душевный праздник под высоким небом выходного дня.

Боже, пусть так будет чаще!

Читаю про тайную канцелярию Петра I. Книгу написал Семевский Михаил Иванович, который родом был из-под Минска. Учился в Полоцке. Историк, архивист, публицист, писатель. Жил, работал в девятнадцатом столетии.

Завидую: он, считай, одним из первых читал секретные архивы тайной канцелярии Петра Великого. От этих текстов волосы дыбом встают. На площади, перед царским дворцом, казнят любовницу Петра. Она падает перед ним на колени. И царь как бы смилостивился: дал команду отрубить голову не простому,

а самому опытному палачу. Отрубленную голову поднял, поцеловал, приказал заспиртовать...

Что откроют людям архивы нашей современности этак лет через двести?

* * *

Для чего в природу приходит Весна?
Может, чтоб напомнить: не надо выживать, а надо жить сегодня?
Может, чтоб придать нам силы, вдохновения и надежды?
Может, чтоб мы возвысились над стыдом и бессилием?
Может, чтоб почувствовали себя людьми?..
Весна! Спасибо, что ты приходишь к нам на свидание!

* * *

Небо собирается плакать.
Небу хочется, чтобы и мы на земле посочувствовали ему.
А я не хочу слушаться неба. Мне весело.
И от этого дождь становится ласковым, щекотливым, дружеским.
Боженька, спасибо, что осчастливил под грозовым небом.

* * *

Если двое, он и она, зачинают нового человечка, то в тот момент они вне себя от чувств. А природе уже тогда известно, кто у них будет — мальчик или девочка.

Через две недели под сердцем у будущей матери уже человечек-горошинка.

На семнадцатый день у него начинает биться собственное сердце. «Горошинка» умеет открывать ротик. Она уже знает, что первым скажет слово «мама».

Через пять недель у ребенка начинают расти пальчики. Ими он будет ласкать маму.

На втором месяце под маминым сердцем у ребенка растут на головке волосики. Человечек начинает немножко видеть...

И вдруг мама идет делать... аборт. Что это, узаконенное убийство? Групповое преступление? Разбой среди белого дня? А их — тысячи в год...

Опомнитесь, люди!

Как отмоемся перед Богом?

* * *

Из Слуцка ко мне на прием приехала бабуля. Обижена на дочь: не разрешает встречаться с внуком Андреем. Диво дивное! Но дело дошло до суда.

Каких только узлов не завязывает жизнь в наших семьях! Завязывают сами, а хотят развязывать чужими руками.

Люди милые, укротите свои эмоции, амбиции, гнев и дурость. Ради детей наших помиримся, перекрестимся. Давайте помнить: дети — Божьи посланники на земле.

* * *

Иду на работу, как домой.

Иду домой, как на работу...

Между этими «ходками» — радость жизни, взлет души, встречи и... безвалидольное сердце.

Чтобы описать все, что успел сегодня сделать, — повесть. От чувства, что я нужен людям, взмываю на космический Млечный Путь.

* * *

Первого июня отмечаем Международный день защиты детей. От кого защищаем наших детей?

От родителей-пьяниц.

От преступной улицы.

От зверства однолеток.

От Чернобыля.

От беспомощного медика.

От равнодушного учителя.

От бездуховного чиновника.

От бескультурья...

Детки наши! Как найти для вас то крыло, под которым вам было бы уютно?

Ясно одно: детям нужен не день защиты их прав, а каждый день человеческого внимания.

И если нарушаются права детей, то это значит, что взрослые не выполняют свои обязательства перед детьми.

* * *

Утром встречаю в парке Горького здоровенного человека. Форменный бугай. Плечи — на двадцать пять половиц. В ширине, что снизу, что сверху — одинаково.

Махает руками, ногами, крутит шеей — здоровье добывает. Лицо какое-то окаменелое, неприятное.

Для чего дышит свежим воздухом?

Почему топчет росную траву?

Неужели, чтобы творить добро?

Вытирать чужую слезинку?

Нет, этот, чувствуется, такого не умеет.

Представил: он придет в кабинет, сядет в черное кресло и начнет отрыгивать свои решения: «Не могу», «Нельзя», «Запрещено», «Не положено».

Роса-росинка, обожги ему ноги.

Парковая ворона, обкаркай его.

* * *

Признаемся друг другу: время летит, как остановить его?

Ну как, скажите, остановить Землю, которая вращается вокруг своей оси и летит по своей орбите?

Если космонавт тормозит свой корабль, начинается спуск, конец полета.

Успокоим себя, и пусть все будет так, как задумал сам Бог.

И как нам самим того хочется.

Хочешь быть счастливым — будь.

Хочешь кусать себя за хвост — кусай.

Хочешь радоваться — живи с оптимизмом.

Давайте не выживать, а жить!

* * *

В Мурманске познакомился с поэтессой Мариной Чистоноговой. Вместе выступали на литературном вечере. Она подписала мне свою книгу «Цейтнот». Многие стихи будоражат душу.

Марину можно переименовать из Чистоноговой в Чистосердечную. Хорошо, когда «чистые» стихи поэта соответствуют его чистой душе.

* * *

Хочу! Всего хочу!
Хочу бокал весеннего тепла.
Хочу одиночества и тишины.
Хочу солнца и дождя, росы и тумана.
Хочу соловьиных трелей.
Хочу ловить рыбу и мечтаю о золотой рыбке.
Хочу читать чужое и писать свое.
Хочу любить и ненавидеть.
Хочу не видеть и не слышать... беду.
Хочу быть нужным кому-то.
Хочу Божьей ласки...

* * *

Если боль наших детей твоей не стала, то зря прошла жизнь.

Эту мысль выстучало мое сердце. И не сегодня. А сегодня запеленговало ее в тысячный раз.

* * *

В шесть утра три вороны уселись на домик соседа-дачника и каркают.

Может, хозяина вспоминают, поминают?

Может, голос прочищают?

А может, представили, что они соловьи?

Но каркают так старательно, аж хвостами подпирают небо, а клювами упираются в шифер...

* * *

У Анатоля Гречаникова есть строка:

— Еще я належусь на спине...

У Василя Зуенка запомнилось:

— Хочешь жить — готовься к смерти...

У каждого человека — своя жизнь.

У поэта — своя строка.

У птицы — своя песня.

Жизнь, судьба, песня, строка — у каждого все свое, неповторимое. Если подвернется говорить тост, скажу:

— За свое у каждого!.. И за тех, кто пробивается через асфальт!..

* * *

Человек живет в доме.
Трясогузка — под крышей.
Паучок поселился в углу потолка.
Муха облюбовала окно.
Бабочка села на люстру.
Всем хорошо!
Влетела в дом хозяйка.
Давай паучка выгонять.
Давай за мухой гоняться.
Давай бабочку ловить.
Давай птицу стыдить, что подоконники «подкрасила».
За что-то перепало и человеку, который сидел на диване и о чем-то думал.

Поднялся человек и сам вышел из дома. На волю, где теперь живут птица, паучок, муха и бабочка.

* * *

Небо — высокое и низкое, солнечное и хмурое.

Горы — высокие и недоступные, снежные и зеленые.

Должности — денежные и «голодные».

Жилища — коммуналки и коттеджи.

Трава — первый укос и отава.

Человек — высокий и низкий. Но что интересно, низкий может быть выше высокого, а высокие — глупее всех низких.

Человек, знай свою высоту, свой рост!

* * *

Любовь — Божий поцелуй.

* * *

В республиканской газете на первой полосе: «Шестилетняя девочка вышла погулять на улицу и не вернулась. Ее нашли неживой и изнасилованной на техническом этаже дома...»

Ищут зверя. А он где-то в людском «лесу» отдыхает, глушит водку...

Дикарь! Зачем очернил род человеческий?

Палач! Как можешь ходить по земле?

Гнида! Есть ли тебе оправдание?

Животное! На твоих костях, когда сдохнешь, вырастет горькая полынь.

Дай Боже, чтобы ты хотел пить, а вокруг не было воды. Чтобы ты ежеминутно бегал в домик с двумя нулями. Чтобы ты ежечасно просыпался в поту и боялся грома. Чтобы ты всего хотел, а ничего не лезло в твое горло...

Боже, прости за проклятие.

* * *

Автюковское пожелание молодым на свадьбе:

— Живите счастливо, чтоб куры с вас не смеялись. Живите на зависть завистникам. Пусть будет у вас много деток. И ни одного червивого!

* * *

Кудреватый туманок стелется над Белым озером. Готов взлететь в чистое, высокое небо.

А рыбы бесятся, не отпускают его из своего царства. Подскакивают, хватают за льняную бороду.

Вокруг озера по стойке «смирно» замерли сосны. И я, очарованный, стою на берегу, не свожу глаз с небосвода, оттуда вот-вот вынырнет солнце.

Торжественная тишина.

И, о Боже, Королева Неба, властительница жизни на земле, поднимает свою корону над лесом и озером.

Позолотился, танцует небосвод. Танцуют рыбы, и я забыл, что пришел их ловить.

Просыпайся, Люд, новый день пусть будет люб!

* * *

Как жить, чтобы была радость от жизни?
С высоты заснеженной головы радость видится вот в чем:
Когда с аппетитом кушаешь,
Когда ляжешь спать и крепко спишь,
Когда ходишь туда, куда сами ноги идут,
Когда глаза не устают от красоты,
Когда смеешься на все тридцать два зуба,
Когда плачешь от приятного,
Когда доволен тем, что имеешь,
Когда не спотыкаешься на ровном месте,
Когда ты нужен людям,
Когда дети тебя не обижают,
Когда тебе хорошо под дождем,
Когда в ладах со своей душой и совестью,
Когда есть хлеб, к хлебу, и ты это все сам заработал,
Когда придерживаешься Божьих заповедей,
Когда не устаешь делать добро,
Когда живешь сегодня с надеждой на завтра...

* * *

Ловить окуней на Нарочи очень просто. Отплывай на лодке от берега. Бросай якорь. И закидывай удочку.

А теперь главное: отрывай взгляд от поплавка и начинай любоваться берегом, белыми парусами зданий, нарочанскими соснами, воспетыми Максимом Танком. Посмотри на озерный голубой ковер. Щука гоняет плоток, верховодку...

Вдруг бросаешь взгляд туда, где был твой поплавок, а его нет, побежал вглубь Нарочи. Эх, рыбачок, тяни к себе! Вот и встретился с окунем, говоришь ему:

— Здорово, браток!.. Не волнуйся, поживи немного в моем красном ведерке. Если был бы золотой, отпустил бы, а так извини, браток...

Вот и началась рыбалка. Меня называют удачливым рыбаком. А какой я рыбак? Я просто любовался Нарочью, а матросы-окуни сами летели ко мне, чтобы увидеть чудака-рыбака.

* * *

— Маша, ты куда идешь?

— На пляж.

— Что там будешь делать?

— Работать.

Все идут загорать, лежать, а Маша — работать. С ведерком, игрушками идет. Будет из песка печь торты, булки и показывать своим куклам Нарочь. Спасибо, Маша, за урок. И я пойду колдовать над чистым листом бумаги.

* * *

Читаю дневники Максима Танка. Пишет, как в нашем Союзе писателей принимали Расула Гамзатова. Весь вечер в ауре мудрого и веселого горца. Максим Танк после застолья одним предложением оценил встречу: «...с классиком можно говорить только о нем самом».

Еще прочитал рассказ Андрея Федоренко «Помарак» («Умопомрачение»). И позавидовал мастеру. Таких Евок и Антолей, как у него, много в наших соста-

рившихся деревнях. И я их знаю. А героинями рассказа их сделал талантливый Андрей Федоренко. Поздравляю, друг, и дай Бог тебе долголетия!

Взволновала «Исповедь» Ларисы Гениюш. Поздновато открываю для себя мудрую писательницу, честного человека, великую мученицу за Отчизну нашу Беларусь.

Успокаиваю себя тем, что я не последний открыватель Ларисы Гениюш. Ее примут и наши далекие потомки. Радуюсь за Ларису Гениюш.

Кто-то из великих обронил: «Не читай хороших книг. Жизнь коротка. Читай лучшие».

* * *

Звездное небо. Боже, сколько же ярких фонариков на черном зонтике неба! Никто и никогда всех не сосчитает.

Неужели это далекие планеты?

И я, земной человек, вижу их сразу тысячами. Если там есть живые, умные существа, то они, видимо, сейчас видят мою Землю и меня на ней.

Я всматриваюсь в звездных братьев, а они, перегнувшись со своих планет, рассматривают меня, земного. Если звезд тысячи, миллиарды, то сколько же глаз изучают меня? От этой мысли хочется спрятаться.

* * *

Свой стих Ирка Лемешенок из Могилева назвала «Долгая ночь». Она никогда не стояла на своих ногах, а ночью мама переворачивает ее на другой бочок. Сама не может...

Черной птицей ночь пришла,
Лучи солнца унесла.
И закат уже на небе
Огоньком подался вдаль,
Птица-ночка улетела,
Позабыла свою шаль...

Ирина сочиняет стихи. Рисует дивные картины, мечтает поправиться, стать на ноги. А мама и папа знают, что ее болезнь неизлечима. Она родилась в год аварии на Чернобыльской атомной электростанции.

Чем и как помочь талантливой Ирине?

* * *

С неба на землю — дождь, снег, лучи солнца, сияние луны, звезд.

С земли на небо — просьбы, проклятья, молитвы, надежды...

Равнозначно ли?

* * *

Позвонил Янка Брыль. От слов Ивана Антоновича похорошело на душе:

— Читал, Володя, вашу книгу «Я» — про родословную. Поздравляю! Я, к сожалению, знаю свой род только до деда, который купил землю у Наркевича-Едки. У меня есть купчая...

День мой состоялся. Из-за звонка, из-за купчей Брыля. Из-за того, что я люблю этого Человека и Писателя.

* * *

Весна — детство, лето — молодость, осень — зрелость, зима — старость.

В природе, к счастью, все повторяется.

В жизни людей, к сожалению, все неповторимо.

Не пропустить бы чего?

* * *

Писать дневник — заставлять душу трудиться.
И как здесь не вспомнить Николая Заболоцкого:

Не позволяй душе лениться,
Чтоб воду в ступе не толочь,
Душа обязана трудиться
И день и ночь, и день и ночь!

* * *

Стоим в глубокой печали у могилы Василя Витки. Мысли и память с ним, нашим учителем, который проложил дорожку каждому из нас в «Вясёлку». А каждый из нас — это я, Тамара Тарасова и два Миколы — Малявко и Чернявский.

На травяном безмолвном погосте расстилаем «Звязду», открываем «Два бусла».

Живые никогда не могут понять, что их ждет своя земляная горочка. Разум подсказывает, а душа не воспринимает такой перспективы.

Договорились: будем ездись сюда в светлые и грустные дни — на исповедь, за советом и сочувствием, в день рождения удивительного Сказочника, нашего веселковского родителя.

Хмурым было небо. Накрапывал дождь. И вдруг солнце улыбнулось. Кажется, и оно поддержало нас. И посветлел на портрете улыбчивый Василь Витка.

* * *

Орел с куриными крыльями.

Смешнее не бывает.

Такого или жалеть, или проклинать. Любить его он сам не позволит...

* * *

Он, как Христос, благородный и лучистый, вышел к нам в торжественный зал и начал говорить:

— Вы совершили подвиг милосердия!..

Был это — святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексий II.

А мы — девять его избранников, которым он решил вручить ордена. Сидим завороженные, ловим каждое его мудрое слово, рассматриваем его самого, величавого и такого милого.

Святейший вручил и мне высокую награду за дела милосердия — орден святого благоверного Царевича Димитрия — Московского и Угличского чудотворца.

Боже, дай силы не упасть от волнения.

Боже, дай мужества не рассыпаться от радости.

Боже, помоги отблагодарить всех, кто привел меня к этому высокому признанию.

Боже, помоги мне и дальше идти навстречу чужим бедам, детским слезам и принимать чужое горе на себя.

* * *

Кто же такой Царевич Димитрий, портрет которого из ростовской финифти украшает мой орден?

Димитрий — сын русского царя Ивана Грозного и Марии Нагой. Родился 19 октября 1582 года в Москве, был убит 15 мая 1591 года в Угличе. Прожил 8 лет

и 7 месяцев. Ему было два года, когда умер его отец, царь Иван Грозный. В том же году его с матерью сослали в Углич. Бояре боялись его, малолетнего, чтобы не помешал им захватить власть. Ох и грязная эта «девица» — власть!

Неожиданное и жестокое убийство Царевича Димитрия всколыхнуло людей Углича. Вспыхнули волнения. Жестоко наказывали всех, кто осмеливался заступиться за царевича. Вел дело боярин Василий Шуйский, который и захватил царский трон.

Впоследствии мать Димитрия отправили в монастырь.

Всех подозрительных посадских людей вывезли «на житие» в Сибирь.

Был наказан даже церковный колокол — свидетель и участник народного бунта. Он признан «виновным» в призыве народа к восстанию. Ему, колоколу, отрезали «уши» и выдернули «язык». Выслали в Тобольск за то, что «бил в набат при убиении благоверного Царевича Димитрия».

Колокол вернулся в Углич только через триста лет. Теперь он — музейный экспонат, свидетель далекой и страшной истории.

* * *

В природе — Покрова.

В молодежном театре в Москве — торжества по поводу юбилея Детского фонда.

И наша, белорусская, делегация в праздничном зале. Рядом такие знаменитости — Сергей Михалков, Альберт Лиханов, Иосиф Кобзон, Валентина Толкунова, Наталья Дурова, Владимир Шаинский...

Идет приятный разговор о рыцарях Детства, искренних защитниках детей, о благородных делах милосердия.

Люди! Делайте детям добро!

Это — в выступлениях, песнях, музыке, которые целый день звучат в молодежном театре.

Пусть этот лозунг, этот сигнал «SOS» разбудит всех взрослых!

* * *

Над землей — тучи, пасмурно, уныло.

За тучами — солнце. Оно — властелин Неба. И я начинаю верить, что с высоты ему видно все. Виден каждый человек. Значит, мы — под присмотром солнца, оно, как рентгеном, просвечивает нас. А может, с той загадочной высоты смотрит на нас не просто солнце, а Бог? Может, Он и есть само Солнце?..

* * *

Працаваць умелі,
Піраваць умелі,
Паміраць умелі,
А не ўмелі жыць...

Это строки моего любимого поэта Пимена Панченко. Под Божью диктовку он записал этот стих в 1972 году.

А я под ним подписываюсь и теперь.

Под ним подпишутся люди и в следующем столетии.

Это открытие поэта — нам всем и осуждение, и наказание, и предупреждение. И так будет до тех пор, пока не научимся «людзьмі звацца», как сказал наш национальный гений Янка Купала.

* * *

Жизнь человека — в трех измерениях: вчера, сегодня, завтра.

Сегодня я живу еще и тем, что было вчера. Значит — прошлым.

Сегодня я мечтаю о том, каким будет завтрашний день, значит, живу будущим.

Так что же получается? Сегодня я живу вчерашним и завтрашним. А когда буду жить сегодня: утром, в полдень, вечером, ночью?..

Боже, научи меня жить сегодня.

* * *

Жизнь — дар Божий.

Береги этот дар, Человек. Оправдай его.

Выбирай сам себе дорогу — в рай или ад?

В рай дорога узкая, трудная.

В ад — широкая, легкая.

Выбирай, не ошибись...

* * *

Играем с Машей на первом снегу. Выверяем следы, «печем» из снега колобки. Бегаем. Смеемся. И вдруг Маша говорит:

— Дедушка, какой ты добрый!

Как стоял, так и опустился в снег. Спасибо, родная, что посадила меня в первый снег, потому и запомню его.

* * *

Какие только новости не прочитаешь в современных газетах!

В слоях льда нашли человека. Он пролежал в «морозилке» пять тысяч лет.

Исследовали мозг нашего далекого предка. Английский медик Малькольм Герт объявил, что часть серого вещества... искусственная. Так что, древнему человеку делали операцию по пересадке мозга?

Мы теперь этого не умеем делать.

Что же получается: свой отсчет мы ведем не в продолжение прогресса, а с какого-то ноля? Так что это за «ноль»: великий потоп, космическая катастрофа, земная авария?..

Что нас, человеческих муравьев, ожидает завтра? От этого холодеет сердце. Может, правильно поступают те люди, которые не читают газет?

* * *

Влетел на орбиту жизни ноябрь. А у белорусов — лістапад.

Парашютиками опускаются на землю листья. Шелестят под ногами, будто нашептывают о приходе холодной осени.

Так и в жизни. Отлетают в прошлое дни-листки и напоминают нам о наступлении осени жизни.

* * *

Читал судебное дело о том, как отец изнасиловал трехлетнюю дочь.

Что сказать после этого?

Зверье мы, а не люди, если среди нас есть такие моральные уроды.

Преступники мы сами, если даем вырасти среди нас таким мерзавцам.

Нет нам оправдания на Божьем суде, если такая нечисть ползает рядом. А мы не видим ее, не хотим видеть.

Люди, давайте ужаснемся в страхе перед нашим будущим.

* * *

Единственное, чего требует моя душа: не жить, как набежит, а жить, как хочется душе.

* * *

Маша просит:

— Дедушка, погуляй со мной.

— Маша, мне нужно идти на работу.

— Нет, ты погуляй со мной вот столечко (показывает маленькое расстояние между пальчиками).

Снимаю пиджак, галстук. А что главнее: заботы обо всех детях или любовь к одному ребенку?..

* * *

Виделся, здоровался, жал руку самому Василю Быкову.

Слушал его речь в Доме дружбы. Говорил Василий Владимирович о том, что нам, белорусам, надо как-то помнить и тех немцев, которые сложили свои головы в сороковых годах на нашей земле. Это предлагал человек, который чуть не погиб от тех немцев...

Нет сегодня среди нас Василя Быкова, Максима Танка, Ивана Шамякина, Андрея Макаёнка, Аркадия Кулешова, Пимена Панченко, Евдокии Лось, Анатоля Гречаникова, Ивана Чигринова, Бориса Саченко, Павла Ковалева...

Грустно и одиноко, нет на земле людей моего сердца.

Невосполнимы утраты.

Как помельчал мир без них...

* * *

Встречался с Анатолем Кудравцом. Каждая встреча — праздник. Есть же люди, которые носят с собой атомную мини-станцию. Могут подпитывать ею и свою жизнь, и настроение друзей, и возвышать человеческие встречи до космических высот.

Анатоль, знай, друг, мне очень любо твое слово, твоя походка, твой литературный почерк. А твоя первая книга «На зеленой дороге», признаюсь, вдохновила и меня на нечто большее, чем просто журналистика.

И только недавно на моей библиотечной реликвии появился автограф Анатоля Кудравца: «Уладзіміру Сцяпанавічу на добры ўспамін пра сумесныя Зялёныя дарогі».

* * *

На одном дыхании прочитал дневники Янки Сипакова. Его жизненная мудрость, душевная красота и легкость пера — лечебный родник. Как бы вспомнился вкус маминого молочка. Как бы росы попил. Как бы подержал в руках солнечные лучи, искристые снежинки.

А вот эти Янкины строки записываю в свой дневник. Они близки мне: «Неожиданно открыл для себя то, что, кажется, всегда лежало на поверхности, и что уже открыто, не нужно открывать: «Уладзимир» — гэта ж «Уладзи мир». «Уладь мир!»

Спасибо, Янка, за подарок.

* * *

Понедельник.

День после выходного, воскресенья.

В этом слове есть основа «дельник» — дело, делать. Кончай дурака валять, пора за дело браться. Может, потому понедельник и вошел в автюковский народный юмор.

Жених предлагает невесте: «Давай, Калинка, встречаться интимно в те дни, в которых есть буква «р». — «Давай», — соглашается невеста. Автюк перебирает дни, когда они будут встречаться: «Вторник, среда, четверг, воскресенье». И с облегченной радостью пропускает понедельник, пятницу. Молодая резко останавливает его и дополняет сексуальные дни: «Понедрельник, прятница!»

* * *

Принимал в Детском фонде заплаканную минчанку. Ее исповедь — это повесть.

Жили-были муж и жена. Жили вместе двенадцать лет. Нажили дочку и сына.

Однажды муж ушел на чужие подушки, к чужим детям. Жена осталась в квартире со свекром и свекровью.

Тут все и началось.

Муж из квартиры не выписывается, а его родители, хотя и получили новое жилье, не собираются оставлять свои метры в старой квартире.

Чем закончится несправедливость?

Кем вырастут брошенные отцом дети?

* * *

Из дневников Максима Танка хочется выписать и запомнить его мудрость — откровение:

«Если конь не тянет, погонять надо не коня, а себя».

«Бесконечные пленумы, заседания, собрания заменили все наши личные контакты, в результате чего началось массовое одичание».

* * *

Наши далекие родичи так оценивали прожитый год. Вспоминали дни и бросали в одну сторону светлые камушки, в другую — темные. Сколько светлых камушков, столько было счастливых дней в году.

При всей сложности жизни, при всей неуверенности в завтрашнем дне свидетельствую и признаюсь: все дни года для меня — светлые, желанные, в радость!

Завидуйте, завистники.

Радуйтесь, друзья.

Колосок, говорю себе, будь здоров!

* * *

С третьего столетия дошел к нам афоризм:

«Пусть завтра полюбит тот, кто никогда не любил, и тот, кто любил, пусть завтра полюбит».

Пусть так будет у моих друзей, родных, у моих врагов и начальников, у детей и внуков.

Желаю этого же себе и жене.

* * *

«Убегаю» из Детского фонда в «Вясёлку», чтобы успокоиться от бесконечных просьб, слез, бед, горестей и обид.

Убежал.

Ну и что?

Позвонила мама-сирота и просит помочь устроить ребенка на обследование «к самому лучшему психиатру».

Поступил сигнал: девочка в семье голодает, а мать в загуле.

Дверь в редакцию нашел дедушка: внук не может глотать, таким родился, как быть?

В почте — два письма с рассказами на мое имя. Авторы хотят услышать мое слово об их творчестве.

Убежал, называется, от проблем. И с ними же встретился. Отдыхай, дружок, со стенокардией.

* * *

Можно заказать блюдо, костюм, книгу.

А вы закажите на завтрашний день погоду. Пригласите в душу природную радугу. Прикажите, чтобы пришла к вам любовь.

А дудки, а фигу не хотели?

Можете заказать земное, а небесное, возвышенное — только от Бога. А он, мне кажется, не любит заявок от самоуверенных дураков.

Будто все знаем, а на самом деле?

Меня все чаще посещает мысль, что я ничего не успел в этой жизни, ничего не знаю.

Не знаю, сколько будет гореть моя свеча.

Не знаю, будет ли завтрашний день праздником.

Не знаю, споткнусь ли на асфальте.

Не знаю, обрету ли то, чего желаю.

И все же вера и надежда не покидают меня. Как же иначе?

* * *

Был в детском ожоговом центре. И сердце мое обожглось болью и тревогой.

Детки мои дорогие, за чьи грехи вы попали в это страшное больничное отделение?

Родные мои, не обожгитесь злобой на всю оставшуюся жизнь.

Светлые мои, выйдите из этой больницы здоровыми и больше никогда-никогда не попадайте сюда.

Я был в больнице с подарками, с игрушками, с Дедом Морозом и Снегурочкой. Дети развеселились А моя душа до конца дня рыдала и выстукивала признание: «Детки, в беде я ваш донор сегодня, завтра и всегда».

* * *

Радуга зимой. Редкость?

И я бы не поверил в это чудо, если бы не был редактором детского журнала «Вясёлка» больше трех десятков лет.

Под Новый год мы обычно делаем мартовский номер. Весенний!

Вот и получается, что наша «Вясёлка» — весенняя круглый год. Под ее разноцветьем поверил уже при жизни, что я счастлив.

Хочется жить! Боже, не дай устать! Боже, дай Завтра!..

Перевод с белорусского автора.

КИРИЛЛ МЕЛЬНИК

Феномен Савицкого

Прошло восемь часов с момента двухчасового разговора с Михаилом Андреевичем — это незабываемое событие в жизни. Его взгляд — острый, орлиный, пронизывающий, одухотворенный. Его изложение мысли, работа слова — не хуже, чем у первоклассного писателя.

За эти два часа перед моим душевным взором прошла почти вся его жизнь. И после концлагеря это была борьба, жесточайшая схватка.

То ли Эккерман, то ли еще кто-то сказал о Гете, что в нем было величие. То же могу сказать о Михаиле Андреевиче.

Я спросил, что он думает о своей «коммунистической» живописи, он ответил: «Это суровый стиль». Наверное, эти слова можно отнести ко всей его жизни — суровый стиль.

И в этой суровости его сила, его победа. Суровость орла — гордого, независимого, с размахом крыльев в полете два метра.

Запомнились его слова, что трагедию войны никто так и не выразил в живописи. Еще он сказал, что люди не просто воевали, а жертвовали собой.

Какое же это было чудо — слышать и видеть его жизнь, залитую внутренним светом. Я почувствовал, что в Савицком есть что-то такое, высокое, что вызывает любовь и успокаивает.

3 июня 2004 г.

Застал Михаила Андреевича за обедом. Аскетичный человек — довольствуется бутербродами, прямо около мольберта.

Разговор зашел о двух моих портретах. Глядя на один из них, он прежде всего спросил, кто она мне. И уточнял мой ответ, как будто чувствовал, что в пронизывающем взгляде девушки было нечто большее, чем просто внимание.

Мы подошли к мольберту, и разговор зашел о его картине (тройной портрет — Сталин, Рокоссовский, Жуков. Ангел в левой стороне картины держит над двумя маршалами венок, Сталин поодаль справа).

— Они сделали победу. Сталин — гений.

Он вспомнил высказывание Сталина: «От нищеты и разрухи до человека в космосе». Первый космический полет был выполнен всего через восемь лет после смерти Сталина. Страна, которая дала Байконур, все-таки была под руководством Сталина.

Вспомнил, как на каком-то заседании или банкете он видел Сталина.

— Грузин, грузинского в нем было больше, чем это кажется на фотографиях. Нос длинный, как у вас (у меня, то есть; простите шутку).

— У меня не очень длинный.

Рассказал анекдот. Сталин говорит:

— Товарищ, если вы будете обижать товарища такую-то, то я вас повешу.

— За что, товарищ Сталин?

— За шею.

Затем я спросил:

— Чувствовалась тогда, когда вы видели Сталина, его мощь диктатора?

— Да, Сталин — гений.

Потом я показал свою последнюю трагедию «Так идут к звездам». Он остановился на строчках: «Малое количество личностей — вот актуальная проблема славянского этноса».

— Нет. Вы знакомы с наследием Лосева? — спросил он.

— Алексея Лосева? Да, конечно.

— Лосевские труды — гениальное творчество.

Потом вспомнил, как он послал письмо Лосеву с просьбой выслать фотографию, по которой затем написал портрет.

Затем перешли к теме Дали и Пикассо. Савицкий, бесспорно, осмысливал феномен этих людей, причины их всемирной славы. Будучи сам большой величиной, он наверняка невольно соотносил себя с ними. Про Дали сын Савицкого выразился: «Человек, имевший незаслуженную славу. Весь этот миф Дали — все пустой фарс».

После слов Савицкого: «Дали создал о себе легенду», я подумал, что Михаил Андреевич тоже создал о себе легенду, только подлинную легенду большого художника, а не фарс, как в случае с Дали, точнее, не он создавал легенду, а легенда окутывала его. Его духовная сила и благородство получили должное, иначе и быть не могло.

Про Пикассо Савицкий сказал просто:

— Пикассо — все-таки художник.

В конце беседы, после вопроса, есть ли у меня домашние животные, на что я ответил — кот, меня поразило, что у него в доме (отдельном доме) живет 14 собак. Любовь к животным, к живым существам, не приносящим ни боли, ни огорчения, ни пошлости и в то же время не дающим так остро чувствовать одиночество. Его автопортрет с собачонкой — в пальто, с высунувшейся мордочкой из прорези, — одно из лучших поздних произведений. Что-то невыразимо трогательное и в то же время благородное есть в этой паре — восьмидесятилетний художник и собачонка, пригретая на груди.

31 июля 2004 г.

Разговор начался с обсуждения моей работы «Вид Земли с космического полета».

— С чего это вы такой темой занялись?

— Хочу роман про современную космонавтику написать, уже больше чем полгода занимаюсь этой темой. В науке это называется небесная механика. Решил воплотить в живописи.

— Живопись — это человеческие отношения и отношение художника к явлениям, космос же — область науки.

Суждение, похоже, верное: космос — это наименее человеческая из всего возможного область. Даже техника, включая самые фантастические формообразования, — все это все равно человеческое. А от мира астрономии и космологии веет леденящим холодом (слишком разные масштабы человека и космических явлений). Да, где-то Савицкий прав, но...

— Но фотография никогда не даст того, что я изобразил на полотне. Формально я организовал изображение, привел воздушные массы и свет в гармонию, так что эта картина принадлежит не только к области науки, но и человека. Во всяком случае, такое не часто увидишь. Да и никакой космический центр не вышлет мне такого качества и формата снимков.

После передал лист — «Размышление о “Партизанской мадонне” (Минской) Савицкого» следующего содержания.



Открытие выставки художника. 2000 г.

Перед зрителем изображение на холсте — особое измерение, отличное от реальности и фотографического отображения, все здесь, как и во всяком большом творении живописи — символ, метафора, и само измерение «Партизанской мадонны» — это измерение войны. «Воздух» в картине не просто смесь азота, кислорода и угольной кислоты, а воздух войны, воздух сорок первого. Реальность мировой войны, прошедшая через чуткую душу художника. Картина — своего рода квинтэссенция жизни партизанской земли. Здесь все — от младенца до старца.

Если вы хотите понять, что чувствовали крестьяне летом сорок первого, то всмотритесь в это полотно. Жизнь, потревоженная громом надвигающейся мировой трагедии, и страшное волнение, приведшее в движение людей, — вот что на полотне Савицкого. Красавица мать с прекрасным младенцем, напоминающие Богоматерь с Христом, под грозовым небом, под угрозой смерти, под угрозой зверств и страданий — вот что доведено до крайнего напряжения в картине. Может быть, ни в каком другом полотне в истории живописи отвращение к войне не выражено с такой силой. Здесь именно не ужасы, не ярость и гнев войны, а словно звук сирены во время бомбежки, звук, пробирающий до мозга костей, после которого, возможно, будет все по-другому...

Всякий осведомленный человек сразу заметит, что картина перекликается со знаменитой «Сикстинской мадонной» Рафаэля. Думаю, это было своего рода дерзостью — писать «настолько схожую» с известным шедевром картину (и почти в таком же формате). Но картина удалась, и другой, лучшей, она и быть не могла. Это смелость и гордость, с которой Савицкий назвал крестьянку мадонной, старика-отца сравнил с папой римским, а мать — со святой Варварой.

Насчет самой живописи. Общая гармония цвета — восхитительна, соотношение теплых коричневых и телесных с холодными оттенками — великолепно, холодный оттенок тела женщины, румянец на лице — удивительны. Изображение складок одежд, земли и неба, как почти везде у Савицкого — полуреалистичное (чем-то напоминает Эль Греко). Одежда — не только складки, но и, так сказать, душевное волнение. Земля и небо тоже наполнены «живой вибрацией». И именно этот «тревожный» стиль соответствует теме картины.

В 1978 году родилось подлинное чудо искусства. Тема матери, так сильно звучащая в темной атмосфере войны, — такого еще не было в живописи. Люди, которые знали Великую Отечественную войну, особенно крестьяне, по-своему воспринимали это полотно, другое поколение смотрит на него холоднее, а люди, что будут жить через пять веков... Но и они поймут то, что изображено на этой картине.

— Как вам это показалось?

— Интересный анализ.

Причина создания «Минской мадонны» — случайность. Директор Белорусского государственного музея Елена Аладова как-то сказала Михаилу Андреевичу, что есть резная старинная рама…

— Ну, под эту раму я напишу картину, — ответил он.

Работа велась за закрытыми дверями (вспомнилось, что Шпенглер вешал во время работы над «Закатом Европы» табличку «В отъезде»).

Над словами Савицкого: «Пишу полотно о всей партизанской земле» художники смеялись. В Беларуси картина не сразу была воспринята, и только на московской выставке ее по-настоящему оценили. Сделали какой-то плакат, где были репродукции картин, похожих на «Партизанскую мадонну». На что скульптор Балашева сказала: «Мадонна Савицкого здесь гордо главенствует». Но прежде была создана первая «Партизанская мадонна», тоже одна из особенно дорогих для него картин, которая выставлялась сразу в Москве, где по поводу нее шептались: «Почему мадонна, почему с ребенком, зачем во время войны рожать?»

В картине есть стилистическое сходство с «Петроградской мадонной» Петрова-Водкина.

— Вы думали о ней?

— Эту картину я люблю. Особенного ничего в Петрове-Водкине не нахожу, а «Петроградскую мадонну» люблю.

Первая «Мадонна» осталась в Третьяковской галерее. Беларусь потеряла эту картину, как потеряла и «Поле». А также не смогла достойно сохранить свою «Партизанскую мадонну». Мне было больно смотреть на трещины (картину варварски крутили в свиток). И даже не подумали выставить в музее.

— Расскажите про «Витебские ворота» и «Поле».

— «Витебские ворота» в Минске имели печальную историю, полотно даже заклеивали бумагой, из-за чего чуть не началось судебное разбирательство. Было время, когда картина валялась на полу, кто угодно мог продавить ее ногой, и только когда профессионал из России отвернул ее от стены и сказал: «Это же то, что нам надо», — началась другая история этой картины. Ее отправили в Москву. Оттуда пришло письмо — мне назначали 80 тысяч рублей (в 1968 году за эти деньги можно было купить десять легковых автомобилей. — *К. М.*). Не верил глазам, цифру восемьдесят исправил на тридцать, но выслали восемьдесят. Рассчитался с поджимавшими долгами.

Интересно, как он работал над избранной темой. Что такое Витебские ворота, никто толком не знал. Все попытки узнать, где это и что это, оказались безуспешными. Витебские ворота были артерией для оккупированной территории. Люди, которые переходили через это место, слепли от тяжестей.

— Я решил, пусть это будет проход между двумя холмами, — говорил он.

«Витебские ворота», думаю, — одно из лучших монументальных эпических творений Савицкого. Все здесь так красноречиво, что можно лишь молча наслаждаться полотном. Я же хочу лишь заметить, что солдаты, идущие поверх холмов, — это те самые солдаты, что слепли от усилий, а люди, идущие на зрителя, — это движение к жизни, к спасению, на лицах написана не радость спасения, а только надежда на жизнь, жажда жизни. Красное небо, темный холм позади заснеженной земли создают зловещее пространство, из которого выходят люди. После создания этой картины материальное положение Михаила Андреевича улучшилось — довольно поздно, ему было уже сорок пять. Это не случайная удача, а закономерность. Конечно, его живопись могла остаться и где-то приставленной к стенке. Могли бы не появиться нужные люди в нужный момент. Но верится, что все произошло так, как должно было быть.

Картина «Поле» на выставке в Москве стала главной.

— Что смотреть, что смотреть? Да, кроме Савицкого, и нечего смотреть, — говорили московские художники, а я сидел рядом и слушал, они-то в лицо меня не знали.

«Поле» — это монументальная симфония о главном потрясении XX столетия. В этой картине мысль Савицкого об освободительной войне достигла максимально обобщающей силы и не вышла за реалистическую систему, как в росписи. Внимательно посмотрите на это поле ржи. Да, ощущение большого открытого пространства. А рожь? Нет, в действительности поле ржи не такое, у Савицкого получилось «море». Дело в том, что поле в картине гораздо больше обычного. Здесь целая степь. Рожь Савицкого, простирающаяся за горизонт — это все земли, по которым прошла «черная смерть». А его темно-коричневое небо — это небо над всеми землями войны. Я хочу продолжить сравнение картины с симфонией. Два мертвых солдата как скорбное вступление, далее кульминация — бой, сцепление солдат самое яростное и неистовое — рукопашная схватка. Перед нами короткое, бешеное сцепление двух сил, которые через мгновение станут трупами, и далее тема картины уходит в метафизически черные силуэты солдат. И конечно, динамика картины как бы озвучивает слова: «Выталкиваем, выпихиваем эту грязь». Вот она, речь живописи, свободно выражающая человеческую мысль. То, о чем здесь говорит художник, понятно всем — и русскому, и китайцу, и африканцу.

Вторая мировая война стала судьбой столетия и судьбой Савицкого. Его душа была не там, где сытно и спокойно, нет, его гравитация другая, она — в тех военных годах. Он создавал живопись — немую речь, немую историю, память прожитого, его кисть писала исповедь истории строго, о самом главном. В 1986 году мир облетела весть о Чернобыльской катастрофе. До конца ли нами осмыслен факт, свершившийся тогда? Пройдут века, облик мира изменится, но эти несколько сот километров так и останутся смертоносными.

Михаил Андреевич мне рассказал, что в момент взрыва он находился на даче. И сообщение принял чуть ли не как апокалиптическое знамение.

Прошло несколько лет, и эта черная страница славянской и всеобщей истории получила воплощение в его живописи. Так и должно было быть: сердце большого художника восприняло боль других людей, пропустило ее через себя, а рука создала полотна. Он не надеялся на большие деньги, которые так и не принесли эти картины, он, наверняка, предвидел, что обществу не захочется смотреть вместе с ним в зараженный Чернобыль, и все же написал серию больших полотен.

Наиболее собирательным и монументальным мне показался «Реквием» — песнь для уснувшей вечным сном земли. Как просто и человечно — спустились ангелы с неба, чтобы вспомнить тех, кто здесь жил, и поскорбеть о том, что здесь уже никогда не раздастся радостный человеческий голос. Мне это полотно кажется одним из самых прекрасных в цикле. Именно прекрасным. Это «потустороннее видение». От полотна веет каким-то загробным покоем. А звезды вокруг ангелов — неземные огни с каким-то удивительно красивым свечением. С одной стороны, мы понимаем, — машинная техника, взорвавшийся ядерный реактор, облученные люди, а с другой — ангелы в белых одеждах, поющие скорбную песнь. Вот оно, чудо искусства.

В 1993 году Савицкий написал «Запретную зону». Картина необычна для его стиля. Язык живописи должен был быть полуреалистичным, чтобы донести то, что хотел сказать мастер. Многозначительное название — «Запретная зона». Это запретная, зараженная, недоступная смертным зона, с которой ангел подымается с невинными душами. Поднимаются в рай? Это видение завораживает, особенно ангел — белое с черным, смоляные волосы, крылья, платье и белые лик и ступни. Он с непередаваемой красотой наклонил голову, и кажется, что находится во сне и смотрит «невидящим взглядом». Мазки фона создают впечатление подвижного, динамичного пространства. То, что показано в этой картине, находится за пределом, там — в запретной зоне.

К чуду искусства относится еще и то, что оно стереоскопически показывает то, что в реальности увидеть невозможно, в этом особенное преимущество живописи над фотографией. К душевно надломленной женщине («Чернобыльская мадонна») слетели два ангела и перекладывают на траурное ложе младенца — это не действительность, это мистерия, в которой только одна тема: смерть сына, молодости. Эта картина о всех детях, которых убила радиация, и об их матерях. Композиция лаконична и совершенна, четыре фигуры образуют круг, внимание троих сконцентрировано на младенце, мать словно помогает опустить его, и луна в окне — этот диск придает что-то особенное картине, он или как «остров чистых душ», или как «мертвая планета», но он здесь нужен.

Теперь о «Покинутых». Кто-то сказал: «Я могу завидовать уму, деньгам, но не сердцу». Посмотрите на «Покинутых», на «Кротких» — полотна не ласкают взгляд, в них нет ничего, что могло бы особенно нравиться, но есть одно — незаменимое, существенное — сердце, в них видно сердце Савицкого. Настоящее человеколюбие — любовь не только к силе, к красоте, но и к немощной старости, к нищим и кротким. Или «Плач о земле». Савицкий всей душой сочувствует этим простым людям, это понятно зрителю любой национальности. Если бы не было этого стона, этой гуманности, сострадания, картины недорого бы стоили. Чем-то жутким веет от «Покинутых», люди идут из проклятой зоны со зловещим то ли солнцем, то ли луной — такая луна могла бы светить где-нибудь в Чистилище — и куда выходят старики? В безысходность. Савицкий остался самим собой — он не забыл о тех, кому хуже всех на земле. Переступите через преграду внешнего восприятия, и вы полюбите эти холодные, беспросветные полотна, но где живет неугасающая мысль об обездоленных, старых, кротких, покинутых, где теплится любовь человеческая.

Михаил Савицкий 90—2000-х годов отличается от прежнего. Картины этого периода — это свое, отдельно стоящее созвездие, это картины со своим светом, цветом, своей линией и динамикой. Поздние, старческие произведения великих людей выглядят более тяжелыми, в них гораздо меньше внешней красивости и доступности. Вспомните последние квартеты Бетховена, скульптуры и рисунки старого Микеланджело, позднего Тициана или написанное незадолго до смерти «Искусство фуги» Баха. Почти во всех этих творениях, как и в позднем Савицком, есть какая-то сумеречная тоска перед приближающейся ночью, иногда благородная простота и спокойное величие. В чем ценность живописи? Живопись — это не просто изображение, чуть хуже фотографии, живопись — это материя, содержащая в себе духовную информацию. Пространство живописи — это пространство, одухотворенное человеком. В этом магия искусства. Никакая, даже самая совершенная фотография не даст того, что делал и делает на полотнах темными красками Михаил Савицкий. Бесконечное сострадание, широта чувства, успокоение в Боге — этим отмечены его поздние работы.

2 сентября 2004 г.

Идешь к Михаилу Андреевичу с легким сердцем, хочется вступить в круг его воспоминаний, размышлений, хочется услышать ответы на вопросы. Эта мастерская — отдельный, замкнутый мир, отстраненный от окружающей реальности, от «бытового сна» «средних» людей.

Михаил Андреевич лежит на диване.

— Проходите, садитесь, что-то с давлением.

Встает, садится. Здоровье часто подводило его, притом, страшным образом. Он рассказал о своих обмороках; как-то это случилось в тамбуре поезда по дороге в Москву, как-то в присутственном месте, часто бывало, что он лежал какое-то время на полу в мастерской. Сын иногда звонит, проверяет его самочувствие.

— Вся жизнь сумасшедшая была и старость сумасшедшая.

— Серьезно?

— Да, — кивает головой.

Смеемся.

— У меня тоже одна четверть сумасшедшая есть.

Напротив меня стоит холст «Размышление о смерти».

— Давно вы его написали?

— Там раньше былая другая картина. Пришел как-то в крайне депрессивном состоянии в мастерскую, посмотрел на старое полотно и переписал. Буквально за два-три дня. Размышление о смерти, об убийстве человека, человеческие черепа пробивались и пробиваются по сей день.

Да, пробитый человеческий череп — что-то жуткое и противоестественное. Голова человека — носитель мироздания. Универсум, своеобразный центр Вселенной, и пробит. Михаил Андреевич добавил:

— Не понимаю, как можно так низко ставить человеческую жизнь, чтобы ее убивать? Эта картина об убийстве вообще, о самом тяжелом преступлении человека — уничтожении жизни. «Без вести пропавшие» — холст на эту же тему, он был написан всего за какую-то неделю.

— Там три ангела над трупами?

— Да, только это не ангелы, а три ипостаси Творца над горами трупов, над последствиями безумств человеческих.

«Без вести пропавшие» — это могущественное воплощение мысли. Тот редкий случай, когда тема звучит во всю свою силу. «Музыка» этой картины раздается со всей предельной мощью, хочется сравнить ее со звучанием Бетховенского или Вагнеровского симфонического оркестра. Когда я смотрю на репродукцию, просто застываю в изумлении перед масштабом замысла. Она о всех зверствах, творившихся в XX столетии, или нет, точнее сказать, о всех зверствах, творившихся под луной? Тут самое божественное и самое «дьявольское» собрано воедино, полотно не имеет последнего, конечного смысла и истолкования. Скорее беззвучно поставлен вопрос — как, почему возникли эти горы трупов, как совместить этот факт с Триединым Божеством? Без вести пропавшие — сколько их было за тысячелетия истории? Да и сколько еще будет. «Горы» трупов и три ангела — Единые и Первоначальные — таково неразрешимое противоречие этого шедевра. В большом полотне с названием «Изгнанные за правду» присутствует та же Троица, превышающая человеческие фигуры. Три Ангела незримо сопровождают изгнанников. Обратите внимание, что измерение картины совершенно нереальное. Савицкий сказал, что настоящее искусство передает «законченное», замкнутое бытие. «Ронданини» Микеланджело как была в XVI столетии, так и останется, и голова фараона как была обособленным «слепком» времени, жизни и духа Древнего Египта, так им и останется. Научные, философские открытия перекрывают друг друга, более или менее точно отображают явление, а великое искусство самодостаточно и покоится в самом себе. Добавлю, что искусство — это живая неразделимость и отображенный лик живой природы. «Изгнанные за правду» — также живая и неразделимая реальность, в основе которой лежит идея об изгнании, о выдворении на задворки справедливости. Я сейчас размышляю над тем, что за свою большую жизнь Михаилу Андреевичу столько пришлось встретить нелюбви, точнее, ненависти, столько озлобленности и травли.

Многие замечали, что Савицкий весьма тяжелый, сложный человек. Отстаивание своих идей, своего искусства, своего лица стоило больших усилий воли.

Он вспоминал, как ему чуть было не присудили Ленинскую премию. Интересно, что как только в комитете начала работать контрпрограмма, он сам от нее отказался.

— Если вы спорите, не уверены, если вы считаете, что мое искусство недостойно Ленинской премии, то не надо...

Только время есть главный критик искусства, время расставляет все на свои места и показывает, кто чего стоил. В разговоре он как-то заметил, что искусство всемирно известного гения Рембрандта было заново открыто где-то через столетие.

— Баха тоже забывали при жизни и тоже открыли где-то через столетие.

— А Пикассо через два-четыре столетия подешевеет. Должна появиться новая культовая фигура.

В конце разговора мы затронули тему — Вагнер и Ницше.

— Вагнер — великий композитор, я не знаю, почему его музыку втянули фашисты в свои игры. Почему решили, что он выразитель именно национального немецкого духа.

Вопрос об отношении Савицкого к Рихарду Вагнеру и Ницше вынашивался мной давно. Он признал по достоинству и величие Вагнера, и силу Ницше.

— «Так говорил Заратустра» — сильное произведение.

— Да, — подтвердил Михаил Андреевич, — несмотря на свои антихристианские «судороги», Ницше создал сильную книгу.

Начали рассматривать фотографии с моих картин. Узнав на одной Мирский замок, он сказал:

— Я спас его.

После его настоятельной просьбы, обращенной то ли к Киселеву, то ли к Машерову, начались реставрационные работы.

5 октября 2004 г.

У Михаила Савицкого в этот день были посетители. Он попросил меня подождать в кабинете. Хочется сказать, что эта комната, предваряющая живописную мастерскую, несет в себе печать строгого разума, в таком кабинете себя уютно бы чувствовали и Гете, и Кант. Представьте себе книжный шкаф примерно пяти метров в длину и трех — в высоту, заполненный журналами, альбомами и монографиями по искусству. Объем знаний Савицкого в области изобразительного искусства пугающий, его зрительная память хранит впечатления от фантастического количества репродукций, картин, памятников архитектуры, уверен, что в сфере живописи нет ни одной области, где бы он был дилетантом, нет ни одной более-менее значительной персоналии, о которой бы он не знал.

Из соседней комнаты доносится голос Михаила Андреевича:

— А кто сейчас достоин рая? На этом полотне я написал тех, кто достоин рая.

Мне вдруг вспомнилось, что сказал восьмидесятилетний Микеланджело: «По благости креста и Божьих мук я, Отче, жду, что удостоюсь рая».

Посетители вышли, и мы начали с разговор о моей представленной картине «Айсберг». Вышли на Рокуэлла Кента.

Михаил Андреевич сказал:

— Когда-то в Москве я видел выставку Кента. Она произвела мощное впечатление.

Я рассматриваю альбом Кента. В его живописи определенно присутствует какая-то своя музыка. Надо настроиться, чтобы слышать ее. Линии, массы, цвета создают звучание севера, это в себе сущее искусство, от которого отдает холодным воздухом Гренландии и Арктики. Вспоминается отрывок из рассказа Лондона «В дальнем краю»: «Величие окружающего страшило его. Оно было во всем, кроме его самого: в полном отсутствии ветра и движения, в необъятности снеговой пустыни, в высоте неба и глубине безмолвия». Если суровая красота севера нашла свое воплощение в слове, то та же северная жизнь создавалась и под кистью Кента.

— Искусство Кента — это новое слово, поэтика крайнего севера в живописи, это было ново, — заключил Савицкий.

Что живопись и литература занимают главенствующее место в его жизни, это понятно. Он однажды заметил, что прочитал тысячи книг (согласитесь, внушительное количество), об объеме его домашней библиотеки я могу только догадываться. Иногда на столе я замечал ценнейшие книги (Гумбольдт, Бергсон, Византийский

сатирический диалог), сегодня на столе я увидел статистику по преступности. Савицкий — это айсберг, подводная часть которого остается закрытой даже для самого внимательного взора.

Вернемся к разговору:

— Я не понимаю, — продолжил он, — почему музыка стала главенствующим видом искусства. Беда в том, что то, что называют популярной музыкой, по сути искусством не является. Создается впечатление, что массы никогда и не испытывали радости от высокой музыкальной культуры.

Пришли мысли о «качестве» человека как таковом. Вспомнился наш разговор о школе. Он заметил, что «качество» человека формируется в школе. (Сам Савицкий приложил немало сил, чтобы изменить закоснелую структуру образования, что, к сожалению, не получило продолжения.)

В этот день я спросил о его корнях.

— Никаких точных сведений о прадедах у меня нет, знаю только мнение, что моя фамилия идет от какого-то польского рыцаря Савицкоса. Вот и рыцарские качества от него, — шутит.

— Интересно ваше мнение по поводу одной проблемы… Два философа, дожившие до старости, Хосе Ортега-и-Гассет и Ницше написали схожие по духу суждения. Цитирую ницшевское: «...некогда люди, свершая круг своего существования, кто — гордо и мощно, кто — глубокомысленно, кто — полный сострадания и готовности помочь другим — все завещали потомству одно учение: наиболее прекрасна жизнь того, кто не печется о ней».

— То есть дурака?

И другое, Ортеговское: «Правда, с каждым днем я все более склоняюсь к мысли, что утопично все, что ни делает человек. Он занят познанием, но ничего не познает до конца».

Он перебил:

— То, что говорил Христос, совершенно.

Я продолжил:

«Он думает, что любит, но вскоре замечает, что не пошел дальше обещаний». И я добавлю, что вся земная, человеческая любовь обречена оставаться на каком-то усредненном уровне. Оба мыслителя сошлись в пессимизме относительно человека, вот этот упаднический вывод последнее время мне отравляет душу. Я прожил двадцать два года, но и за этот короткий срок мне пришлось убедиться, что созидательная, творческая деятельность встречала иногда скрытое, иногда явное противодействие, и я уверен, что и вы на протяжении всей жизни встречались с сопротивлением?

— Да, да, конечно, — громко выговорил Михаил Андреевич, — на протяжении всей жизни.

— Я имею в виду, что всегда существует какая-то болотная, тупая сила.

— Да, да.

— И если ей строго не противостоять, то она пожирает, причем, эта слепая, деструктивная воля часто исходит от, казалось бы, образованных людей, культурных учреждений и т. д.

— И моя тактика борьбы была — забрасывать их всех картинами.

Он рассказал об одном эпизоде из жизни: как-то при Хрущеве его обвинили в идеологической диверсии. Дело дошло до ЦК. И вот идет заседание, приехал заведующий отделом культуры ЦК КПСС Шаура, собрались все наши крупные художники для обвинения. Столы около стен зала, Шаура напротив Савицкого, который на отдельном стуле (специально сел). Наши художнички давай подбираться к нему, один выступил, второй, третий. И Шаура говорит, примерно так: «А в чем суть разговора? Каков, собственно, предмет разговора?» Савицкий:

—А можно мне ответить на это?

— Да.

— Вот эти господа сочли меня идеологическим диверсантом. И вот им нужен парашют, боятся спрыгнуть.

В зале несколько минут стоял смех.

Шаура:

— Ну, ладно пошутили, а теперь перейдем к делу.

Анекдот? Да. Но были времена, когда он жил в условиях, что называется, травли. Надо было иметь железную волю, чтобы не сломаться: его не любило большинство белорусских художников. Но он просто «забрасывал» всех их картинами. Или еще на эту тему: никогда у него не было трудовой книжки. И вот встал вопрос о пенсии. Он приходит в нужную инстанцию и выдвигает предложение назначить ему пенсию союзного значения.

— За мою прожитую жизнь, с моими званиями я могу считаться пенсионером союзного значения?

— Будьте довольны тем, что вы добились звания народного художника БССР и СССР.

Нет, настоящую его награду никто не заберет.

Хочется сравнить его с планетой. Он двигался по своей предустановленной орбите, история привносила в нее изменения, но не изменяла ее по существу. Да, Савицкий подобен огромной планете, и ничто не смогло изменить его пути, итог его жизни колоссальный: 150 полотен — достойное количество для художника. Он как отдельная область возвышался и возвышается над перипетиями жизни, его императив — честь, свет разума и шедевр — никогда не отменялся.

Люди, его знающие, согласятся, что эту личность окружает особое силовое поле, которое кроме почтения внушает где-то и страх, как перед мощнейшим умственным механизмом (если так можно выразиться). К нему подходишь не просто как к человеку и не как к знаменитости, а как к Его Величеству Творцу искусства.

19 июня 2005 г.

Пришел к нему в обед. Договорились, что он мне покажет портрет Президента Александра Лукашенко. Он, сидя в кресле, читал Борхеса. Я снова поразился разнообразной литературе, лежащей на столе: от специальных трудов о школе конфуцианства и древнекитайской религиозной литературы до нашего современника И. Басецкого — на столе лежал его какой-то политический труд.

……………………………………………………………………………..

После мы смотрели мой второй «Вид Земли из космоса». Где Земля изображена в диаметре тридцати сантиметров.

Он спросил:

— Так если бы я был в космическом корабле на расстоянии нескольких тысяч километров, она выглядела бы так?

— Да, я просматривал много фотографий. То, что здесь изображено, максимально точно передает правду, может быть, даже на лучшей американской фотографии все не так хорошо видно.

Он вспомнил, что знаком с двумя космонавтами — Владимиром Ковалёнком и Германом Титовым.

— Ну и как, отличаются они от простых смертных?

— Коваленок держится как простой человек. Титов выглядел строже.

— Небожитель? Я читал, что полеты, особенно длительные, по 1—2 месяца, сильно влияли на людей, во всяком случае, можно предположить что, пробыв столько в космосе, человек будет по-другому смотреть на мир.

— Не знаю, может, это и было с Титовым.

После вспомнили о Лосеве. Точнее, начал я:

— А знаете, он то ли завещал, чтобы его отпели по христианскому обряду, то ли это исполнили без его просьбы, но это было. Отпели в церкви или дома со священником.

— Лосев был христианским человеком. Интересно, что даже ослепнув под конец жизни, он продолжал работать.

— Он, наверное, диктовал, а жена или другой человек записывали?

— Да, диктовал, у него была феноменальная память. Знаете, после того, как в Москве увидели мой портрет Лосева, там он очень понравился. Лихачев тоже захотел себе портрет моей кисти. Но Лихачев был нестойкий человек.

— В каком смысле, физическом?

— Нет, в другом.

Потом Михаил Андреевич отметил, что сегодня праздник.

— Какой?

— А вы что, не христианин?

— Христианин, — и я показал свой серебряный медальон с отчеканенной Троицей.

— Очень красивая вещь. Так сегодня праздник Троицы, — сказал он. — Бог Отец был вначале, правильно? Тогда Сын кто?

— Отец — творец, но сказано, что и Сын был до сотворения земли.

— А Дух Святой кто? И в то же время Троица всеединая.

— Это загадка — лабиринт для человеческого ума, и не надо надеяться, что ее можно решить.

Я сказал:

— Вдумайтесь в слова: «Святой Дух — смысл всех времен вообще». Я уже несколько дней подряд вспоминаю эти слова, кажется, Шпенглера. Интересно, что в Евангелии сказано: «И потому говорю вам: всякий грех и хула будут прощены, но хула на Духа Святого не будет прощена. Тот, кто скажет против Сына Человеческого, может быть прощен, тот же, кто скажет против Святого Духа, не будет прощен ни в этом веке, ни в следующем».

Затем мы подошли к его мольберту. Рядом с ним стояла очень странная и необычная картина, формат где-то 100 на 120 см. Представьте себе черно-зеленое грозовое небо, в центре черный овал 60х80 см, в овале распятие — Иисус Христос, слева чуть выше Его головы как бы белое солнце со свечением и внизу, над нижним краем картины, — то ли церковь, то ли монастырь.

— Это не просто страшно, в этом есть что-то вонзающееся, леденящее, — сказал я.

Я вспомнил один эпизод, я показывал книгу Рудольфа Штейнера и открыл ему главу с названием «Дух в стране духов после смерти». Он прочитал, может быть, где-то с полстраницы, потом закрыл и сказал: «Это все бред, никто не знает, что там будет». Конечно, он задумывается, что же там будет. И эта картина есть плод духовного состояния человека. Что он в нее вложил, какой смысл в этом черном овале, что значит это солнце или вход в Рай? Может быть, эта чернота вокруг Христа означает горечь и зло человека, человеческой жизни и всего человечества?

14 декабря 2008 г.

Михаил Андреевич признается:

— Видел сегодня ночью сон. Во сне события войны повторялись в точности до мельчайших деталей. Столько лет прошло, но все настолько точно, как в действительности. Это было около железнодорожной станции Мекензиевы горы, недалеко от Севастополя. Немцы заняли высотку, насыпь типа кургана, и расположили там пулеметчиков, и железнодорожный путь был, таким образом, перекрыт. Роте, в которой я состоял, был дан приказ взять высоту. Я запомнил

строгий приказ: «Взять высотку». Рота двинулась в бой, но подниматься вверх было невозможно, пулеметные очереди уничтожали все. Я заметил, что в некоторых местах до самой высоты есть ямы, в них можно спрятаться. У меня была винтовка и обрез, который я держал в правой руке, я очень метко стрелял. И решил для себя так: главное, беречь голову, туловище и руку, и во что бы то ни стало добраться до верха. И так, прячась в ямах, поднимался выше и выше. Высунусь из ямы, сделаю несколько выстрелов и назад, и вдруг замечаю, что пулеметные очереди закончились. Поднимаюсь выше и понимаю — приказ исполнен. Я на взятой высоте. Кричу русским, что я свой, эта битва выиграна. Потом ко мне подошел командир роты и сказал: «Ты не выполнил ни одного приказа». Я ответил: «Я не мог его даже слышать, в том шуме невозможно было слышать даже собственный голос». Командир злился дальше, но потом сказал: «Но ты взял высоту, и я должен представить тебя к награде, но с другой стороны, ты действовал не по приказам, и я должен тебя наказать, но я не сделаю ни того, ни другого». И второй случай со времен, когда я воевал солдатом. Два случая наиболее сильно волновали меня в последующие годы. Это было на той же самой станции, на той же неделе. Немцы тогда заняли станцию. Я действовал не по приказам, весь был увешан гранатами. И решил ползком по рельсам, канавам и впадинам пробираться к немцам. Это было сложно, за местностью следили. И вот ползу я, ползу, вдруг слышу громкий смех немцев в метрах десяти-двадцати, там стояла группа солдат, и я бросаю туда гранату, а сам скатываюсь подальше и — ползком назад. И вот до сих пор не могу вспоминать это без волнения, до сих пор совесть неспокойна. Там были простые люди, которых отправили на войну.

— Они пришли на чужую землю убивать.

— Да, конечно, мне объяснили, что я выполнил свой долг. Хотели представить к награде, но в этом случае я сам отказался. И до сих пор тот взрыв не дает мне покоя.

Маршал Жуков как-то заметил о войне: «Тяжкие были годы. Но какое это было и славное время! Человек, переживший однажды большое испытание, всю жизнь будет потом черпать силы в этой победе». Да, конечно, но темнота войны от этого не становится менее страшной. И теперь ветераны просыпаются в холодном поту от страшных снов. И теперь считают убитых. Прошло пять лет войны, пять лет длился шок, но эта рана распространилась на десятилетия. Ветеранов, к сожалению, через какое-то время не останется, и живой человеческий голос уже не расскажет о смертоносном огне Великой Отечественной войны.



Порог слышимости

Давно собирался написать о поэте Геннадии Казаке отдельно. Много раз рецензируя поэтические подборки в «Нёмане», в которых был представлен и он, обращал внимание на его стихи. И всякий раз подмечал в них одно ценное качество: они, как правило, немногословны. Уже только это свидетельствует о почтительном отношении автора к поэзии и вызывает большое уважение. Немногословность обязывает все сокровенное, ради чего стих пишется, поместить в красноречивый подтекст. Иногда молчание громче словоизвержения, которым чаще всего грешат обожающие рифму публицисты. У души свой порог слышимости. И измеряется он не в децибелах. Только частично догадываемся мы о главном содержании стихотворения по губам рифм. Читателя и поэта сближает именно подтекст, что тише шепота. Сознание, что он тобой услышан, что ты понял неназванное поэтом, как бы вводит тебя в круг его особо доверенных лиц.

Я снова убеждаюсь в этом, читая книгу Геннадия Казака «Солнце мое — Беларусь», изданную в Минске в конце прошлого года. Вот одно из многоэтажных стихотворений, хотя видимых в нем только два этажа.

Давно ловлю себя на этом,
Что я, входя в твой милый дом,
Всегда сажусь спиною к свету,
А ты сидишь к нему лицом.
Волнуют тихие сомненья,
И наши лица горячи...
По моему — блуждают тени,
По твоему — скользят лучи.

«Лицом к свету»

Что я вижу в этом психологическом этюде между строк? Панорамную картину человеческих переживаний. Во-первых, очевидно, что та, о которой поэт пишет, не боится лишний раз продемонстрировать перед ним свой возраст. В данной ситуации любой женщине выгоднее находиться перед мужчиной, с которым ее связывают близкие отношения, именно спиной к свету. Тогда он не заметит морщин на ее лице. Или их станет меньше. Поэтому опытный фотограф никогда не станет снимать против солнца: объектив смажет, затемнит объект. Если хозяйка «милого дома» пренебрегает естественным макияжем, то, наверное, она махнула на себя рукой. Гость приходит и уходит, она остается. Оба примирились со своим положением. Но по его лицу все-таки «блуждают тени» (угрызения совести, хотя, может быть, он и не виноват?), а по ее лицу еще «скользят лучи» надежды. Как знать? Ничего об этом не написано, но на сердце мое легло почему-то именно такое объяснение происходящего. А кто-то другой все прочтет по-своему. Он, напротив, найдет женщину молодой, которой и макияж-то еще не нужен. Ее лицо не боится внимательного солнца. Спасается тенью герой стихотворения, человек, скорее всего, много старше ее. Поэтому его «волнуют тихие сомненья». Но они пока что беспочвенны: Она светится. Наверное, не только от солнечных лучей, но и от радости: пришел любимый! А третий читатель не заметит ни одного, ни второго варианта драмы двух несчастливых людей. Просто удовольствуется

точно выписанной картинкой их встречи. И тоже будет прав. У каждого из нас свой порог слышимости.

Видим мы тоже все по-разному, особенно в детстве, где что ни шаг, то открытие. Но с возрастом это различие между нами потихоньку стирается. И, у кого раньше, у кого позже, взгляд слабеет и тускнеет. Все вокруг начинает восприниматься в своей унылой обыденности и занудной повторяемости. Отсюда хандра, серость чувств, ощущение бесцельности существования. Человек, которого постигла такая беда, постепенно оказывается в изоляции: ведь дружба зиждется только на интересе друг к другу. А начинается все с «замыленности» взгляда. И лишь поэт или художник способны вновь научить нас видеть, удалить катаракту притупляемости зрения, выделить из примелькавшегося деталь, которая обожжет новизной. И она сыграет роль зернышка, брошенного в душу, обещающего всходы. Читая Казака, то и дело с удивлением протираешь глаза:

Старик, высокий и седой,
Пахал свое родное поле.
Ходил за плугом
бороздой,
Заткнув ненужный кнут за пояс.
И, как художник, аккурат,
В рубахе красной
и просторной,
Он плугом рисовал квадрат,
Большой, загадочный
и черный.
<...>
«Пахарь»

Или стихотворение «Серп луны», в котором дышит простор, вольница, даль и высота настоящей поэзии. С какой бесшабашной смелостью Геннадий Казак выбирает масштаб своих ассоциаций! Сказать сегодня «серп луны» — ничего не сказать. Старый образ, ставший общим местом. Но поэт находит ему другое применение и воскрешает стершееся. «И вновь меня // Зовет родное поле, // И я иду к нему наискосок, // Где голубое чистое раздолье, // Где тихо светит каждый колосок, // Где в облака взмывает память-птица, // Где конь летит, забыв про удила, // Где серп луны воткнула в небо жница // И на стерне // Ребенка родила».

Прочитав такое, память-птица уносит меня в глубинушку давнины. Не случайно казаковская жница родила на стерне, не случайно. Был обычай у русских баб. Покончив со жнитвом, «купались» они в этот день на сжатой стерне и приговаривали: «Жнивка, жнивка, отдай ты мою силушку на пест, на колотило, на молотило, на кривое веретено». Верили женщины: раз нива родит хлеб, и они теперь рожать могут. Хоть и на той же стерне. И еще отсылает меня стихотворение Казака к другой молодой жнице, кольцовской. Не там ли, в сокровищницах русской поэзии, черпает Казак поэтическую удаль?

Высоко стоит
Солнце на небе,
Горячо печет
Землю-матушку.

Душно девице,
Грустно на поле,
Нет охоты жать
Колосистой ржи.

Всю сожгло ее
Поле жаркое,
Горит-горма все
Лицо белое.

Голова со плеч
На грудь клонится,
Колос срезаный
Из рук валится...
<...>
«Молодая жница»

Странное дело: Геннадия Ивановича скорее отнесешь к городским жителям, чем к сельским (родился в городском поселке Бешенковичи, учился в Витебске и Москве, жил и работал в Орше, сегодня гомельчанин), а городских стихов у него практически нет. Почти все — о деревенских людях, их житье-бытье, их заботе о хлебе насущном. Поле — одно из ключевых слов его поэзии. «Моя душа была распахнута // Навстречу жизни горячо, // Как будто поле, что распахано, // Но не засеяно еще» («А ты одна...»). «Брожу ли я в широком поле // С самим собой наедине, // Где рожь мне кланяется в пояс // И тихо греет душу мне» («Земля святая»). Таких стихов много. Причем, чувствуется в них грусть, даже какая-то непреходящая вина. О чем это говорит? Может быть, поэт догадывается, что останься он в родных местах, судьба сложилась бы иначе. А вот лучше ли, хуже ли — кто знает. Но в деревню он рвется, убеждая себя, что в ней свой человек. Все мои минские знакомцы, коллеги по работе, поэты испытывают такую же ностальгию по местам, где родились. Редко кто в летний месяц отпуска, даже если удалось накопить деньжат, покидает пределы Беларуси. Нет, лучший отдых — в деревне. Так у Казака: «Деревня занята по горло, // И ей совсем не до меня. // Дымком повеяло прогорклым // Из-за ольхового плетня. // Когда-то здесь при тусклой лампе // Я так мечтал о городах... // А нынче вот к старушке-маме // Из города спешу сюда. // А вот и наши дом и сени, // В дверях записка — мне, поди: // «Ушли на луг стожарить сено. // Поешь, сынок, и приходи». // Дошла, должно быть, телеграмма // За много верст, за много дней. // О как обрадуется мама, // Что я на целый месяц к ней! // Бегу на радостях с пригорка, // Глотаю ветер луговой. // Деревня занята по горло, // Но ведь и я ей — не чужой» («Страда»).

Приведенный пример, кстати, единственный, кажется, во всей книге, где поэт, пишущий по-русски, допустил белорусизм. В строке «Деревня занята по горло» в слове «занята» ударение правильно ставить на третьем слоге. Но тогда три гласные «я», «а» и «я» как бы проглатываются, что слегка нарушает ямбический строй стихотворения. Слегка, но тем не менее. Не писал бы совсем об этом, если бы не любопытный разговор, который не так давно произошел у меня с одним белорусским поэтом. Все же есть разница, сказал он, между русским поэтом, живущим в Беларуси, но родившимся в России и хоть немного пожившим там, и русскоязычным поэтом, родившимся на белорусской земле. У первого язык пахнет родиной, он чище и выразительнее, чем язык, не впитанный с молоком матери, а выученный. Он кажется синтетическим. Конкретика в беседе не приводилась, но с теоретическим посылом трудно было не согласиться. Хотя литература знает массу примеров, когда не на родных языках были написаны замечательные произведения: Набоков, Халиль Джебран, Сиоран, Кундера, Нуруддин, Макин... Поэтому, заключил мой собеседник, такие поэты, чтобы сравняться с белорусскими собратьями, должны писать стихи на порядок лучше. Нас же, пишущих по-белорусски, вперед выводит уже мова.

Я не знаю, кто по национальности Геннадий Иванович Казак, родившийся в Беларуси и живущий в ней, слава Богу, до сих дней (одно стихотворение в рецензируемой книге им написано по-белорусски). Но если язык его стихов позволяет ему создавать зримые и волнующие образы — можно ли назвать такой язык искусственным?

Смотрю на волны грузные вдали,
Где дуют и гудят крутые норды.
Навстречу штормам, подминая волны,
Уходят от причала корабли.

«Смотрю на волны...»

Как хорошо подсмотрено это «подминая волны»! И уж так по-детски ново: «Зарделось зарево заката // Над сонной заводью реки. // И словно мячик, снизу вмятый, // Качалось солнце у ракит»! («Купальщица»). Один глагол «мять», а позволил вылепить такие разные по форме образы. Не ошибусь, если употреблю слово *блистательно* к оценке строфы:

И в светлый час, когда в деревьях
Воспрянет духом соловей,
Открыть, воскликнуть и поверить:
— Я нужен ей!..
Я нужен ей!..

«На тихом мысе»

О соловьях у Геннадия Казака есть еще одно удивительное стихотворение. Я бы включил его во все учебники для начинающих поэтов — как можно, не говоря ни одного слова о своей любви к Родине, талантливо сказать о ней.

Я заплутал, как ветер в пуще,
Непроходимой и глухой,
И сел, устроившись получше,
Под тихой старою ольхой.

А надо мною в час урочный
Запел заветный соловей.
О чем он пел?.. Я знаю точно!
Он пел о Родине своей!

«О чем он пел?..»

В свое время Геннадий Казак закончил философский факультет МГУ имени М. В. Ломоносова. Философический склад его ума несомненно обнаруживают многие стихотворения в книге. Но это не рассудочные опыты проникновения в суть природного явления или человеческих отношений. В них чувствуются боль, смятение, горечь, разочарование там, где несовершенство или бескультурье человека не оставляют места для радости. Кому из нас не приводилось видеть такое? «Здесь кто-то был. Удил рыбешку. // Варил уху в тени ветвей. //Как гребешки, лежат на стежке // Остатки щук и карасей. // Здесь кто-то был. И наследил. // Уехал ухарь шибко спешно. // А след костра, подобно плеши, // Еще у ног моих дымил. // Садилось солнце. Запах острый // Качался в дымчатых лучах. // Мне стало грустно. Тихий остров // Настороже меня встречал»(«На острове»). До чего исчерпывающе это слово «настороже»! Автор, и мы вместе с ним, словно чувствуем на себе недоверчивый, полный обиды взгляд острова. Такова магия слова. Счастье найти такое. Вот еще одно: «Обескрыль меня над Волгою, // Прокляни мою любовь. // Если я в дороге долгой // Провинюсь перед тобой» («Поле памяти»). Основную эмоциональную нагрузку здесь, как на крыльях, несет слово «обескрыль».

Одно из стихотворений в книге называется «Разговор по существу». Именно таков подход Геннадия Казака к своему творчеству. Только это позволяет поэту дойти до сути всего, во что он всматривается, что пытается разглядеть в себе и людях. Задать себе трудный вопрос — уже бесстрашие. «Я спрашиваю самого себя: // А выдержал бы я, // Так сильно жизнь любя, // Не предав Родину, // Не выдав тайну, // Не закричав // От слабости случайной, // Когда бы мне // В холодном блиндаже // Вгоняли гвозди // В ноги и в ладони, // Как в доски, // Или, скажем, в жесть? // Когда бы мне, неистово грозя, // Выкалывали синие глаза // И рвали // Раскаленными щипцами, // И били, дико били сапогами?» («А смог ли б я?»). Вгоняя в себя, как гвозди, больные вопросы, поэт непохоже, нетрафарет-

но, не трубадурно осваивает тему геройства людей, не доживших до Дня Победы в Великой Отечественной войне.

Но где же Казак-философ? — возможно, спросит читатель этих заметок. Вот он.

Умудренный опытом и наблюдением за жизнью:

* * *

Среди забот и суеты
Я понял жизни суть:
Тех, кто боится высоты,
И крылья не спасут.

Предчувствующий трагедию:

Холодный дождь
проходит стороною,
На мокрых кленах
листья теребя.
И оттого, что ты
всегда со мною,
Мне страшно вдруг
остаться без тебя.

(«Предчувствие»)

Осознавший, что такое для человека свобода: «Думал, что нашел свою любовь, // И связал ей крылья за спиною, // Чтоб не покидала тихий кров, // Чтоб всегда жила-была со мною. // Но недолго свет я осязал, // Но недолго сердце гимны пело, // Кто-то, видно, крылья развязал — // И она на волю улетела. // Для меня померкло все в глазах, // И не раз свою судьбу корил я... // Может, и вернулась бы назад, // Если б я не связывал ей крылья». («Все вокруг сияло для меня...»). Близко, очень близко подошел Геннадий Казак к Якову Полонскому:

Кто-то мне судьбу предскажет?
Кто-то завтра, сокол мой,
На груди моей развяжет
Узел, стянутый тобой?

Тем не менее белорусский поэт, поклонившись великому русскому таланту, остался оригинальным. Он в своем стихотворении поставил ту же проблему воли, независимости человека. Но у Полонского в ней играет фактор судьбы. У Казака в центре любовной истории — поздняя мудрость совершившего ошибку человека. И горе у него — горе потерявшего самое дорогое в жизни — куда сильнее. Там стихи написаны от имени женщины, которая допускает, что «другая будет песни петь, играя на коленях у тебя». Здесь же герой настолько подавлен, что мысль о новой любви воспринял бы как кощунство.

Говоря о своем возрасте, Геннадий Казак признался: «А сердце по-новому любит // И стало нежнее вдвойне. // Совсем незнакомые люди // Становятся близкими мне» («Незнакомые люди»). Думается, что после книги «Солнце мое — Беларусь» близких людей у него станет больше.

Юрий САПОЖКОВ



Утренняя роса и праведность жизни

Ганад Чарказян. Белая вежа. *Проза и поэзия.*
Мн.: Логвинов И. П, 2010.

Первая мысль, которая появляется, когда берешь в руки эту книгу, такая: «Неужели и Ганад Чарказян приобщился к белорусской истории, решив рассказать об одном из самых значимых памятников национального зодчества?» Поэтому сразу же и тянется рука к странице, на которой помещен рассказ «Белая вежа». Однако произведение это вовсе не об архитектурном оборонительном шедевре, который появился в конце XIII столетия на высоком левом берегу реки Лесная благодаря талантливому зодчему Олексе, который между 1276 и 1288 годами выполнил приказ волынского князя Владимира Васильковича о создании этого форпоста.

Правда, чем дальше читаешь рассказ, тем больше убеждаешься в том, что, можно сказать, в какой-то степени разговор идет и о белорусской Белой веже, или, как ее еще называют, Каменецкой башне. Такое ощущение появляется не случайно, ибо Г. Чарказян, как в рассказе «Белая вежа», так и в некоторых своих других произведениях, вошедших в его новую книгу, удачно использует элементы притчи. Это, как известно, позволяет решать не только конкретные художественные задачи, но и переходить к серьезным обобщениям, затрагивать общезначимые вопросы человеческого бытия.

Таким отправным пунктом в рассказе и является Белая вежа. Хотя она, эта Белая вежа, появляется не сразу. Сначала была плотина, построенная тогда, когда «родился… союз племен, вызывавший зависть и опасение дальних соседей». Опасаться и завидовать было чему. Еще недавно разобщенные племена благодаря своей мудрости, способности смотреть вперед стали большой сплоченной силой, а произошло это благодаря плотине, защитившей их от природной стихии. Но не только …

Плотина в рассказе — это еще и воплощение единства народов, тот монолит, который сближает их и соединяет. Однако, как известно, ничто на земле не вечно. С годами и плотина начала разрушаться, да и среди дружественных народов появились разногласия, чем, конечно, не могли не воспользоваться разные «благодетели» за рубежом. Привело же это к тому, что и происходит в подобных случаях. Начало насаждаться все чужое и отрицаться свое, родилось преклонение перед его могуществом денежным мешком.

Не правда ли, ситуация в чем-то знакомая? Положение усугубилось еще и тем, что главный смотритель плотины, будучи человеком старым, не всегда проявлял нужную осторожность, постепенно уступал давлению тех, кто представлял в его государстве интересы чужих стран. Ему становилось не до плотины, разрушение которой достигло критического уровня. Многим стало уже понятно, что если не принять должных мер, то вода, прорвав плотину, натворит столько бед, что вряд ли можно будет выжить: «Воды низринутся на наши поля и селенья, великие воды, жестокие воды, много жизней унесут, много горя оставят».

Рассказ «Белая вежа» — повествование, как уже отмечалось, с ярко выраженными элементами притчи, но вместе с тем это и произведение, в котором ощу-

тимо присутствие современной жизни. Конечно, есть в нем и некая условность, отдельные персонажи, как, скажем, старуха Луна, «знаменитая на всю округу колдунья», которой «надо было передать кому-то свое древнее ремесло, доставшееся ей тоже от бабки, которую тоже звали Луна. Впрочем, других имен у них не было. Луна, дочь Луны, внучка Луны, правнучка — и так далее, до бесконечности», живет как бы в двух измерениях. Она персонаж реальный, но вместе с тем она и как бы из некоего иного мира, существующего по своим понятиям и законам. Да и принц, который приезжал свататься к внучке Луны Гелле, по сути, некий обобщенный образ одного из тех, кто давно уверовал в то, что за деньги можно купить все, даже любовь.

Однако та же Гелла, Искандер, начальник охраны плотины Грек — реальные люди, хотя и действуют они в несколько условных обстоятельствах, а поэтому вынуждены им подчиняться. Только это такое подчинение, которое (не надо улыбаться от такого сравнения) для человека и во имя человека. Поэтому Искандер, приняв в свои руки волшебный меч, искренне признается соплеменникам: «Я хочу построить башню счастья, высокую, белую, как облака, чтобы с ее высоты каждый мог взглянуть на родную страну, восхититься красотой ее природы, трудолюбием ее людей».

Белая башня, Белая вежа — это и символ государства, в котором разворачивается действие и которое называется Белой страной. Искандер же, которого избрали главой ее после смерти главного смотрителя, видя, как успешно завершается строительство, не удерживается, замечает, что возводится не просто Белая вежа, а «Башня Утренней росы». Эти слова Искандера приобретают особый смысл.

Не только в самом рассказе, который воспринимается и гимном созидательному труду человека, и воплощением замыслов жителей Белой страны, стремящейся к миру и согласию, желанию жить так, как хочется им, а не по указке извне. Опять-таки, как и тогда, когда только берешь книгу Г. Чарказяна в руки, возникает ассоциация с нашей Белой вежей. Как созвучно то, о чем рассказал писатель в этом произведении, с устремлениями нашего народа. Белая вежа — это и символ, пусть и не официальный, Беларуси.

Впрочем, вся книга «Белая вежа», независимо от того, где происходит действие, положенное в основу того или иного произведения, это в какой-то степени и отголоски нашей жизни. Даже те рассказы, в которых присутствуют восточные реалии, горский колорит («Правильное решение», «Разбитый кувшин», «Торгаш», «Ходан», «Родник»), своей нравственной проблематикой лишний раз напоминают о том, что хорошие люди везде одинаковы. Как, впрочем, одинаковы везде и те, кто живет не так, как нужно.

Талант Г. Чарказяна — это талант писателя, способного в одинаковой степени уверенно работать в разных жанрах. Это касается не только его рассказов с элементами притчи, но и тех произведений, где «чувствуется» документальная основа. Во всяком случае, присутствие ее нельзя отрицать. Как в рассказе «Прости, Рыжик!», в котором проскальзывает, как говорится, смех сквозь слезы.

В рассказе же «Старый сейф» — юмор уже иного плана. С элементами сарказма, эдакого непринятия человека, который ничего другого в твоей душе, кроме осуждения, не вызывает. А именно таким видится бывший сыщик Богдан Жабик, сующий свой нос во все, что делается на дачном участке. Не понимая, да и не желая понять, что тем самым всех настраивает против себя. Поэтому и происходит отмщение. Какое? Да неожиданное. Хотя оно внешне и не такое уж обидное, но после всего случившегося бывший сыщик понял, что ему лучше смотать удочки: «Через месяц Богдан Жабик спешно продал свой участок и, не простившись с соседями, исчез».

Мини же рассказы Г. Чарказяна, также вошедшие в его новую книгу, — оригинальные мысли, которые, при желании, можно превратить в новеллы или короткие юморески, поскольку часто уже в основе их лежит некая комическая

ситуация. Читать их — одно удовольствие. Как, например, «Вечность»: «Рассказ о том, как после ссоры супругов подошла теща и сказала: «Хватит! Как всегда, Вася прав…» Или «Справедливость»: «Фантастический рассказ о том, как одна женщина жаловалась своей матери, что муж не пьет, не курит, приходит вовремя домой, приносит всю зарплату и помогает дома».

Представлен в книге и такой оригинальный поэтический раздел, как «Чаргави». Да и многое другое представлено в ней, что свидетельствует о том, насколько Г. Чарказян — писатель яркой творческой индивидуальности. Кстати, его произведения в сборнике «Белая вежа» опубликованы как на русском, так и на белорусском языках (переводчики Валерий Липневич, Рыгор Бородулин, Владимир Марук и сам Ганад Чарказян). Интересно то, что некоторые из рассказов представлены в двух вариантах, что, кстати, оправдано, ибо читателю дана возможность узнать, как то или иное произведение звучит и по-русски, и по-белорусски.

Среди мини-рассказов есть произведение «Вопрос»: «Можно написать очень много книг. Можно даже напечатать их. Вопрос-то в другом: нужны ли они кому-то, кроме тебя?» Несомненно, что в отношении автора книги «Белая вежа» его иначе как риторическим и не назовешь. Безусловно, что эта книга, как и все предыдущие, появившиеся из-под пера Г. Чарказяна, будет востребована читателями. Иначе и быть не может, ибо в наше, казалось бы, далеко не гуманитарное время, душа все равно тоскует по прекрасному, ей одиноко без того, что измеряется вечными нравственно-эстетическими понятиями. Это в творчестве Г. Чарказяна как раз и присутствует.

Алесь МАРТИНОВИЧ



Славомир Антонович.
УШЕДШИЕ В БЕССМЕРТИЕ.
Документальные очерки.
Мн.: Мастацкая літаратура, 2010.

Нелегко читать книгу Славомира Антоновича «Ушедшие в бессмертие», ибо что ни страница, то сложная человеческая судьба. Людей, о которых рассказывает известный писатель и юрист С. Антонович, ломало время, в которое они жили, потому что на словах тогда все совершалось ради счастья человека и его светлого будущего, а на деле… Автор при написании очерков, раскрывающих драматический период в жизни советского общества, связанный с именем Сталина, использовал немало отечественных и зарубежных источников, обратился к исследованиям и публицистическим произведениям, в которых затрагивается тема сталинизма. Не обошел он вниманием дневники и воспоминания тех, кто попал в «мясорубку», в которой «кости мелют» (Лукаш Калюга). Примечательно, что С. Антоновичем осмыслены некоторые архивные материалы, на которых по сегодняшний день стоит гриф «совершенно секретно». Все это делает книгу «Ушедшие в бессмертие» уникальной.

Віктар Гардзей.
ТРЫАДЗІНСТВА. Выбраныя вершы.
Мн.: Мастацкая літаратура, 2010.

Появление книги избранного Виктора Гордея «Трыадзінства» в серии «Залатое пяро» — хороший подарок почитателям таланта этого замечательного поэта. Приверженец классической манеры письма, он, как один из немногих в белорусской литературе, пишет так искренне, душевно, что после прочтения его стихов на душе становится светло от осознания того, как много в мире прекрасного — будь то родная природа или нежные чувства любви к близкому человеку. Вместе с тем В. Гордей небезучастен и к сложным реалиям повседневности. Его стихи заставляют задуматься о том, как мы живем и ради чего живем. Название же этого однотомника появилось не случайно. Как сказано в издательской аннотации, «классическая формула поэзии: единство трех понятий — мысли, образа, слова». Предисловие к книге написал Алесь Мартинович.

Сяргей Давідовіч.
ЗЯМЛІ СВЯТАЯ ПАМЯЦЬ.
Вершы. Паэмы.
Мн.: Літаратура і Мастацтва, 2010.

Сергей Давидович — человек всесторонне одаренный. Он хорошо зарекомендовал себя и как поэт, и как прозаик, и как художник. Поэзия его, в чем лишний раз убеждает книга «Зямлі святая памяць», земная и искренняя. Вроде бы и просто пишет С. Давидович, но так берет за душу, что невольно представляешь себя на месте лирического героя, с ним любуешься дорогими и близкими поэту пейзажами родной ему Логойщины, вдыхаешь ее целительный воздух. Впечатляют и стихотворения, в которых С. Давидович обращается к вечной теме любви — как любви к конкретному человеку, так и, опять-таки, к отчему краю. Некоторые стихи написаны с тонким юмором. Уверенно чувствует себя С. Давидович и в жанре поэмы, о чем свидетельствуют такие произведения, как «Паэт», «Вечная святыня» и другие.

Уладзімір Караткевіч.
ЛЕБЯДЗІНЫ СКІТ. Казкі.
Мн.: Мастацкая літаратура, 2009.

В книгу классика национальной литературы Владимира Короткевича «Лебядзіны скіт», с любовью составленную Аленой Масло, вошли многие сказки писателя — «Чортаў скарб», «Лебядзіны скіт», «Вужыная каралева», «Нямоглы бацька», «Надзвычай-

ная котка», «Ноч», «Куцька», «Скрыпка дрыгвы і верасовых пустэчаў», «Старая казка» и другие. Жанр сказки представляет неисчерпаемые возможности для настоящих мастеров слова. Предисловие к книге «У нейкім прыгожым краі...» написал Петро Васюченко, а Микола Купава великолепно проиллюстрировал книгу. Юные читатели, а это им в первую очередь адресован сборник, также получили возможность из первых уст узнать и о жизненном и творческом пути В. Короткевича — книгу завершает его автобиография «Дарога, якую прайшоў». Несомненно, для ребят это издание будет замечательным подарком.

СВЯТАЯ БЛАЖЕННАЯ ВАЛЕНТИНА МИНСКАЯ.
Пересказала для детей
Татьяна Дашкевич.
Мн.: Издательство Белорусского Экзархата, 2010.

Издательство Белорусского Экзархата книгой «Святая блаженная Валентина Минская» продолжает серию изданий, представляющих собой литературную обработку житий святых. Однако на это раз рассказывается не просто о святой, а о святой белорусской. Притом, почти о нашей современнице. Блаженная Валентина Минская, в миру Валентина Чернявская, родилась 7 апреля 1888 года в деревне Коски — это в семи верстах от Станькова нынешнего Дзержинского района — в семье священника. Ей уготована была тяжелая судьба: в 30-е годы после того, как расстреляли ее мужа, начали закрывать церкви, Валентину парализовало, отняло ноги. Почти сорок лет она пролежала в постели, молясь за людей. И начали совершаться чудеса. Она могла предсказать людские судьбы, излечить даже тогда, когда врачи в бессилии опускали руки. Как и предыдущие книги этой серии, новая хорошо иллюстрирована. Есть в книге снимок дома, в котором жила эта мудрая женщина, ели, посаженной ею, — сюда по-прежнему идут те, кому нужна помощь блаженной Валентины Минской. В планах издательства — выпуск и других книг, посвященных белорусским святым.

ТЫСЯЧА ГАДОЎ ДОБРАМУ СУСЕДСТВУ: БЕЛАРУСКА-ЛІТОЎСКАЕ ГІСТАРЫЧНАЕ І ЛІТАРАТУРНАЕ СУЖЫЦЦЁ.
Анталогія. Складальнік Сяргей Панізнік. Мн.: Кнігазбор, 2009.

Выход сборника «Тысяча гадоў добраму суседству», название которого на обложке приведено на двух языках — литовском и белорусском, приурочен к 1000-летию со дня первого упоминания Литвы в письменных источниках. Соответственно у книги и два предисловия. Автор одного из них — Чрезвычайный и Полномочный Посол Литовской Республики в Республике Беларусь Эдминос Багдонас, другого — народный писатель Беларуси Василь Быков — слова Василя Владимировича взяты из июльского номера журнала «Политика» за 1990 год. Своеобразной же запевкой к книге звучат стихотворения Юргиса Кунчинаса «Беларусь» и Максима Танка «Братняй Літве». Насколько же давние и тесные связи между нашими народами, видно из материалов, помещенных в этой антологии, которая состоит из четырех разделов. В первый из них «Зерне да зерня» вошли исторические документы и статьи, свидетельствующие о том, как много общего у белорусов и литовцев, предки которых некогда жили в одном государстве. Раздел «На далоню святла» — это произведения белорусских писателей, затрагивающие литовскую тематику. Соответственно в третьем разделе «Акорды харства» предлагаются в переводе на белорусский язык произведения литовских авторов. Наконец, завершающий раздел «Летапіс тысячагоддзя» состоит из литературоведческих и критических статей, посвященных белорусско-литовским взаимосвязям.

Сергей Чупринин.
РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА СЕГОДНЯ.
М.: Время, 2009.

Словарь-справочник известного критика Сергея Чупринина «Русская литература сегодня» появился не случайно. Как известно, за пределами Российской Федерации на нынешний день живут десятки миллионов человек, которые считают русский язык родным. Соответственно, к ним относятся и тысячи писателей. Конечно, рассказать обо всех — задача непосильная. Поэтому С. Чупринин систематизировал сведения только о наиболее известных среди них, а также рассказал о писательских ассоциациях, периодике, интернет-ресурсах и литературных премиях русского зарубежья. Недавно к читателю пришла первая из трех составных частей его авторского проекта «Русская литература сегодня». Не обойдена вниманием и Беларусь. В частности, помещены сведения о жизненном и творческом пути Анатолия Аврутина, Светланы Алексиевич, Анатолия Андреева, Глеба Артханова, Светланы Бартоховой, Натальи Батраковой, Анатолия Делендика, Александра Дракохруста, Светланы Евсеевой, Олега Ждана, Изяслава Котлярова, Тамары Красновой-Гусаченко, Андрея Курейчика, Валентина Маслюкова, Михаила Позднякова, Валентины Поликаниной, Елены Поповой, Юрия Сапожкова, Эдуарда Скобелева, Андрея Скоринкина, Александра Соколова, Бронислава Спринчана, Вадима Спринчана, Анатолия Сульянова, Валентина Тараса, Сергея Трахимёнка, Юрия Фатнева, Николая Чергинца, Михаила Шелехова и других.

Георгій Штыхаў.
АРХЕОЛАГІ ДАПАЎНЯЮЦЬ ЛЕТАПІСЦАЎ. Мн.: Беларуская навука, 2009.

Научно-популярная книга известного белорусского археолога и историка Георгия Штыхова «Археолагі дапаўняюць летапісцаў» из тех изданий, которые грешно не прочитать, ибо она расширяет представление о том, как жили, чем занимались наши предки. Название автором взято не случайно. Г. Штыхов поставил перед собой благодарную, а в чем-то и оригинальную применительно к белорусским реалиям задачу — внимательно присмотреться к событиям, которые происходили на территории Беларуси в древности и средних веках, используя не только летописные источники, но и отталкиваясь от материалов раскопок, проведенных в последнее время. Поэтому история Полотчины, Берестья, Менска времен раннего средневековья оживает как благодаря сведениям, почерпнутым из литературных памятников — «Повести временных лет», Лавреньевской, Ипатьевской и Радзивилловской летописей, и др., так и через артефакты археологии.

Антон БАЗЫЛЕВИЧ

Наталья Советная.
ЗА КРАЕМ СВЕТА.
Дневник психолога, повесть. Мн.: Літаратура і Мастацтва, 2010.

Когда у меня тяжело на душе, я ищу спасение в храме Божьем. Только там могу обрести себя, забыть все проблемы и невзгоды. Вера помогает в трудное время не только выстоять, но и стать сильнее. Она освобождает от ненужных мыслей. Вера посылает добро и любовь, которые, спасибо, я хочу и могу дарить другим людям. Она пробуждает стремление к красоте, свету, чистоте духовной. Она отвечает на вопросы, ответы на которые не знает никто. Стоит только искренне попросить, спросить.

Я знаю случаи и читала много книг о людях, которым вера помогла выжить в самом прямом смысле слова. В последнее время я даже как-то перестала удивляться этому. Но недавно ко мне в руки попала книга «За краем света» Натальи Советной, кандидата психологических наук. И снова слезы, душевные переживания, боль. Эта книга потрясла меня настолько, что про-

сто нет таких слов, которые могли бы в полной мере отразить мое состояние после чтения. Назвать ее хорошей — значит, не сказать ничего.

В книгу Наталья Советная включила дневник, в котором она записала истории родных, близких, знакомых и незнакомых людей, и повесть «За краем света». Книгу невозможно читать на одном дыхании. Из-за насыщенности событиями, чувствами, эмоциями, приходится невольно делать порцеляцию. Каждую новую историю, новую судьбу поочередно пропускать через себя. Каждая оставляет на сердце отпечаток. Всё: болезни, пороки, утери — можно пережить, надо только верить и молиться. И не жалеть себя, ибо каждый из нас несет свой крест. Если Господь нам его дал, значит, мы можем его донести.

Главная героиня повести, Вера, потеряла сына, он пропал без вести. Сердце матери разрывается от боли и ужаса. Она перепробовала все, чтобы найти его. Отчаявшись, женщина даже обратилась к гадалкам. Но и это не помогло. Прошло много лет, а «перед ее мысленным взором стоял Алеша, и она говорила с ним молча, говорила слезами». Она не рыдала, не причитала, не прикладывала бесконечно платок к мокрому лицу, она верила. Когда все перестали, она верила, что сын жив, что она обязательно найдет его. «Для Всемогущего нет невозможного, надо верить. Но… Боже, как больно!..»

Женщину спасла вера. Как спасала и многих других, не утративших ее. Она вернула ей сына в тот момент, в который этого меньше всего можно было ожидать: два родных человека случайно встретились в чужой далекой стране.

Бывают книги, которые перечитываешь несколько раз и при каждом чтении открываешь их по-новому. Эту же достаточно прочитать один раз, чтобы понять и запомнить на всю жизнь.

Когда Господь хочет спасти человека, он посылает ему в помощь таких добрых, отзывчивых людей, как Наталья Советная…

Ольга ГУРНОВСКАЯ



Она дышала белорусским воздухом

Имя Анны Петровны Керн обессмертил Александр Пушкин. В стихотворении «К***» («Я помню чудное мгновенье...», 1825) он воссоздал ее облик в идеальном образе «гения чистой красоты». Героиня этого произведения была незаурядной женщиной — обаятельной, привлекательной, начитанной, имевшей, к тому же, доброе сердце, располагавшее к себе не меньше ее миловидной внешности. Не удивительно, что встреча с Керн украсила михайловское одиночество ссыльного поэта, содействовала творческому подъему, вдохновила на волшебные строки:

В глуши, во мраке заточенья
Тянулись тихо дни мои
Без божества, без вдохновенья,
Без слез, без жизни, без любви.

Душе настало пробужденье:
И вот опять явилась ты,
Как мимолетное виденье,
Как гений чистой красоты.

И сердце бьется в упоенье,
И для него воскресли вновь
И божество, и вдохновенье,
И жизнь, и слезы, и любовь.

Судьба Керн была искорежена на самом взлете. В неполных 17 лет ее выдали замуж за 52-летнего генерала, храброго воина и честного служаку, но человека в определенной степени ограниченного, не интересовавшегося ничем, что выходило за рамки армейской службы, к тому же подозрительного и ревнивого. Анна Петровна вынуждена была скитаться с мужем по армейским гарнизонам в соответствии с его назначениями, оказываться в окружении недалеких офицеров аракчеевского толка, что вызывало у нее чувство неудовлетворенности жизнью, одиночества и душевных терзаний. Не случайно она уделяла много внимания переписке с близкими людьми, которым изливала душу. Из писем известна глубина ее переживаний, грусти и тоски.

Оказывается, жизнь Керн неоднократно соприкасалась с Беларусью. В августе 1820 года Ермолая Керна назначили командиром 2-й дивизии, которая была расквартирована в Старом Быхове под Могилевом. На место нового назначения проезжали через Оршу.

Старый Быхов был небольшим уездным городком. В составе России оказался в 1772 году в результате первого раздела Речи Посполитой. К моменту приезда Кернов город около сорока лет находился в составе Российского государства. Даже по переписи 1897 года в нем насчитывалось чуть более шести тысяч жителей (6381), среди которых 32% было неграмотных. В городе было чуть более восьмисот деревянных домов (816). Разумеется, во время службы Ермолая Керна (1820—1823) в нем было намного меньше жителей и построек.

Двадцатилетняя Керн, уже вкусившая, хотя и кратковременно, притягательную атмосферу аристократических петербургских салонов, осознавшая, что могла бы блистать при дворе, которая пользовалась благосклонностью самого императора Александра I, очень не хотела ехать в захолустный городок, где ее ждало унылое прозябание. Она заранее беспокоилась, «что я буду делать во время его (мужа. — *Т. Л.*) разъездов одна, с ребенком, в этом несчастном городе». Выпросила у мужа разрешение перед отъездом навестить родные Лубны в Полтавской губернии — городок, в котором прошла ее юность и который навсегда запечатлелся в ее сердце.

Воинская часть, которой командовал Ермолай Керн, располагалась в казармах Быховского замка, обнесенного валами, построенного в начале XVII века. Как и в других крепостных сооружениях, в центре его находился Дворец. Кроме замка в городе было еще одно кирпичное сооружение — синагога, также выстроенная в XVII веке. Хотя она была возведена в стиле барокко и предназначена для осуществления религиозных функций, но круглая боковая башня, поражающая толщина стен, окна, напоминающие бойницы, явно свидетельствовали, что она была рассчитана и на то, чтобы иметь возможность спрятаться в ней в случае опасности, т. е. имела еще оборонительный характер.

Понятно, что молодой женщине, ставшей узницей военного гарнизона, томящейся от безделья, от отсутствия интереса к окружающим, оставалось только тосковать. В своем дневнике, который она вела во время пребывания в Пскове, где до Старого Быхова служил Ермолай Керн, записывала: «Какая тоска! Это ужасно! Просто не знаю, куда деваться. Представьте себе мое положение — ни одной души, с кем я могла бы поговорить, от чтения уже голова кружится, кончу книгу — и опять одна на белом свете; муж либо спит, либо на учениях, либо курит. О Боже, сжалься надо мной!» Можно представить, каким было быховское настроение Анны Керн, если подобным образом она чувствовала себя в Пскове, в городе гораздо большем, чем Старый Быхов, имевшем определенные культурные и религиозные традиции.

Приходится сожалеть, что в Старом Быхове Керн не вела записей, как в своем «Дневнике для отдохновения» в период псковского пребывания. Сколько можно было бы тогда узнать о жизни города, о ее впечатлениях от него и о происходивших в нем событиях, хотя понятно, что в Быхове ею владели еще более горькие чувства одиночества и тоски, чем в Пскове. Не меньше, если не больше, пустота и скука сопровождали ее в быховском заточении.

Но среди унылых дней находились и светлые минуты.

Старый Быхов стоял на Днепре. Воды реки использовали при работе мельниц. Часто Анна Петровна приходила на берег Днепра. Это были часы ее отдохновения. Подолгу глядела, как вода пенилась и бурлила, заставляя вертеться лопасти мельничных колес. А в большинстве случаев выбирала тихое место на берегу, присаживалась в тенечке и задумчиво прислушивалась к плеску тихих волн. В такие минуты ей казалось, что она одна во всем белом свете. В своем воображении, в своих мечтах она уносилась в волшебные края, но, опомнившись, глядела с тоской на волны, думая, что так, как текут они, так безрадостно и грустно бегут ее годы «без божества, без вдохновенья, без любви». Прислушиваясь к шуму прибрежных деревьев и кустов, предавалась своим невеселым думам, сетуя на свою незавидную судьбу.

Иногда она поднималась на земляные валы крепости, бродила по ним, любуясь отдаленными лугами и лесами, присаживалась на зеленую траву, обхватывала руками колени и с завистью смотрела на пролетающих птиц.

Временами не спалось и по ночам. Тогда она открывала окно, садилась на подоконник, вглядывалась в белорусское высокое звездное небо, стараясь понять, почему ей выпала горькая доля. Волшебная ночная тишина с завораживающим мерцанием звезд успокаивала ее, вселяла надежду, и, может быть, в подобные мгновения, на белорусской земле, когда заботы и тревоги улетучивались, когда

дышалось легко и свободно, в груди у Анны Керн родилось предчувствие встречи, которая обессмертит ее имя, и оно будет постоянно достойно упоминаться рядом с именем гения русского слова. Ведь она признавалась: «Я утешаюсь надеждой, сией опорой несчастных; вера в божественное провидение позволяет мне уповать на будущее»...

На белорусской земле Керн приходилось бывать и до, и после пребывания в Старом Быхове. Беларусь невозможно было миновать ни при поездках из Лубен в Петербург, ни на обратной дороге. Известно также, что ее маршруты из Тригорского, в котором она гостила у своей тети Прасковьи Осиповой, пролегали через Великие Луки—Витебск—Могилев—Чернигов, как правило, с дневными остановками для отдыха в Витебске и Могилеве, во время которых Керн знакомилась с этими городами, посещала лавки, приобретала понравившиеся вещи. Ее поездки по белорусской земле совпадали с путем следования ссыльного Пушкина в 1820 и 1824 годах. Возможно, при встречах как в Тригорском, так и Петербурге они вспоминали о своем пребывании в этих местах и делились своими впечатлениями об увиденном в белорусских краях. Во всяком случае, такое предположение нельзя исключать.

К сожалению, мы мало знаем о пребывании Анны Керн в Беларуси, но нам приятно осознавать, что эта незаурядная представительница XIX века, вдохновившая Пушкина на создание самых светлых стихотворных строк о любви, была на белорусской земле, дышала белорусским воздухом, соприкасалась с белорусской природой, что не могло не сказаться на ее характере, на расширении ее представлений об окружающем мире, на ее обаянии, которое покорило восславившего ее великого поэта.

Тимофей ЛИОКУМОВИЧ,
доктор филологических наук. Чикаго.



Комаровки бурлящая жизнь…

<u>От редакции:</u> На первый взгляд, материал о Комаровском рынке, оказавшийся в нёмановской почте, для литературного журнала не совсем форматный. Но что удивительно: если проанализировать современную белорусскую поэзию на предмет ее посвящений тем или иным знаменитым местам Минска, окажется, что шумная, суетная Комаровка в центре столицы — одна из лидеров. «У жонкі ахвотна камандзіроўку бяру я ў нядзелю на Камароўку»… Кто только не повторял эти популярные строки Рыгора Бородулина, появившиеся еще в конце шестидесятых в одном из его первых сборников «Лінія перамены дат». Комаровка вдохновила Антона Белевича, Евгению Янищиц, Раису Боровикову, Миколу Метлицкого, Михася Башлакова, Виктора Шнипа, Владимира Мозго… Да всех разве перечислишь!

Одна из причин такого внимания к ней, пожалуй, связана с тем, что большинство белорусских поэтов, особенно пришедших в литературу в XX веке, выходцы из деревни, а от рынка веяло чем-то до боли родным, дорогим. Но, вероятно, причина еще и в том, что Комаровка — это не только продукты питания, но и, главное, люди. Характеры, образы, сюжеты… И можно только догадываться, сколько здесь было увидено, услышано, что потом так или иначе использовалось в литературе.

Сегодня минский Комаровский рынок один из самых крупных крытых рынков Европы, который стремится ничем не отстать от времени. А значит, у него есть будущее. А потому можно не сомневаться — будут рождаться и новые произведения о шумной, многоликой, удивительной Комаровке.

Комаровка. Имя собственное. Но и нарицательное. Она как бурлящая жизнь. С ее успехами и устремлениями.

Комаровка — это люди. Покупатели и продавцы. Предприниматели и администраторы. Руководители и подчиненные. Комаровка, как и Москва, не сразу строилась. И в ней тоже не сразу все устроилось… Вот уже 30 лет архитектурному сооружению главного потребительского рынка страны.

На этом предприятии мне посчастливилось работать 12 лет. Именно здесь прошло через жизнь много людей замечательных, но слова благодарности за сотворенное ими добро, созидание, просто порядочность и человечность, ответственность к делу, высказать не пришлось. К сожалению, становится дефицитным ныне желание быть всегда благодарным и памятливым. И, прежде всего, к тем, кто рядом. К тем, с кем пришлось работать в удовольствие.

Так случилось, что перестроечная неразбериха с ее непредсказуемой жестокой и циничной логикой, на ходу сформированной системой непонятных, сомнительных ценностей ворвалась в жизнь людей, определив главную задачу: выжить! Именно тогда многие учителя, инженеры, врачи пошли в торговлю, самоотверженно примеряя, осваивая новое ремесло. Именно в те годы о Комаровке — главном торжище республики, я услышала: чрево города. В том смысле, что ей в крайней степени присущи все черты подноготной большого города, где кипит бремя страстей человеческих, где жизнь как жизнь, в ее натуральную величину, где трудно что-то искусственно приукрасить, подретушировать… Эдакое мини-зеркало, где беспощадно честно отражен срез общественного настроения, желания, состояния, соответствия мысли и действия. В принципе, в то время

и в нелегких трудах, в том числе и здесь, зарождался предпринимательский класс. В числе людей, которые в перестроечное время смогли не упасть духом, не потерять волю к действию, не отчаяться, решиться на что-то совершенно новое, неизведанное и даже непонятное в своей жизни, а позже и устоять, создать рабочие места, с нуля заработать себе новую репутацию — законопослушного предпринимателя и достойного гражданина, — были и те, кто сегодня в трудах и заботах зарабатывает свой предпринимательский хлеб достойно. Особого доброго слова заслужили люди, обслуживающие эту громадную торговую индустрию. У многих из них трудовая судьба сложилась примерно по той же логике — ветер перестроечных перемен заставил подыскать новую профессию, адаптированную к жизни. Но были и, слава богу, есть люди, для которых Комаровка — это судьба, единственное место, где они проработали значительную часть жизни и немало сделали для города, предприятия, для тех же ежедневных покупателей.

Память уносит меня в конец XX века. 2000 год. Там было немало интереснейших событий. Комаровка их запомнила. Уже тогда торговое коммунальное государственное предприятие «Минский Комаровский рынок» по праву именуют главным потребительским рынком республики. Эдакий базар, крытое здание которого размахнулось аж на двадцать тысяч квадратных метров, почти столько же сезонный рынок, плюс прилегающая площадь да две дневные, гостевые стоянки для транспорта, предназначение коим в ночное время определено по-хозяйски практично и четко: торгово-технологические площадки для сезонных оптовых (и заметьте, дешевых!) распродаж. Одним словом, и лет десять назад Комаровка была огромным беспокойным хозяйством, где помимо пяти магазинов в собственной торговле предприятия были еще центральные мясные ряды с их социально ориентированным ценообразованием, солидный комплекс общественного питания и внушительное кондитерское производство, где трудились и торговали более трех тысяч человек. Попробуй управься с целой армией работников, продавцов и предпринимателей! А разве не красноречив был выведенный тогда статистический факт: рынок ежедневно посещает до ста пятидесяти тысяч человек — население города. Помню отчетность 1999 года. Только собственной торговлей предприятия было реализовано 550 тонн свинины и говядины, 96 тонн птицы! Социально ориентированное ценообразование государственной торговли в определенной степени успешно пытается диктовать ценовую политику на всем Комаровском рынке. Не говоря уже о том, что фирменная торговля служила на рынке образцом для всех и высокой культурой, и безукоризненно оформленной документацией.

Так что день-деньской гудит человеческий улей Комаровки, раздираемый страстями и противоречиями, присущими всякому рынку. А под конец дня и этот, казалось бы, неугомонный человеческий вулкан, притомившись, притихает, извергнув наружу (не поверите!) 30 тонн мусора. И эту статистическую цифру не поленились вывести тогда на Комаровке. Именно тогда, более десяти лет назад, началась, а позже и была одержана, победа в битве за чистый, европейского уровня рынок. Позже будет разработан механизм современной утилизации прессования мусора. С этой целью будет закуплен «технологический гений» этого дела, современный чудо-мерседес, чем по-мальчишески небезосновательно гордился тогдашний директор Павел Павлович Козлов, опытный хозяйственник, не понаслышке знающий проблемы предпринимателей. Но это будет позже. А в 2000-м ежедневно служба санитарии, в общем-то, по объективным меркам немногочисленная (свыше ста человек), тщательно убирала, чистила, мыла огромную торговую территорию, и, к чести предприятия, соответствующие службы города ни разу не закрывали рынок по причине неудовлетворительного состояния. Беспокойное хозяйство Комаровки ее тогдашнему директору Виктору Михайловичу Мещанинову досталось в наисложнейшее время. Главное торговое сооружение, кстати, являющееся памятником архитектуры, нуждалось в реконструкции. Необходимо было обновить кровлю купола, а это дело трудоемкое и дорогостоящее...

Вскоре уже засверкала Комаровка муравой европейского, сверхсовременного по тем временам покрытия купола, выполненного благодаря стоическим трудам еще в бытность предшественника Мещанинова по должности — Романенкова Виктора Васильевича. Мне надо было один раз подняться на крышу реконструируемого купола с режиссером Белорусского телевидения, увидеть светящуюся щель арматуры, человеческий муравейник под куполом, чтобы осязаемо осознать ответственность и профессионализм людей, взявшихся сделать свое строительное, да и торговое дело на отлично. Ведь огромная торговая индустрия Комаровки ни разу не останавливалась в период глобальной реконструкции крыши. И ученые, и строители, и управленцы, и весь коллектив, впрочем, как и весь город в лице покупателей, продемонстрировали тогда понимание поставленных задач и способность решать большие задачи. Однажды мне пришлось услышать настоящую гордость в словах в ту пору начальника главного управления потребительского рынка Мингорисполкома Михаила Михайловича Евтуховского, когда авторитетной делегации он с особым чувством рассказывал о трудах Комаровки и акцент делал не на эстетической стороне дела — Прирыночной площади с ее великолепными жбановскими скульптурами, а на обустройстве крыши. Чтобы перекрыть купол, вначале надо было аккуратно снять, упаковать, спустить с крыши старый утеплитель. Да так, чтобы не было прецедента остановить торговый процесс.

А рынок продолжал свою радикальную реконструкцию. Почему радикальную? Да потому, что смета строительства на сезонной части рынка почти втрое превышала затраты на обновление купола. Всю тяжесть финансовых проблем по реконструкции предприятие несло на своих плечах, полагаясь лишь на самостоятельно заработанные деньги и не претендуя ни на одну копейку государственного бюджета для проведения текущего и капитального ремонта. На предприятии был создан собственный ремонтно-строительный участок, призванный обеспечить проведение работ с наименьшими затратами. Такая уверенность в собственных силах имела прочную основу.

Рынку придавались черты, которыми нам сегодня нельзя не гордиться и можно удивить приезжих гостей. Да, с позиции времени все просто, но тогда Виктору Михайловичу Мещанинову пришлось пойти на ряд непопулярных и «казалось бы» невыгодных действий: закрыть торговлю с машин, распрощаться с вещевым рынком, сократить ряд торговых мест. Как известно, генералы дают приказы — солдаты их самоотверженно выполняют. Иногда гибнут. Чего только стоили одни газетные заголовки по той тематике! И не только одному главному реформатору доведенных к исполнению перемен. В феврале 2000 года небезызвестная «БДГ» под рубрикой «Конфликт» свой вердикт вынесла в заголовок: «Мелкий бизнес хотят загнать в новые рамки», газетная врезка предрекала: «Предприниматели намерены пройти по проспекту Ф. Скорины с сумками и тележками, чтобы привлечь внимание граждан к своей проблеме». Здесь же было высказано и мнение «Адраджэння»: «…Место граждан Республики Беларусь на Комаровском рынке займут криминальные элементы… Криминалитет различных регионов России, ближнего и дальнего зарубежья с легкой руки и с помощью минской мэрии легализуется в Беларуси». В феврале им вторила «Комсомольская правда». Материалом «По Комаровке тучи ходят хмуро» и врезкой: «Тучи предпринимателей и покупателей, которым здесь скоро не будет чего делать». «Аргументы и факты в Беларуси»: «На рынке перестройка. «Базара — нет». 23 марта 2000 года «Комсомольская правда» рубрикой «Караул» и заголовком «Наезд на машины» обнажила далеко не последнюю проблему: «…Страсти подогревало и полное отсутствие официальной информации. Ее носители упорно молчат…» Помню настойчивое, приоритетное, как сегодня бы сказали, мнение на сей счет Виктора Михайловича Мещанинова: «Говорите с людьми, объясняйте. Где не знаете, ошибетесь — не страшно. Главное, люди должны видеть, что им хотят объяснить, убедить. Люди должны поверить, что все перемены во имя их блага». И сам никогда не отказывался от лишней встре-

чи с журналистами: «Начатая реорганизация была вызвана желанием сделать Комаровский рынок желанным и цивилизованным. Таким, каким вы его называете — главным продовольственным рынком республики. Рынок необходимо разгрузить. Такого скопления людей на относительно небольшой территории первоначально проект не предполагал. С момента ввода рыночного комплекса не осуществлялась его реконструкция. Вряд ли создавшиеся условия удовлетворяли бы обе стороны — продавца и покупателя. Так что аргументы более чем весомые. Естественно, что и нам самим пришлось оперативно перестраиваться, и прежде всего службе организации рыночной торговли. Расширять перечень и объем платных услуг, организовывать и контролировать торговые места, рационально использовать складские помещения. Оценить результаты этого предстоит нашим детям и внукам».

Вереница событий, глобальная реконструкции и благоустройство прирыночной площади. Было много событий, и каждая добрая из них радовала коллектив и руководителя. Помню, как созревало эстетическое чувство сделать этакий штрих-декор к журчащему фонтану. Вначале думалось посадить на мраморную основу фонтана длинношеего лебедя. Ах, как же радовался Виктор Михайлович неожиданной находке скульптора Владимира Жбанова: «Не-е-е. Только гусь. Сытый. Откормленный. Довольный. Это рынок».

Под руководством директора Павла Павловича Козлова рынок открыл на сезонке так называемый «пятый сектор». Под крышей мини-маркета были собраны магазины предприятий — производителей продовольственных товаров. С тех пор все известные отечественные бренды можно всегда увидеть на прилавках магазинов. Низкая цена производителя диктовала ценовое условие субъектам хозяйствования. Именно в этот период были реконструированы и доведены до цивилизованного состояния складские помещения.

Мне посчастливилось работать также с Николаем Владимировичем Метлицким, профессионалом, великой души человеком, вкусившим азы торгового дела с младых лет. Сам из многодетной семьи, мальчишкой свою первую копейку заработал ягодой на Комаровке. Я, как и все другие работники, видела его неподдельное уважение и любовь к людям — то ли к зашедшим в кабинет по делу (что-то требовать или просить), то ли к толпящимся в очереди покупателям или к продавцам, неприступно держащим цену по ту сторону прилавка. Видимо, это особый дар, генетический — с добром посмотреть на «кипятящегося» человека, шуткой разрядить «напряженку», первым протянуть рабочему человеку руку. Я видела таких руководителей на Комаровке, и счастлива, что в моей жизни это было.

— Я хотел бы видеть рынок большим и светлым гастрономическим магазином, куда покупатель шел бы не только за покупкой, но и за настроением, — говорил Виктор Михайлович Мещанинов. — Мне было бесконечно радостно, когда спустя годы рынок именно таким увидел и запечатлел в своей публицистике российский журналист Эргали Гер и все об этом прочитали в Интернете: «На второй день по приезде я собрался на рынок, поскольку, согласно уставу, нормальные шпионы вроде меня, начинают городской обход именно с рынков. Дело даже не в ценах — в крупных городах не рынки задают уровень цен. Тут каким-то непонятным образом оседает подноготная любого города: на рынках анатомия человеческих отношений представлена, пожалуй, в наиболее чистом, наиболее адекватном для данной местности виде. Так я полагал, пока не оказался на Комаровке — центральном торжище белорусской столицы. Комаровский рынок показался мне, москвичу, полным бредом, фикцией и обманом… Сдуру можно было решить, что это потемкинская деревня, выстроенная специально для действующих по уставу шпионов, — кабы не масштабы деревни. Представьте себе торжище размером с два футбольных поля, одно из которых — полностью крытый рынок, то есть циклопическое сооружение вроде нашего Олимпийского стадиона, а второе, именуемое «сезонный рынок», тоже крытое, только без стен. Все это пространство занято торговыми рядами, оборудованными по последнему

слову техники, причем, торговки каждого ряда красуются в фирменной комаровской промодежде определенного цвета: синий ряд, голубой, красный, желтый, снова синий… Цены ниже, чем в магазинах, изобилие всего, идеальная чистота и никакой толчеи — это при том, что ежедневно на Комаровке отоваривается полтораста тысяч минчан. Скульптуры, фонтаны, детская комната, холодильные установки, продуманная система информации, удивительная взаимная доброжелательность покупателей и торговцев — я ходил по Комаровскому рынку и отчетливо понимал, что всего этого не может быть, потому что так не бывает. Избавиться от ощущения потемкинской деревни в духе светлого коммунистического завтра не получалось. Не получалось избавиться от ощущения, что присутствуешь на съемках масштабного блокбастера «Кубанские казаки-2»…

Здесь были грубо осквернены все ценности либерализма. Здесь были попраны основы рыночной экономики: на государственном предприятии, именуемом рынком, частные предприниматели торговали в основном продукцией государственных предприятий. Здесь, на рынке, на пару свирепствовали санэпидконтроль и идеология. И все это не в пример нашим грамотно приватизированным московским рынкам работало как часы. Работало к вящему удовольствию обывателя, а не заезжих чужан. Было от чего потерять голову!!!»

Безусловно, за всем тем, чем восхищает рынок сегодня, стоит еще одна очень авторитетная фигура — предпринимателя, ремесленника, сельчанина.

В начале августа 2007 года на рынке появилось торговое место, которое по оформлению заметно отличалось от остальных: украшено изгородью, сплетенной из прутьев и ветвей, — плетнем, каким в далеком прошлом в деревне были домики огорожены.

За прилавком крепкий симпатичный мужчина с ухоженной бородой предлагает веники для бани. Веники здесь же висят и лежат на прилавках — аккуратно связанные — один в один, благоухают знакомыми березово-дубовыми ароматами.

Хозяин точки, ремесленник **Андрей Николаевич Викторчик**, занялся вениками неспроста. Бывший тренер по боксу, любил, как и все его товарищи по команде, попариться после тренировок в баньке, а потом, в армии, его пристрастие к бане заметили и назначили начальником бани. «Видно, бани — моя судьба, — смеется Андрей Николаевич. — Я вообще в жизни делаю только то, что мне нравится». А это и без слов понятно. Такое можно придумать только тогда, когда с любовью к делу относишься. Сколько выдумки в, казалось бы, таком простом деле, как веники! Так нет, пожалуйста, на выбор: березовый или дубовый с полынью, или с календулой, или с ромашкой. Можно подарок любителям попариться сделать — такой вариант тоже предусмотрен — подарочный: веники аккуратно упакованы в декоративной, нарядно расшитой дерюжке — и красиво, и надежно, ни один листик не упадет.

Казалось бы, ну что еще можно придумать в таком незатейливом деле? Оказывается, можно. У моего собеседника идеи рождаются одна за другой. Пожалуйста, на следующий сезон (тайну свою коммерческую он не побоялся открыть) он уже задумал веники засоленные, в вакуумной упаковке. Известно, что соль хорошо очищает кожу, увеличивает потоотделение. И вот такие засоленные веники будут готовы к употреблению, их не надо будет распаривать в горячей воде, требуется только достать из упаковки, сполоснуть под холодной водой — и парься на здоровье, лист уже напитан солью. А известное выражение — это тебе не веники вязать — мол, очень простое дело, совсем не подходит к тому, чем занимается мой собеседник. Потому что здесь тоже не все просто. Когда я узнала, что Андрей Николаевич сам и веников заготовил на весь год (а заготовкой занимался в июне—июле), не могла поверить, что их так много, что хватит на всех желающих. Оказывается, он придумал специальное приспособление, с помощью которого за день вяжет по 300 веников, — и все они получаются стандартные, ровные. А одна из придумок родилась уже прямо здесь, на рынке — посетители подсказали: они прицениваились к украшенному плетнем прилавку и просили продать. Вот он и задумал еще одно направление своей деятельности — изготавливать по

заказу декоративные плетни для дачных участков, теперь это стало модной деталью дизайнерского оформления.

О пользе бани мой собеседник рассказывает со знанием дела, потому что прочитал много литературы и на собственном опыте убедился. Говорит, что теперь во всем мире интерес появился именно к русской бане, потому что все озадачены проблемой похудения, а лучше всего регулировать вес можно именно с помощью парилки и веника. А еще эта процедура способствует выведению шлаков из организма. Кстати, этот бизнес ему подсказали его друзья, эмигрировавшие за границу. Это они просили его присылать в подарок веники. Их оценила и наша белорусская команда по спортивной сауне, которая ими парится.

Три раза в неделю приезжает на Комаровский рынок хозяйка приусадебного подворья **Валентина Николаевна Пышняк**, привозит творог. Ее уже ждут покупатели. Выстраивается очередь, и все быстро раскупается. Покупатели знают: творог из экологически чистого района, всегда свежий, да и хозяйка располагает. Очередь тает быстро, как и привезенный творог. И продавцы, и постоянные покупатели с особым уважением относятся к этой добродушной, улыбчивой женщине. Валентина Николаевна и ее муж Павел Григорьевич кроме того, что много работают, еще и воспитывают десять детей. История их семьи замечательная. Валентина Николаевна и Павел Григорьевич вместе учились в профессионально-техническом училище, вместе работали на стройке, поженились. Когда родилось двое детей, получили квартиру. А потом решили, что для здоровья детей нужен «домик в деревне». Начинали с дачи на хуторе в 17 км от станции Пуховичи, потом взяли в аренду землю и стали жить в деревне постоянно. Завели сначала двух коров, со временем личное стадо увеличилось до 10 коров. Благодаря умелым рукам мужа Валентине Николаевне не приходится до изнурения доить коров: есть доильный аппарат.

Работящая, трезвая семья — на виду, и воспитатели приюта предложили им взять ребенка на воспитание. И они вначале взяли мальчика-сироту, потом еще одного, потом девочку, потом еще один мальчик попросился: «И я с вами!» И так семья выросла на 10 человек. Родители — трудолюбивые, требовательные, но и справедливые. Одинаково спрашивают и со своих, и с приемных. Детей обмануть трудно, они чувствуют доброту родителей, не зря называют их папой и мамой. Почти все, что удалось наторговать Валентине Николаевне, она идет тратить к своим коллегам по рынку — ведь сегодня ее как всегда будут ждать с гостинцами дети.

И таких историй о людях, торгующих на Комаровке, множество. У каждого своя судьба, своя история.

* * *

И, конечно же, образ Комаровского рынка будет неполным без упоминания о простых и хороших людях, много лет добросовестно отдавших Комаровке. И не важно, что сегодня многие из них уже не работают здесь.

Делилась со мной сокровенным Валентина Мечиславовна Недвецкая, в прошлом начальник кондитерского цеха, в 2007-м награжденная Почетным знаком Министерства торговли Республики Беларусь «Выдатнік гандлю»:

— Помню всё. Но из памяти не вычеркнуть 1980 год — год проведения Олимпиады в Москве. В этот год вводился огромный, уникальный крытый Комаровский рынок. В этот год к нам приезжал Петр Миронович Машеров. Мне выпала честь встречать его посреди нового кондитерского цеха с пышущими жаром булками. Он тепло поблагодарил меня: «Спасибо, что выпекаете хлеб…»

Надежда СИВЧУК



Авторы номера

ФЕДАРЕНКО Андрей Михайлович. Родился в 1964 г. в д. Березовка Мозырского района. Окончил Мозырский политехникум, Минский институт культуры. Прозаик. Автор книг «Гісторыя хваробы», «Смута», «Шчарбаты талер», «Афганская шкатулка». Лауреат Литературной премии им. И. Мележа. Живет в Минске.

КАРИЗНА Владимир Иванович. Родился в 1938 г. в д. Закружка Минского района. Окончил Белорусский государственный университет. Поэт, переводчик. Автор многих книг поэзии и сборников песен, а также текста Государственного гимна Республики Беларусь. Лауреат Государственной премии Республики Беларусь и Премии профсоюзов Беларуси. Живет в Минске.

БОРОВИКОВА Раиса Андреевна. Родилась в 1947 г. в деревне Пешки Березовского района Брестской области. Окончила Литературный институт им. М. Горького. Поэтесса, прозаик, переводчик. Автор многочисленных сборников поэзии, прозы, книг для детей. Лауреат Литературной премии имени А. Кулешова и Государственной премии имени Янки Купалы. Главный редактор журнала «Маладосць». Живет в Минске.

ГАЛЬПЕРОВИЧ Наум Яковлевич. Родился в 1948 г. в Полоцке. Учился на факультете журналистики Белорусского государственного университета, окончил Витебский педагогический институт. Поэт, прозаик, публицист, радиожурналист. Автор ряда книг. Директор радиостанции «Беларусь». Живет в Минске.

ФИЛИПЕНКО Александр Александрович. Родился в 1984 г. в Минске. Окончил Республиканский колледж искусств им. И. О. Ахремчика по классу контрабас, филологический факультет Санкт-Петербургского государственного университета и магистратуру при нем. Бакалавр Бард Колледжа в Нью-Йорке. Прозаик. В «Нёмане» публикуется впервые. Живет и работает в Санкт-Петербурге.

БОРИСОВ Вадим Николаевич. Родился в 1935 г. на Южном Урале. Поэт, прозаик. Член литературного союза «Полоцкая ветвь». Публиковался в периодических изданиях России и Беларуси. Живет и работает в Борисове.

СТЕГНЕР Уоллес. Родился в 1909 г. в штате Айова, где, закончив местный университет, стал в нем профессором английского языка. Известный американский писатель, автор 13 романов, ученый-гуманитарий. Лауреат Пулитцеровской премии. Умер в 1993 году.

ХЕЙН Пит. Родился в 1905 году в Копенгагене (Дания). Учился в Институте теоретической физики Копенгагенского университета (позднее Институт Нильса Бора) и в Техническом университете Дании. Известный ученый, писатель, изобретатель, художник и инженер. Умер на острове Фюн в 1996 году.